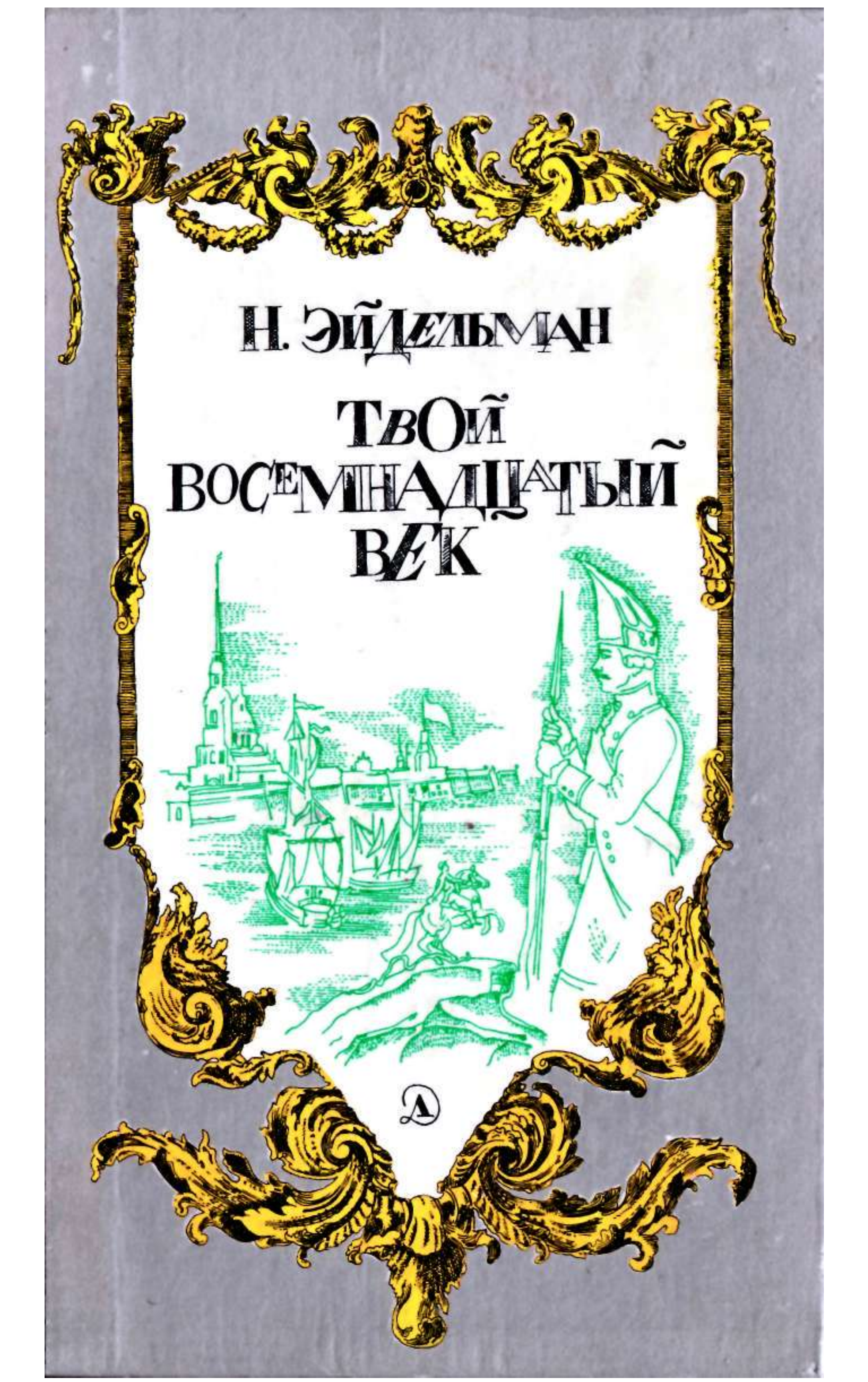

Н. ЭЙДЕЛЬМАН
ТВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК
Д



Н. ЭЙДЕЛЬМАН

ТВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

МОСКВА
«Детская литература»
1986

63.3
Э30

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Художник Б. ЖУТОВСКИЙ

Рецензент
доктор исторических наук,
заведующий сектором Института истории,
филологии и философии Сибирского отделения АН СССР,
заместитель председателя
Археографической комиссии
Академии наук СССР
Н. Н. ПОКРОВСКИЙ

Э $\frac{4802000000-555}{М101(03)86}$ 045-86

ПРЕДИСЛОВИЕ

В своей новой книге Н. Я. Эйдельман, опирается не только на предшествующие исследования, но и на собственный анализ исторических источников, как изданных, так и архивных.

Книга продолжает рассказ Н. Я. Эйдельмана о прошлых веках, начатый его изданием «Твой девятнадцатый век»: многие принципы этого издания сохранены и в настоящем томе. Это относится в первую очередь к умению войти в эпоху, показать ее изнутри глазами деятелей того времени, сохраняя в то же время и все достижения последующей историографии, и сегодняшний взгляд на прошлое. В книге, посвященной позапрошлому столетию, как и в книге о XIX веке, Н. Я. Эйдельман сохраняет весьма оправдавший себя основной критерий отбора сюжетов: он следует за интересом к тем или иным событиям XVIII века таких мыслителей прошлого века, как Пушкин, декабристы, Герцен. Его новая книга поэтому в основных ее сюжетах находится на перекрестке тех научно-исследовательских проблем, которые постоянно занимают Эйдельмана-историка и которым он посвятил ряд своих монографических исследований.

Излагая события «осьмнадцатого столетия» через призму интересов революционеров-мыслителей XIX века, постоянно учитывая достижения историков последующих

десятилетий, Н. Я. Эйдельман свой рассказ о каждом таком событии умело строит в нескольких хронологических слоях: XVIII века, первой половины XIX века, второй половины XIX—XX веков. Таким образом, «Твой восемнадцатый век» — это и возвращение к темам «Твоего девятнадцатого века», а часто — и результаты, полученные советской исторической наукой.

Автор стремится показать самые разные общественные ситуации и социальные слои, от донского и оренбургского казачества до придворных кругов. Особенно интересны, ярки и убедительны страницы, посвященные общественному сознанию народных масс России. Проблема эта привлекает сейчас пристальное внимание советских историков, и рассказ Н. Я. Эйдельмана опирается здесь на добротные исследования последних лет К. В. Чистова, А. И. Клибанова, А. М. Панченко, Р. В. Овчинникова, Б. А. Успенского. Вместе с тем автор нашел и свои подходы к теме, опираясь прежде всего на пушкинский интерес к событиям крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева, на записанные им народные оценки восстания. Тема народной классовой борьбы становится в книге важной точкой отсчета для рассказов о борьбе в правящих кругах феодальной империи; так, очень интересен и точен с исследовательской стороны анализ сложного переплета придворных и народных настроений, связанных с именем «истинного царя» Петра III — Пугачева.

Пугачевская глава книги является несомненной удачей автора — в живой и занимательной форме здесь излагаются некоторые наиболее актуальные в современной науке выводы советских исследователей о специфике общественного сознания и социальной психологии руководителей восстания. Автор стремится дать свое объяснение поведению народного героя, обстоятельств, сформировавших его незаурядную личность, смелого решения использовать царское имя в интересах крестьянского восстания и легкого отказа от этого имени после поражения крестьянской войны.

Следуя за уже отмеченным пушкинским интересом, автор выходит на одну из самых ярких и актуальных в сегодняшней науке тем — на историю освоения огромных богатств востока страны академическими экспедициями XVIII века. Выбор в качестве примера истории камчат-

ского путешествия Крашенинникова можно признать в этой связи весьма удачным: он показывает заслуги русской науки в изучении малых народов Сибири, самоотверженность знаменитого ученого XVIII века и пренебрежение придворного Петербурга к интересам науки и страны.

Автор умеет нарисовать целую галерею запоминающихся, остропсихологических портретов, что соответствует не только нуждам популярного изложения, но и тенденции современной науки к «очеловечиванию» истории. Но вместе с тем общеисторический, общекультурный процесс хорошо прослеживается в серии конкретных зарисовок. Этому немало способствует не только постоянная авторская установка раскрывать общее через частное, но и интересный общий очерк социального состояния страны в XVIII веке.

Значительное внимание автор уделяет раскрытию «секретных» страниц русской истории, которое самодержавие упорно пыталось скрыть, объявить запретными. Наряду с тщательным установлением фактической стороны дела (например, судеб жертв дворцовых переворотов), с тонким анализом не только содержания, но и внешнего вида самых тайных документов царизма Н. Я. Эйдельман повествует о том важном общественно-политическом значении, которое имело для передовой русской мысли обнародование этих страниц; история XVIII века опять и опять увязывается с революционным движением XIX — начала XX веков.

Автор широко пользуется типами источников по теме, начиная с законодательных актов и кончая перепиской и мемуарами. С немалым исследовательским мастерством он, например, сравнивает разноречивые показания мемуарной литературы об обстоятельствах заговора против Павла I, привлекавшего самое пристальное внимание А. С. Пушкина, декабристов и А. И. Герцена.

Н. Я. Эйдельману удался замысел показать живую поступь истории XVIII века через последовательный ряд рассказов о нескольких примечательных днях века. Этот прием, с успехом используемый ныне в популярной литературе по отношению к какой-либо определенной дате, оправдал себя и в столь длинном хронологическом ряду — синхронность событий, их связь между собою ус-

пешно высветляются при этом. Однако там, где речь идет о протяженных во времени сюжетах, читатель должен соединять рассказ об отдельных «днях» в единую цепь событий.

Автор серией ярких, запоминающихся рассказов вскрывает классовый, антинародный характер механизма власти российского самодержавия, постоянно используя при этом герценовские оценки, наблюдения таких зорких современников, как М. М. Щербатов. Глава о народном гневе в годы крестьянской войны, об общественном сознании трудовых низов общества умело оттеняет рассказы об официальной идеологии абсолютизма и борьбе за власть феодальных верхов страны.

Приближается начало нового, XXI века, и люди все больше задумываются над итогами и уроками ушедших столетий, смыслом исторического процесса. Новая книга Н. Я. Эйдельмана дает поучительный и ярко изложенный материал об историческом прошлом нашей страны.

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ



Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-окиян?

Пушкин

XVIII век был давно. Самые старые люди, которых я знал, родились в 1840—1860-х годах, то есть в середине XIX...

В позапрошлом веке карты мира были совсем не те, что сегодня: белые пятна занимали большую часть Африки, Америки, Азии; Австралия вообще появляется только к концу столетия, Антарктиды нет и в помине. Это была эпоха париков, карет, менуэтов, треуголок; эпоха разума, книг с очень длинными названиями, «Марсельезы» и гильотины; для России же это был век, когда — основан Петербург и выиграна Полтавская битва, восстал Пугачев и шел через Альпы Суворов...

В книге «Твой девятнадцатый век» (вышедшей несколько лет назад) я предлагал читателям превратиться для начала всего лишь в 100—150-летних; напоминал, что в прошлом столетии каждый из нас имел сотни ближайших родственников, прямых предков. Я старался доказать, что всем проживающим в конце XX века очень нужен «старичок девятнадцатый» — и отвагой своей мысли, и поэтичностью мечтаний; нужен его смех, его горести, его ярость, его дух.

Теперь же наш путь более далекий — в 1700-е годы, и читателям предлагается:

1) Срочно сделаться 200—250-летними.

2) Прикинуть, сколько поколений, сколько пра-пра... разделяет нас и тех прямых предков, которые в 1700-х

годах, так же как и мы, радовались солнцу и лесу, любили детей, были потомков не глупее, мечтали о лучшем, скорбели о невозможном...

3) Поверить, что при всем при этом мы сегодня окружены такими здравствующими и действующими выходцами из позапрошлого столетия, как университет, академия, флот, журналы, газеты, театр; что многое, очень многое, начавшееся 200—250 лет назад, завершается или продолжается сегодня... Некоторые подробности, попавшие в эту книгу, автор отыскал в старинных фолиантах и в маленьких, похожих на тетрадки газетах XVIII столетия; немалое же число историй ожидало своего часа в архивах Москвы и Ленинграда... В огромных картонах, аккуратных папках там мирно дремлют тетради, листы, письма, записочки, некогда раскаленные от тех мыслей, страстей, идей, что витали, кипели вокруг них, оставляя на бумаге свой след: ученые прошения академика, секретные отчеты губернатора о поведении «известных персон», арестованные и запечатанные документы «крестьянского Петра III-го», «ржавые» по краям листы сочинения «О повреждении нравов в России», сожженное, но не сгоревшее завещание царицы, копия славного литературного сочинения...

Они дремлют и живут, эти бумаги; в них огромная скрытая энергия позапрошлого столетия; но если подойти, прикоснуться, произнести нужные слова — они просыпаются, говорят, волнуются, кричат. И может быть, кое-что донесется к читателям этой книги... Огромен XVIII век — сто лет, 36 525 дней; однако для этой книги выбраны всего 13 дней — для 13-ти глав, да еще один день — для пролога и эпилога.

Итого, из целого столетия две недели!

14 дней, в течение которых и вокруг которых живут, действуют, пишут, разговаривают, нам загадывают загадки следующие немаловажные лица (в порядке появления):

Петр Великий, Абрам Ганнибал, Бирон, Степан Крашенинников, Брауншвейгское семейство, Ломоносов, царица Елизавета Петровна, Пугачев, царь Петр III, Михаил Щербатов, Екатерина II, Александр Бибиков, братья Панины, Денис Фонвизин, наследник — позже царь Павел, Зубовы, наконец Александр Сергеевич Пушкин: хотя и

прожил он в XVIII столетии всего 19 месяцев, но так знал, так чувствовал время отцов и дедов, что может считаться их «почетным современником», незримым председателем.

Им книга окончится. С него и начнется [1].

Пушкинский пролог

Московский весенний день 26 мая 1799 года.

Уж расцвели все городские сады, а в ту пору они занимали в пять раз б*о*льшее пространство, чем несколько лет спустя — после великого пожара 1812 года... В газете объявления:

«Продается лучшей голландской породы бурая корова, на Пречистенке...»

«В Малой Кисловке, в доме госпожи Лопухиной, продаются разных сортов лучшие меды и кислые щи».

«В Подмосковной Его светлости князя Меншикова вотчине, селе Черемушках, отдается на сруб часть леса березового».

«В Немецкой слободе, в приходе Вознесения, в доме Николая Никитича Демидова до 5 июня будет торг. Желающие подрядиться построить полковой обоз могут явиться всякой день в 9 часов утра».

Хотя, признаемся, мы довольно равнодушны к постройке полкового обоза, но *Немецкая слобода* — район нынешней Бауманской, тогда Немецкой улицы, — она особенно занимает нас в этот весенний день...

Место историческое — именно сюда сотней лет раньше любил наведываться юный царь Петр. Теперь же москвичи и не подозревают о главном событии в жизни города и склонны чем только не увлечься, о чем только не посудачить!

«Сего, мая 26, в четверг представлена будет опера «Минутное заблуждение».

«В казенном рыбном заводе под № 17 у купца Романа Васильева теша белужья, икра астраханская с духовыми специями и без специй в 30 копеек с развесом, а целым мешком по 25 копеек за фунт».

---

[1] В иллюстрациях использованы подлинные изобразительные материалы XVIII столетия. Каждый рисунок сопровождается текстом А. С. Пушкина.

«Продается вдова 27 лет, учена прачке и кухарке».

«Сего мая 1 из Подмосковной старшего советника правительствующего Сената обер-секретаря и кавалера Иванова деревни Клинской округи сельца Дубинина бежали крепостные его дворовые люди, ткачи Лукьян Михеев и Игнат Демков с женами и четырьмя малыми детьми да холостые Ефтей Григорьев и Федот Сазонов» (следуют приметы).

В этот день, *26 мая 1799 года,* в Москве на Немецкой улице, «во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова, у жильца его маэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр, крещен июня 8 дня; восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина».

Гениальный мальчик, родившийся 26 мая 1799 года, совсем не заметил, как окончился XVIII и начался XIX век.

Однако чуть позже он начал (мы точно знаем!) расспрашивать о дедах, прадедах — и ничего почти не сумел узнать. Батюшка Сергей Львович Пушкин, матушка Надежда Осиповна (урожденная Ганнибал) отвечали неохотно — и на то были причины, пока что непонятные кудрявому мальчугану: дело в том, что родители, люди образованные, светские, с французской речью и политесом, побаивались и стеснялись могучих, горячих, «невежественных» предков. Там, в XVIII столетии, невероятные, буйные, «безумные» поступки совершали и южные Ганнибалы, и северные Пушкины (еще неведомо — кто горячее!). Там были неверные мужья, погубленные, заточенные жены, бешеные страсти, часто замешанные на «духе упрямства» политическом, когда Пушкины и Ганнибалы не уступали даже царям (но и цари в долгу не оставались!).

Александр Сергеевич желал бы расспросить стариков — но и это оказалось почти невозможным. Родной дед с материнской стороны Осип Абрамович Ганнибал жил в разводе с бабкою и умер, когда внуку исполнилось семь лет. Бабка, Марья Алексеевна, правда, жила с Пушкиными, часто выручала внука, когда на него ополчались отец с матерью. Она учила его прекрасному старинному русскому языку, но не желала рассказывать о давних родственных распрях.

Шли годы. Миновало пушкинское детство, позади Лицей, Кишинев, Одесса — и осенью 1824 года поэта ссылают в имение матери, село Михайловское... Здесь, близ Пскова и Петербурга, находилась когда-то целая маленькая «империя» — десятки деревень, полторы тысячи крепостных, принадлежавших знаменитому прадеду Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу, *Арапу Петра Великого.* После его кончины четыре сына, три дочери, множество внуков разделились, перессорились — часть земель продали, перепродали, — и даже память о странном повелителе этих мест постепенно уходила вместе с теми, кто сам видел и мог рассказать...

Однако неподалеку от Михайловского, в своих еще немалых владениях, живет в ту пору единственный из оставшихся на свете детей Абрама Ганнибала, его второй сын Петр Абрамович. Он родился в 1742 году, в начале царствования Елизаветы Петровны, пережил четырех императоров и, хотя ему 83-й год, переживет еще и пятого.

Любопытный внучатый племянник, разумеется, едет представляться двоюродному дедушке; едет в гости к XVIII столетию.

Записки, касающиеся прадеда

Отставной артиллерии генерал-майор и на девятом десятке лет жил с удовольствием. Жена не мешала, ибо давно, уже лет тридцать, как ее прогнал и не помирился, несмотря на вмешательство верховной власти (раздел же имущества происходил под наблюдением самого Гаврилы Романовича Державина, поэта и кабинет-секретаря Екатерины II). Все это было давно; говаривали про Петра Абрамовича, что, подобно турецкому султану, он держит крепостной гарем, вследствие чего по деревням его бегало немало смуглых, курчавых «арапчат»; соседи и случайные путешественники со смехом и страхом рассказывали также, что крепостной слуга разыгрывал для барина на гуслях русские песенные мотивы, отчего генерал-майор «погружался в слезы или приходил в азарт». Если же он выходил из себя, то «людей выносили на простынях», иначе говоря, пороли до потери сознания.

Заканчивая описание добродетелей и слабостей Петра

Абрамовича, рассказчики редко забывали упомянуть о любимейшем из его развлечений (более сильном, чем гусли!), то есть о «возведении настоек в известный градус крепости». Именно за этим занятием, кажется, и застал предка его молодой родственник, которого генерал, может быть, сразу и не узнал, но, приглядевшись, отыскал во внешности кое-какую «ганнибаловщину».

Одетый по моде современный молодой человек сначала вызвал у старика подозрение, но затем, однако, «старый арап» расположился, подобрел, может быть, даже «в азарт вошел». И тут, мы точно знаем, пошли разговоры, имевшие немалые последствия для российской литературы... Разговоры, за которыми и ехал Александр Сергеевич. Петр Абрамович принялся рассказывать о «незабвенном родителе» Абраме Петровиче; вероятно, признался, что сам в русской грамоте не очень горазд — поэтому лишь начал свои воспоминания (сохранилось несколько страничек корявого почерка, начинавшихся: «Отец мой... был негер, отец его был знатного происхождения...»). Зато на стол перед внуком ложится тетрадка, испещренная старинным немецким готическим шрифтом:

«Awraam Petrovitsch Hannibal war wirklich dienslleistender General Anschef in Russisch Kaiserlichen Diensten...»

«Авраам Петрович Ганнибал был действительным заслуженным генерал-аншефом русской императорской службы, кавалером орденов святого Александра Невского и святой Анны. Он был родом африканский арап из Абиссинии, сын одного из могущественных богатых и влиятельных князей, горделиво возводившего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима...»

Пушкин держит в руках подробную биографию прадеда, написанную лет за сорок до того, вскоре после кончины «великого Арапа».

Прежде, как видно, заветная тетрадь была у старшего сына, Ивана Абрамовича Ганнибала, знаменитого генерала, одного из главных героев известного Наваринского морского сражения с турками 1770 года. Пушкин гордился, что в Царском Селе на специальной колонне в честь российских побед выбито имя Ивана Ганнибала, писал о нем в знаменитых стихах, но единственная встре-

ча будущего поэта с этим двоюродным дедом, увы, происходила... в 1800 году: годовалого мальчика привезли познакомиться со стариком, которому оставалось лишь несколько месяцев жизни.

С 1801 года — старший в роду уже Петр Абрамович, и к нему, естественно, переходит «немецкая биография» отца. Пока что он не желает отдавать ее Пушкину, но разрешает прочесть, сделать выписки...

1824 год: XVIII столетие осталось далеко позади; а в тетрадях Пушкина — один за другим — отрывки, черновики, копии документов, заметки о черном прадеде.

В первой главе «Евгения Онегина», еще за несколько месяцев до приезда в Михайловское (когда был план побега из Одессы):

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

В Михайловском —
20 сентября 1824 г. Стихи к Языкову:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мои арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей, —
Я жду тебя...


Борис Петрович Шереметев
Алексей Васильевич Макаров
Александр Данилович Меншиков
Петр Андреевич Толстой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны
Федор Алексеевич Головин
Яков Федорович Долгорукий

Октябрь 1824 г. Обширное авторское примечание к пятидесятой строфе первой главы «Евгения Онегина» об Абраме Петровиче Ганнибале. Последние строки примечания — «мы со временем надеемся издать полную его биографию», — конечно, подразумевают немецкую рукопись.

Конец октября 1824 г. Стихотворный набросок —

Как жениться задумал царский арап,
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышен арап поглядывает.
Что выбрал арап себе сударушку,
Черный ворон белую лебедушку.
А как он, арап, чернешенек,
А она-то, душа, белешенька.

История «черного ворона» и «белой лебедушки» тоже взята из «немецкой биографии», хотя какие-то подробности, вероятно, заимствованы из рассказов няни Пушкина «про старых бар» (Арине Родионовне ведь было уже 23 года, когда скончался А. П. Ганнибал).

19 ноября 1824 г. На отдельном листе Пушкин записывает воспоминания о первом посещении псковской деревни и первой встрече с П. А. Ганнибалом.

Январь — февраль 1825 г. Увлечение Ганнибаловой темой продолжается. Отправив большое примечание к первой главе «Евгения Онегина», Пушкин еще пишет брату Льву: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы».

11 августа 1825 г. Пушкин сообщает П. А. Осиповой, что едет к умирающему двоюродному дедушке, у которого «необходимо раздобыть записки, касающиеся моего прадеда».

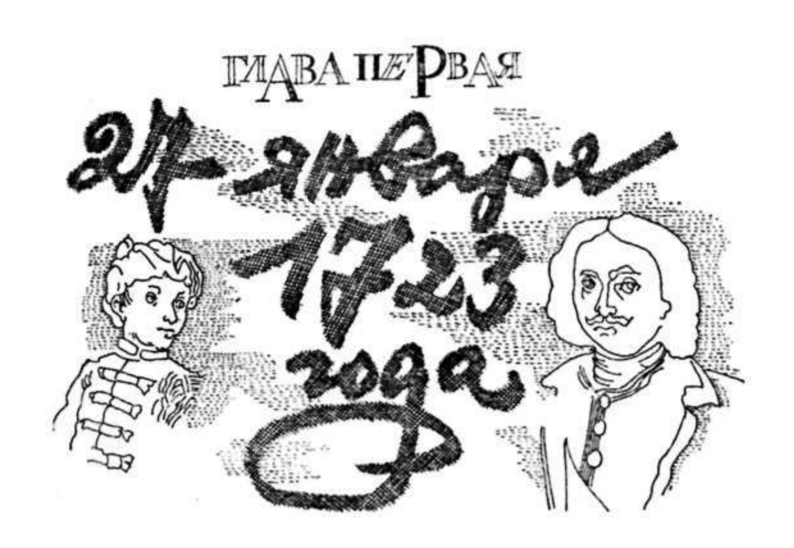
Раньше думали, что Пушкин отправлялся из Михайловского в соседнее Петровское, принадлежавшее дедушке; однако совсем недавно сотрудница Пушкинского заповедника на Псковщине Г. Ф. Симакина установила, что резиденция старого Ганнибала была в другой его деревне — Сафонтьеве, верстах в 60-ти от Михайловского. Мелочь, казалось бы, но зато для Пушкина совсем не мелочь, идти ли к Петру Абрамовичу за несколько

верст или трястись полдня по ухабистым псковским дорогам.

Но «Записки» стоили того... Престарелый артиллерист, любитель гуслей и настойки, прощается с великим внуком: знакомя именно Пушкина с «немецкой биографией» родителя, он будто завещает ему «корону», старшинство славного рода.

Старик проживет еще год после того подарка и скончается в 1826-м, на 85-м году жизни. Пушкин же через год начнет повесть «Арап Петра Великого», а затем пригласит прадеда и нескольких пылких, буйных предков в свои стихи, исторические труды, воспоминания.

Вот каким образом из рассказов и преданий, из книг и немецкой биографии является к Пушкину и к нам его высокопревосходительство Абрам Петрович Ганнибал, в конце жизни генерал-аншеф (по-сегодняшнему — генерал армии: чин высочайший!), «орденов святой Анны и святого Александра Невского кавалер».



Незадолго до своей гибели Пушкин записал следующие строки о своем прадеде:

«Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году».

Сцена встречи и благословения царем своего любимца нам известна, конечно, не столько по историко-биографической записи Пушкина, сколько по другому ее описанию, выполненному все тем же славным правнуком.

«Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу.

В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург».

Эта встреча Петра и Ганнибала из повести «Арап Петра Великого» попала потом в другие рассказы, романы, была запечатлена в живописи. Историки, правда, уточнили, что дело было не в 1722 году, а 27 января 1723 года: именно в этот день царь после семилетнего почти перерыва встретился со своим учеником, денщиком, секретарем, наперсником...

Все, казалось бы, ясно.

Но два очень серьезных знатока той поры недавно, совершенно независимо друг от друга, пришли вот к какому выводу насчет той встречи:

Эстонский ученый Георг Леец: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр I находился с 18 декабря 1722 года по 23 февраля 1723 года в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января 1723 года князь В. Л. Долгорукий вместе с Абрамом».

Ленинградская исследовательница Н. К. Телетова уточняет: «Было это 27 января 1723 года, когда посольство Василия Лукича Долгорукова, в свите которого возвращался Абрам Петрович, прибыло в первопрестольную из Франции. В «Походном журнале» за 27 января 1723 года записано: «Сегодня явился его величеству по утру тайный советник князь Василий Долгорукий, который был министром в Париже и оттуда приехал по указу... Сегодня была превеликая метель и мокрая». Так, метелью превеликой, встречала Абрама его вторая родина. Ни о каких выездах навстречу царя и царицы речь на деле не шла».

Если даже навстречу важному вельможе, послу во Франции, Петр не счел нужным выехать, то что уж толковать про скромного «арапа»; к тому же царь в эти дни был не в духе: открылись страшные злоупотребления некоторых доверенных лиц, в Москве готовились к новым казням, а не к дружеским объятиям...

Итак, **не было, не могло быть.**

«Как жаль!» — готовы мы воскликнуть вместе с читателем или вспомнить пушкинское:

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!
Увы! его раздался глас, —
И где ж очарованье света!

Что же такое история, что же такое исторический факт, если на расстоянии в сто лет сам Пушкин уж не может различить правду и легенду?

Но странно... Ведь поэт-историк сообщает удивительно точные подробности: 27-я (или 28-я) верста; образ Петра и Павла, который, правда, «не мог сыскать», но искал, точно зная о его существовании; кстати, в начале XX века дальняя родственница Пушкина из рода Ганнибалов подтверждала, что образ действительно был и благословение было.

Поэтому не станем торопиться с выводом — «Пушкин прав — Пушкин ошибся», скажем осторожнее: «Пушкину так представлялось дело»; Петр I, как видно, действительно любил своего Арапа, выдвигал его, поощрял... Сыновья, внуки, правнуки А. П. Ганнибала, разумеется, гордились, что их предок был столь близок к великому царю; они были, конечно, склонны и преувеличивать эту близость, иногда, впрочем, делая это невольно...

Попробуем же разобраться во всем по порядку.

Петр и Петров

В то самое время, когда 24-летний царь Петр и его «потешные» осаждали и брали турецкую крепость Азов, при впадении Дона в Азовское море, на берегу совсем другого моря, Красного, там, где сегодня Эфиопия граничит с Суданом, родился Ибрагим...

Многоточие означает, что ни полного родового имени, ни имени его отца мы не знаем.

1696 год. Мы сегодня, в конце XX столетия, очень любим, пожалуй, гордимся **быстрыми, фантастическими, совершенно необыкновенными** человеческими перемещениями и превращениями (с полюса на полюс, из дебрей Африки — в Нью-Йорк, из королей — в спортсмены...).

Нет спору, наш век — фокусник, но и прежние умели вдруг слепить такую биографию, которая не скоро приснится и в XXI столетии. Оттого же, что нам кажется, будто старина была медленней и «нормальней», ее чудеса, наверное, представляются еще удивительнее.

В самом деле, северо-восточная Африка, одно из наиболее жарких мест на земле; местный князек, у которого 19 сыновей (Ибрагим младший): «их водили к отцу, с руками связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома» (из пушкинского примечания к первому изданию «Евгения Онегина»). Отец Ибрагима, спасавший своих старших сыновей от естественного искушения — захватить власть и сесть на отцовское место, — этот вождь, шейх или как-то иначе называвшийся правитель почти наверняка и не слыхал о существовании России; но если бы кто-то ему объяснил, что он, владелец земли, фонтанов, многочисленных жен и детей, — что он уже наперед знаменит как прапрадед величайшего русского поэта (а одна из его жен — конечно, не главная, ибо мать всего лишь девятнадцатого сына, — это любезная нам прапрабабка); если бы кто-нибудь мог показать сквозь «магический кристалл», что в далекой, холодной, неизвестной «стране гяуров» проживают в конце XVII столетия, полтора десятка потенциальных родственников, тоже прапрадедов и прапрабабок будущего гения; если бы могли темнокожие люди в мальчике, плескающемся в теплых фонтанах, угадать российского воина, французского капитана, строителя крепостей в Сибири, важного генерала, оканчивающего дни в деревне, среди северных болот под белыми ночами... Если бы все это разглядели оттуда, с тропического Красного моря, то... вряд ли удивились бы сильно. Скорее — вздохнули б, что пути аллаха неисповедимы; и пожалуй, эта вера в судьбу и предназначение позволила бы раскрыть случившееся как нечто совершенно естественное...

Случилось же вот что.

Семилетнего Ибрагима сажают на корабль, везут по морю, по суше, опять по морю и доставляют в Стамбул, ко дворцу турецкого султана; Пушкин, беседуя с двоюродным дедушкой и разбирая «немецкую биографию» прадедушки, никак не мог понять: зачем мальчика увезли? Петр Абрамович за рюмками ганнибаловской настойки объяснил Пушкину, что мальчика похитили, и даже припомнил рассказ своего отца, как любимая его сестра В отчаянии плыла издали за кораблем... Немецкая же биография (составленная со слов Ибрагима-Абрама) толковала события иначе: к верховному повелителю всех мусульман, турецкому султану, привезли в ту пору детей из самых знатных фамилий в качестве заложников, которых убивали или продавали, если родители «плохо себя вели». Впрочем, ни дедушка, ни «фамилия Пушкина» ни словом не коснулись одного обстоятельства, которое открылось полностью уже в наши дни, в XX веке: дело в том, что похитители увезли двух братьев, из которых Ибрагим был меньшим... Но о старшем брате ни Пушкин, пи Петр Абрамович не знали ничего. Тут любопытная загадка, но к ней еще вернемся...

Так или иначе, в 1703 году Ибрагим с братом оказались в столице Турции, а год спустя их вывозит оттуда помощник русского посла. Делает он это по приказу своих начальников — управителя посольского приказа Федора Алексеевича Головина и русского посла в Стамбуле Петра Андреевича Толстого. Тут мы не удержимся, чтобы не заметить: Петр Толстой — прапрапрадед великого Льва Толстого, прямой предок и двух других знаменитых писателей, двух Алексеев Толстых, — руководит похищением пушкинского прадеда!

И разумеется, все это дело — по приказу царя Петра и для самого царя.

Двух братьев и еще одного «арапчика» со всеми мерами предосторожности везут по суше, через Балканы, Молдавию, Украину. Более легкий, обычный путь по Черному и Азовскому морям сочли опасным, так как на воде турки легче бы настигли похитителей...

Зачем же плелась эта стамбульская интрига? Почему царю Петру срочно потребовались темнокожие мальчики?

Вообще, иметь придворного «арапа», негритенка, при

многих европейских дворах считалось модным, экзотическим... Но Петр не только эффекта ради послал секретную инструкцию — добыть негритят «лучше и искуснее»: он хотел доказать, что и темнокожие «арапчата» к наукам и делам не менее способны, чем многие упрямые российские недоросли. Иначе говоря, тут была цель воспитательная: ведь негров принято было в ту пору считать дикими, и чванство белого колонизатора не знало границ. Царь Петр же, как видим, ломает обычаи и предрассудки: ценит головы по способностям, руки — по умению, а не по цвету кожи...

И вот мальчиков везут в Россию. По дороге они, наверное, впервые в жизни видят снег; точно известно, что в Москву прибыли 13 ноября 1704 года, куда вскоре возвращается из похода царь Петр.

Война со шведами идет уже четыре года, но конца ей не видно: сначала Карл XII побил русские полки при Нарве, теперь же военное счастье все больше улыбается Петру. Только что штурмом взяты Дерпт и Нарва, год назад заложен Петербург. Царь доволен, у него большие планы, для исполнения которых нужно много энергичных, толковых помощников.

Можем вообразить первую встречу Петра с темнокожими братьями, царский экзамен — на что способны; затем крещение...

Пушкин: «Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польской королевой, супругою Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж».

Вот уже, как видим, Арап Петра Великого делается более похожим «на самого себя», хотя историки поправляют поэта чуть ли не на каждом слове.

Крещение было действительно в Вильне, но не в 1707, а на два года раньше; польской королевы при этом не было; гордое, древнее имя Ганнибал — так стал называться Ибрагим (Абрам) только после смерти царя Петра, а до


Над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы.

того везде — Абрам Петров или Абрам Петрович Петров. Пушкин того не знал, да и дедушка Петр Абрамович плохо различал подробности. Конечно, «немецкая биография» утверждала, что Арап Петра Великого действительно происходил от великого карфагенского полководца (имевшего если не негритянскую — арапскую, то во всяком случае потемневшую «арабскую» кожу), но Пушкин, понятно, не стал настаивать, будто находится в прямом родстве с победителем при Каннах.

Его устраивало, что юный прадед геройски бился в Северной войне.

21 год длилась война со шведами. Полтавская битва 1709 года, морское сражение при мысе Гангут в 1714-м — это знаменитые вершины, главные победы; однако до них, между ними, после них были годы бесконечных утомительных маршей и осад, голода и слякоти, десятилетня разочарований и надежд. И Абрам Петров, почти не расставаясь со своим повелителем, проходит длинными дорогами длиннейшей войны... И конечно, не минует Полтавы и Гангута.

Славным полководцем, напоминавшим древнего Ганнибала, там выступал сам Петр. Арап же, как мы сейчас догадываемся, поначалу обходился без имени карфагенского героя. Дело в том, что Петр невысоко ценил знатность рода — чего стоил, например, «пирожник» Меншиков, впрочем, успевший еще при Петре стать герцогом Ижорским, князем Российской империи и Римского государства, но так и не выучившийся грамоте... Наш-то герой, Ибрагим-Абрам был в самом деле образован; действительно, знал разные языки, геометрию, фортификацию. Однако у него — «слишком простонародное» имя (формально он ведь Петров Петр Петрович!).

После же смерти царя-благодетеля титулы, звания возрастают в цене, становятся способом выжить, пробиться... И тут-то Абрам Петров впервые называется Ганнибалом, да еще заказывает особый герб — слон под короной; намек на африканский царский род. Те, кто сегодня, 200 лет спустя, улыбнутся над тщеславном или «фанфаронством» нашего Африканца, будут судить **неисторически:** ведь нельзя же мерить людей былых веков мерками наших представлений! Эдак можно упрекнуть Петра, что он, скажем, не освободил крепостных крестьян или что люди

XVI—XVII веков проливали кровь из-за «чепухи» — разницы в религиозных обрядах...

Если же судить XVIII век по законам XVIII века, то мы сразу увидим, что Абрам Петрович был похож на многих лучших людей того времени, которые с большой энергией воевали, строили, управляли, учились, учили, но при том постоянно интриговали, мучили крестьян, собственных жен, детей и — себя самих... Прикрывшись звучной фамилией Ганнибал, Абрам Петрович, как видно, не любил толковать о старшем брате: знаем, что тот звался после крещения Алексеем Петровичем, что, вероятно, не очень понравилось царю, и карьеры не сделал: через 12 лет после прибытия в Россию он, согласно документам (недавно найденным В. П. Козловым), числился гобоистом Преображенского полка и был женат на крепостной ссыльных князей Голицыных.

Женат на крепостной — значит, и сам не знатный, простого роду... Насчет же старшего брата, который «приезжал в Петербург, предлагал выкуп», кроме как в «немецкой биографии», сведений нет; и вообще странная это история, чтобы один из сыновей, некогда являвшихся на глаза к отцу «со связанными руками», вдруг так воспылал братскими чувствами, что отыскал младшего «за шестью морями»... Подозреваем, что в семейных рассказах «неблагополучный» гобоист Алексей Петров вдруг переменил свою роль, превратился в легенду; на самом же деле — умер в России или, может быть, попытался найти дорогу на родину...

1717—1723. Париж

Пушкин: «Потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в одном подземном сражении (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему...»

Наш рассказ начался с января 1723 года, вернулся в конец XVII столетия, на берег Красного моря, — и вот,

будто совершив кругосветное путешествие, снова приближается к своему началу.

Абрам Петров в Париже. Правда, он туда не «послан» (как думал Пушкин), но **оставлен** Петром для учения: в 1717-м царь со свитой, где был и Арап, посетил эту страну, познакомился с ее науками, искусствами, знаменитыми полководцами, ну и, разумеется, с самим королем («объявляю Вам, — писал Петр царице, — что в прошлый понедельник визитировал меня здешний королище, который пальца на два более Луки <карлика> нашего, дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет».

Король Людовик XV вступил на трон пятилетним и правил уже второй год.

Мы не знаем, был ли допущен Абрам Петров на встречу монархов, но точно известно, что царь сам лично рекомендовал его герцогу Дю Мену, родственнику короля и начальнику всей французской артиллерии.

Как несмышленых котят толкают носом в молоко, так царь Петр торопится лаской, уговором, пинком просветить своих подданных. Для того сам учится, Ганнибала и других обучает за границей; для того назначает бесплатное угощение посетителям кунсткамеры — награда за любопытство; для того издает книги тиражами в 10—20 тысяч экземпляров, хотя удавалось продать всего 200—300, а остальные гнили на складе (ничего — пусть хоть видят книгу, пусть хоть малую часть, да все-таки купят!). Тогда же царь Петр соблазняет большими льготами и деньгами лучших ученых Европы, чтобы помогли основать русскую академию и университет.

Уже выходит первая русская газета, строятся корабли, пушки, каналы, промышленность вырастает в 7 раз — но все мало, мало: торопится царь, ласкою, дубинкою, кнутом погоняет подданных...

Но вот кончается 1722 год. Наступает час Абраму Петровичу возвратиться в Россию; он просит только об одном: ехать домой не морем, а по суше; он просит доложить Петру I (который за это время уж принял титул императора), умоляет кабинет-секретаря «доложить императорскому величеству, что я не морской человечек; вы сами, мой государь, изволите ведать, как я был на море храбр, а ноне пуще отвык. Моя смерть будет, ежели не покажут

надо мною милосердие божеское... Ежели императорское величество ничего не пожалует, чем бы нам доехать в Питербурх сухим путем, то рад и готов пешком итти».

И еще раз: «Я бы с тем поехал, ежели недостанет, то бы милостину стал бы просить дорогой, а морем не поеду, воля его величества».

Крестник Петра, действительно отличившийся за 8 лет до того в Гангутской морской битве, — и вдруг такая моребоязнь? Возможно, попал однажды в бурю или вдруг подступили детские воспоминания: море, корабль и плывущая за ним сестра? Незадолго до наступления нового, 1723 года русский посол в Париже Василий Лукич Долгорукий отправляется в путь — посуху, через Германию, Польшу. В посольской свите — «отставной капитан французской армии Абрам Петров».

27 января — мокрый снег, Москва...

Встречал — не встречал

Итак, Петр не встречал. Незадолго перед тем, вернувшись в Москву из персидского похода, обнаружил дома множество неустройств... Император устал — жить ему оставалось ровно два года — и, будто чувствуя, как мало удастся совершить, особенно гневен на тех, кто мешает. Петр немало знал, например, про колоссальные хищения второго человека Меншикова и еще многих, многих. И вот в назидание сподвижникам, как раз в те дни, когда посольство Долгорукого подъезжало к старой столице, была учинена публичная расправа над одним из славнейших «птенцов гнезда Петрова».

Барон Петр Шафиров, опытнейший дипломат, в течении многих лет ведавший внешнеполитическими делами (позже сказали бы — министр иностранных дел), — барон только что обвинен в больших злоупотреблениях, интригах. Комиссия из десяти сенаторов лишает его чинов, титула, имения и приговаривает к смерти.

Голова уж положена на плаху, палач поднял топор — но не опустил: царь прощает ссылкою, «под крепким караулом».

Москва присмирела и ожидает новых казней; Василий Лукич Долгорукий и приехавший с ним в одно время (из


Горит Восток зарею Новой.
Уж На равнине,
по холмам
Грохочут пушки...

Берлина) другой русский дипломат, Головкин, ожидают, когда царь их примет и выслушает.

Царь принял, много толковал с возвратившимися, конечно, перемолвился с Абрамом Петровым и — оттаял: выходило, что есть еще верные слуги; доклады из Парижа и Берлина оказались лучше, чем ожидал требовательный, придирчивый, нервный император. И раз так — этот случай тоже надо сделать назидательным, нравоучительным...

Через месяц без малого, 24 февраля 1723 года, Петр выезжает из Москвы в Петербург. Если нужно ему было, несся лихо и мог покрыть расстояние меж двух столиц за рекордный срок — двое суток! Но на этот раз царь не торопился: устал; к тому же по дороге кое-что осмотрел, и достиг Невы на восьмой день пути, 3 марта 1723 года.

А вслед за Петром из Москвы двинулись в путь дипломаты: Долгорукий со свитой, Головкин с людьми; 27-летний Абрам Петров меж ними — персона не главная, но и не последняя...

Ехали не торопясь, но и не медля — чтобы прибыть точно в назначенный день.

А в назначенный день — свидетельствуют документы — Петр выехал к ним навстречу «за несколько верст от города, в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии; им был оказан особый почет».

Таким образом был разыгран спектакль — для жителей, для гвардии, для придворных, для высших сановников... Петр как будто не видел послов в Москве — и теперь торжественно, «впервые» принимает недалеко от своей новой столицы: умеет казнить — умеет награждать.

Кто ослушается, положит голову, как Шафиров. Кто угодит, будет принят, как Долгорукий и Головкин... Плаха и «особый почет» как бы уравновешивали друг друга.

Итак, царский прием, и конечно, часть почета относилась к Абраму Петрову. Царь, выходящий навстречу, обнимает, благословляет всех — и своего крестника — образом Петра и Павла... Вскоре после того Арапа жалуют чином, но не капитан-лейтенантом, а инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка: Пушкин вслед за «немецкой биографией»завысил чин.

Итак, что же выходит?

Пушкин: «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!»

Позднейшие историки: «Ничего этого не было... Ни о каких выездах навстречу... речь на деле не шла».

Но все-таки — было, было...

Просто «невстреча» в Москве 27 января и встреча у Петербурга в марте позже слились в памяти в одно целое: может быть, уже в сознании самого Абрама Петровича, а уж у детей его, у автора «немецкой биографии» — и подавно...

Но не слишком ли много внимания частному эпизоду (не встречал — встречал)? Подумаешь, какая важность!

Что же в конце концов следует из всего этого?

Во-первых, что к приданиям, легендам нужно относиться бережно: не верить буквально, но и не отвергать с насмешкою. Разумеется, в наши «письменные века» предания не ту роль играют, что у диких племен, где они заменяют историю, литературу (у полинезийцев были специальные мудрецы, помнившие и передававшие другим «фамильные», родовые предания за сотни и даже за тысячу лет). В нашу эпоху, повторяем, дело иное, но не совсем иное. Я сам видел почтенного специалиста-историка, который, показывая на старинный портрет, объяснял: «Это мой прапрадед, но, по правде говоря, это не он» (ордена опять не те!).

Итак, во-первых, ценность легенды, семейного рассказа. Во-вторых, как трудно «добыть дату», сверить факты...

Наконец признаемся: приятно убедиться, что Пушкин не ошибся.

Впрочем, если б даже ошибся и не было встречи Ганнибала Петром, Пушкин все равно прав, ибо все доказал художественно. Но при том сам Александр Сергеевич ведь считал, что Петр на самом деле выезжал навстречу своему Арапу (и, если бы иначе думал, не стал бы о том писать!); и нам, повторим, приятно, что художественно-историческое совпало с историко-документальным — что, если за Пушкиным пойдешь, — многое найдешь...

Рассказ о встрече оканчивается, разговор не окончен: Абрам Петрович Ганнибал еще не раз появится на страницах этой книги, сейчас только на время уступит место другому герою (которого, кстати, в свое время заметил и собирался «пригласить» в свои книги поэт-правнук), другому птенцу, точнее говоря, птенцу «птенцов, гнезда Петрова»...



«От Якутска до Бельской переправы наша дорога была довольно сносной, но дальше до Охотска столь беспокойна, что дороги труднее ее и представить себе нельзя, ибо она следует или по берегам рек, или по лесистым горам. Берега настолько усеяны обломками камней или круглыми гальками, что приходится удивляться здешним лошадям, как они ходят по этим камням. Впрочем, ни одна из них не приходит к концу путешествия с целыми копытами. Горы чем выше, тем грязнее. На самых вершинах расположены ужасные болота и зыбуны. Если вьючная лошадь в них проваливается, то освободить ее нет никакой надежды. С превеликим страхом приходится наблюдать, как впереди, сажен за десять, земля волнообразно колеблется.

Лучшее время поездок по этому пути падает на период времени с весны до июля месяца, а если тронуться в путь в августе, то следует опасаться, чтобы не захватили снега, очень рано выпадающие в горах.

В Охотске мы прожили до 4 октября 1737 года, пока прибывшее 23 августа с Камчатки судно «Фортуна» не было разгружено и отремонтировано.


То академик, то герой,
То мореплаватель,
то плотник...

Когда ремонт «Фортуны» был закончен, охотский командир 30 сентября отдал приказ грузиться на судно, а 4 октября мы уже покинули Охотск.

Из устья р. Охоты мы благополучно вышли во втором часу пополудни и к вечеру потеряли из виду берега. В одиннадцатом часу на судне появилась такая течь, что люди в трюме ходили в воде по колено. Хотя воду отливали двумя помпами, котлами и чем кому под руку попало, однако она не убывала...»

Так встречает Тихий океан, Охотское море 26-летнего «академии студента» Степана Петровича Крашенинникова.

Суденышко «Фортуна», то есть «Судьба», уж видало виды: за несколько лет до того участвовало в первой Камчатской экспедиции Беринга — и явно устало.

«Судно наше настолько погрузилось в воду, что она начала заливаться в шпигаты. Не было другого спасения, кроме облегчения судна от излишков груза.

К этому вынуждал и стоявший на море полный штиль, не позволявший вернуться в Охотск. Поэтому все лежавшее наверху было сброшено в море, но так как и после этого улучшения не наступило, то без всякого разбора выбросили около 400 пудов разных грузов, находившихся в трюме».

Для того чтобы тонуть в холодном море, за десять тысяч верст от Петербурга, солдатскому сыну Степану Крашенинникову пришлось немало поучиться. Ну что же — в ту пору учились многие. Учились воевать, делать пушки и корабли, открывать школы и училища, строить крепости и дворцы, выпускать книги, календари, газеты, географические карты. Учились солдаты и генералы, люди без роду и племени и сам царь Петр. Учились у друзей и врагов, у голландцев, немцев, французов, англичан, итальянцев, у короля Карла XII. Царь Петр, бывало, шутил, что российский желудок крепок — все переварит: никакого стыда и страха не должно испытывать, заимствуя и перерабатывая чужое; куда более стыдно коснеть в невежестве и спячке.

По царскому приказу отыскивают толковых молодых дворян, к ним прибавляют смышленых мальчиков «низших сословий» — лишь бы могли, лишь бы желали учиться! Так 13-летний солдатский сын Степан Крашенинников

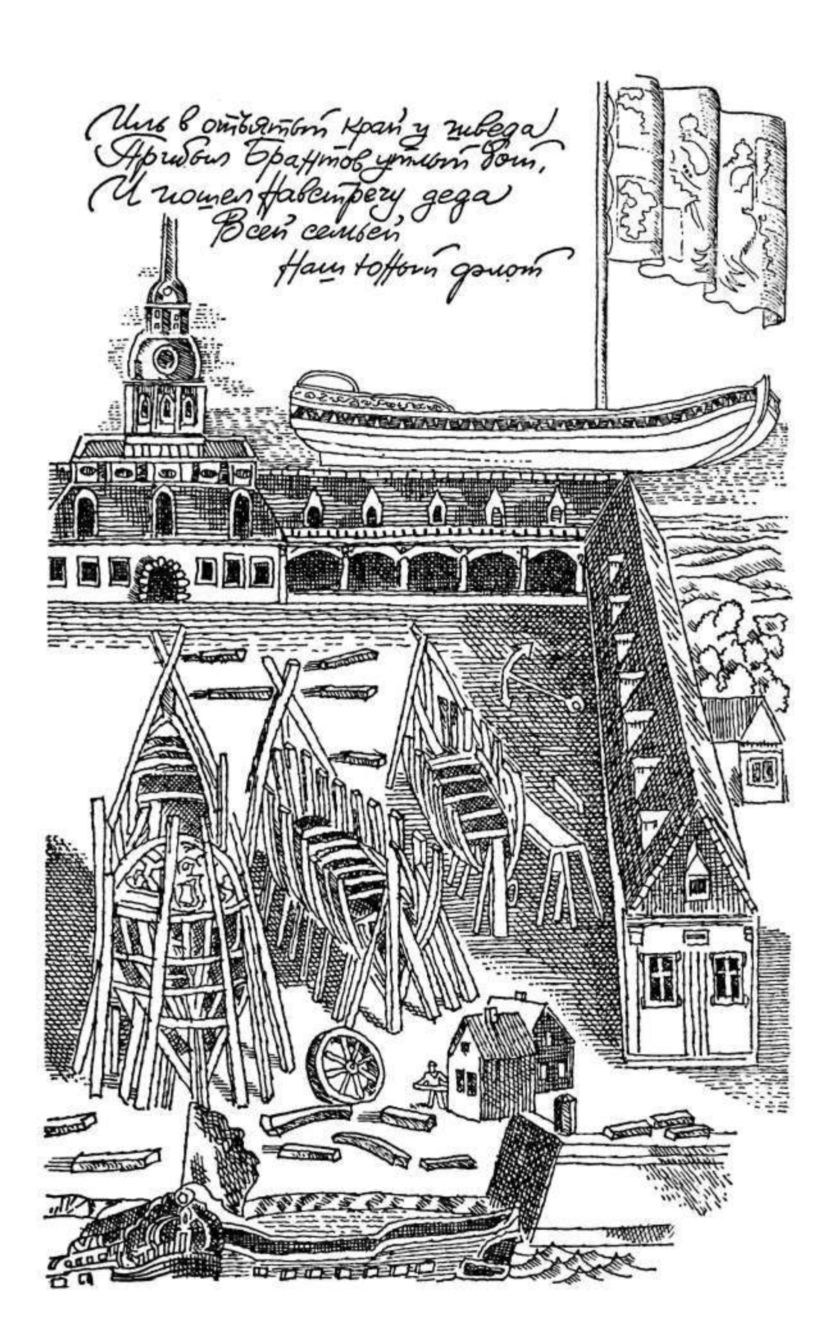
был принят в одно из лучших московских учебных заведений — Славяно-греко-латинскую академию (туда же с огромным трудом чуть позже пробьется Михайло Ломоносов!).

Пройдет, конечно, время, пока русские ребята выучат языки, да еще и «несколько наук» в придачу, чтобы понимать лекции приглашенных европейских профессоров; 28 января 1725 года Петр умирает, но просвещение — живет и здравствует, притягивает лучших, способнейших... В тех аудиториях, где немцы читали немцам, через несколько лет уже половина слушателей русские: выучились, могут понять, участвовать в науке на равных. Правда, денег им почти не платят (такая великая вещь, как стипендия, была «изобретена» для российских студентов только в 1747 году!); пока что разве один из десяти выдерживает главный академический экзамен — голод.

Степан Петрович Крашенинников выдержал; на 21-м году жизни его и нескольких особо смышленых москвичей привозят в Петербург, в академию, а затем отправляют на Дальний Восток, в помощь Витусу Берингу и другим участникам широко задуманной Камчатской экспедиции. Когда же академики увидели, что студент разбирается в геологии и географии, в истории и языках, в травах и тварях, к тому же хорошо рисует (в ту пору это было столь же важно, как сегодня — умение фотографировать), к тому же — не боится лишений (привычка с детских лет)... Тогда академики посылают студента вперед, в самую дальнюю из земель, которую было приказано изучить и описать, — на Камчатку...

Лишь за сорок лет до того первый русский казачий отряд достиг этого огромного полуострова, где жители еще находились на стадии каменного века; однако и в 1730-х годах на большинство европейских карт страна могучих лесов, огромных вулканов, гейзеров и морских бурь еще едва нанесена или изображена неточно.

Еще лет за 10—20 до того, как Крашенинников смело вступает на коварную палубу «Фортуны», на том полуострове, куда он едет, была сложена поговорка «на Камчатке проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет проживет, кому бог велит». Действительно, прожить несколько лет было мудрено: бури, снежные обвалы,


Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу деда
Всей семьей
Наш юный флот

стычки казаков между собою, восстания местных племен — ительменов и коряков, которым не хочется платить большой ясак... Когда совершалось какое-либо преступление (а самое большое — с официальной точки зрения — грабеж «казны», той пушнины, что предназначена царю, верховной власти), — когда что-нибудь подобное совершалось, проходило не меньше года, пока весть не достигала ближайшего воеводы, в Якутске; если же провинившимся удавалось подстеречь, убить тех, кто едет докладывать «в центр», значит, выигран еще год... А там, в Якутске, начнут беспокоиться, пошлют гонца в Петербург — еще год... В общем, долгое время любой бунт или грабеж в стране вулканов имел шанс года три, а то и пять оставаться без возмездия. Пока приходила грозная царева кара, бунтовщики, глядишь, успевали «заслужить» свои вины или — что бывало чаще — складывали буйные головы: «проживешь здорово семь лет, что ни сделаешь...»

Последнее большое восстание, 1731 года, окончилось тем, что прибывшие за много тысяч верст солдаты и чиновники казнили нескольких местных вождей, сопротивлявшихся воле Петербурга, а также и нескольких казаков, особенно отличившихся в бесстыдном лихоимстве...

Вот в такую **землицу** ехал «академии студент», чтобы завоевать ее наукой — ботаникой, зоологией, географией, геологией, историей, языковедением, фольклористикой; многовато вроде бы для одного лица, но, раз едет один, придется работать за десятерых. К тому же — удастся ли доехать?

«Судно наше погрузилось в воду, все лежавшее наверху было сброшено в воду. Несчастливы были те, кладь которых лежала сверху. Наконец вода начала убывать и целиком исчезла. Однако помпы все равно нельзя было выпускать из рук, ибо за полчаса, если не откачивать, прибывало на два дюйма. Все плывшие на судне (исключая больных) сменяли друг друга после ста откачек воды».

Вот как весело проводил время Степан Крашенинников 4 октября 1737 года...

Оставляя на время нового нашего героя в большой беде и в страшной дали, вернемся к герою прежнему:

Что Ганнибал? Каково ему осенним днем 1737 года?

Пятнадцать лет

Без малого столько времени прошло с тех пор, как Петр выехал навстречу, благословил...

Пятнадцать лет: был 26-летний инженер-поручик, теперь 41-летний отставной майор; но дело, конечно, не в чинах. За прошедшие 15 лет умер Петр Великий, два года процарствовала его жена Екатерина I, еще 3 года — юный внук, Петр II, с 1730-го правит двухметрового роста, восьми пудов весу суровая племянница Петра Анна Иоанновна, которая вместе со своим фаворитом Бироном нагнала страху казнями, пытками, ссылками и зверскими увеселениями, вроде знаменитого «ледяного дома» (он даст название известному роману Ивана Лажечникова). Один из историков вот как описывал 1730-е годы: «Страшное «слово и дело» раздавалось повсюду, увлекая в застенки сотни жертв мрачной подозрительности Бирона или личной вражды его шпионов, рассеянных по городам и селам, таившихся чуть ли не в каждом семействе. Казни были так обыкновенны, что уже не возбуждали ничьего внимания, и часто *заплечные мастера* клали кого-нибудь на колесо или отрубали чью-нибудь голову в присутствии двух-трех нищих старушонок да нескольких зевак-мальчишек». Лихие вихри качали великую страну, забирали тысячи жизней, возводили и низвергали фаворитов, свирепо обрушивались и на пушкинского прадеда... Но предоставим слово самому поэту, продолжим чтение его записок: «После смерти Петра Великого судьба <Ганнибала> переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми был он связан».

Опять кое-что взято из «немецкой биографии», кое-что из рассказов... Всего несколько слов о сибирском житье Абрама Петрова (впрочем, именно после этого момента он твердо именует себя Ганнибалом). Одна-две фразы — но за ними три года жизни в тех краях, где несколько лет спустя окажется «по науке» Степан Крашенинников. Ган-

нибал, опытный инженер, тоже занят в Сибири серьезными делами, мы точно знаем, какие укрепления он там возводил по последнему слову европейской науки и техники, но «академии студент» все же по своей охоте забрался в эту отчаянную даль; Ганнибал же — явно против воли.

Пушкин иронизирует — **«измерить Китайскую стену»,** — в «немецкой биографии», разумеется, иначе: там говорится о «китайской границе»; Пушкин, однако, знает, о чем пишет: «Китайская стена» находится в Китае, а не близ Иркутска, однако правнук нарочно пишет нелепость, подчеркивая таким образом, что прадеду важных поручений не давали, что все это был лишь повод — выслать его из столицы...

К сожалению, Пушкин так и не познакомился с необыкновенным по выразительности документом, отчаянным прошением прадеда, отправленным 29 июня 1727 года всемогущему Меншикову из Казани (по пути в Сибирь): «Не погуби меня до конца... и кого давить такому превысокому лицу — такого гада и самую последнюю креатуру на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам...»

Все это было, однако, за несколько лет до нашего **второго** дня, 4 октября 1737 года.

Впрочем, поэт, кажется, ясно представляет житье-бытье предка в 1730-х годах: следует всего семь фраз, но зато пушкинских! «Судьба Долгоруких известна. Миних спас Ганнибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика... Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами.

В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но ни-

когда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».

Итак, Ганнибал, по рассказу Пушкина, чуть не лишился головы вслед за бывшим послом Василием Долгоруким (в свите которого некогда возвращался из Франции), вместе с другими противниками Анны Иоанновны. Влиятельный полководец Миних чудом спас... С политическими неприятностями приходят семейные, и наш герой осенью 1737-го — давно в печали, отставке: в своей деревне вспоминает славные петровские годы и ожидает...

Мы теперь точно знаем, что Ганнибалова деревушка (вернее, хутор, мыза) называлась Карьякула и находилась в 30-ти верстах юго-западнее Ревеля (нынешнего Таллина): пять крестьянских хозяйств и не намного б*о*льшее помещичье... Знаем также, что с первой женой отставной майор расправился куда страшнее, чем это представлялось поэту: согласно материалам бракоразводного дела, обнаруженного много лет спустя, муж «бил несчастную смертельными побоями необычно», обвиняя жену (и, кажется, не без оснований) в попытке его отравить; много лет держал ее «под караулом», на грани голодной смерти. Война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Тихвинский монастырь.

О, Ганнибал! Где ум и благородство!
Так поступить с гречанкой! Или просто
Сошелся с диким нравом дикий нрав.
. . . .
Мне все равно. Гречанку жаль, и я
Ни женщине, ни веку не судья[1].

К осени 1737 года Ганнибал уже был отцом двух «черных детей»: старшего сына Ивана, будущего знаменитого генерала, и старшей дочери Елизаветы (да сверх того — от первого брака — нелюбимой Поликсены). До рождения пушкинского собеседника Петра Абрамовича

[1] Из поэмы Д. Самойлова «Сон Ганнибала», сочиненной несколько лет назад.

Ганнибала оставалось пять лет, до появления на свет прямого деда Осипа Абрамовича — семь лет...

Картина вроде бы ясна, но опять, опять раздается глас «историка строгого», который придирается к складному пушкинскому рассказу. Оказывается, тайное житье в эстонской деревне, боязнь, что обман откроется, — все это, по мнению авторитетных современных исследователей, «легенда, далекая от действительности».

На этот раз речь идет уже не о частном, хоть и эффектном эпизоде — встречал царь Петр черного крестника или не встречал? Тут спорят о целом десятилетии ганнибаловской жизни, об отношениях с грозной властью Анны и Бирона...

Документы свидетельствуют, что, возвратясь из Сибири, майор Ганнибал... поступил на службу, то есть отнюдь не скрывался, а был на виду: два года, с 1731 по 1733 год, он занимал должности военного инженера и преподавателя гарнизонной школы в крепости Пернов (нынешнее Пярну). Потом действительно семь лет просидел в деревне — но совсем не тайно — и время от времени сам напоминал правительству о своем существовании: например, просил императрицу Анну об увеличении пенсии, но получил отказ...

Итак, опять ошибка или неточность?

Да, несомненно.

Но, оказывается, бывают ошибки не менее любопытные, чем самые верные подробности.

Колокольчик

Мемуары Ганнибала по-французски и другие «драгоценные бумаги» — сколько б мы отдали, чтобы прочесть их! Одно дело **немецкая биография**, составленная родственником через несколько лет после кончины самого рассказчика, совсем другое дело — его собственноручные записки, наверное весьма откровенные, если было чего «панически бояться»; кстати, французский язык, столь распространенный среди дворян конца XVIII и начала XIX столетия, в петровские времена считался еще отнюдь не главным и уступал в России немецкому, голландскому; пожалуй, лишь с 1740 годов, когда новая императрица

Елизавета Петровна сильно ослабила немецкое и усилила французское влияние при дворе, — пожалуй, только тогда французский начинает брать верх. Так что, сочиняя по-французски при Анне Иоанновне, Арап Петра Великого все же был в бóльшей безопасности, чем если бы писал по-русски, по-немецки... Но вот что любопытно: в немецкой биографии ни слова о сожженных записках, о страхе; это понятно: там ведь о покойном Абраме Петровиче говорится только хорошее; но от кого же Пушкин дознался о паническом сожжении записок? Наверное, все тот же Петр Абрамович, который, вручая внучатому племяннику немецкую биографию, мог вздохнуть о французской... Сказать-то сказал в 1824-м или в 1825-м, но Пушкин с «особенным чувством» эту подробность запомнил и 10 лет спустя внес ее в свою «Автобиографию».

Насчет «особенного чувства» мы не фантазируем, но уверенно настаиваем: дело в том, что на несколько страниц раньше та же самая пушкинская «Автобиография» начиналась вот с каких строк: «...в 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».

Итак, Пушкин «принужден был сжечь свои записки», Ганнибал «велел их при себе сжечь».

В потомке повторяется почти буквально история предка, и не один раз, а постоянно в начале 1830-х годов поэт запишет о дедах:«Гонимы, гоним и я».

Подобные сопоставления — может быть, ради них и разговор о предках ведется:

Упрямства дух нам всем подгадил...

Не вызывает никаких сомнений, что много раз, рассказывая о Ганнибале и других пращурах, Пушкин **сознательно** сопоставляет биографии, выводит «семейные формулы». Но иной раз это происходит **неумышленно** — и тем особенно интересно!

Страх старого Ганнибала — страх колокольчика... Пушкин не утверждает прямо, будто записки были сожжены при звуке приближающейся тройки; зато известный

историк Дмитрий Бантыш-Каменский со слов Пушкина записал о Ганнибале, что в уединении тот занялся описанием истории своей жизни на французском языке, но однажды, услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь свою интересную рукопись.

Итак, колокольчик...

Колокольчику под дугою лихой тройки Пушкин посвятил немало знаменитых строк:

Колокольчик однозвучный утомительно гремит...

Колокольчик вдруг умолк...

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальной
Порой волнует сердце нам...

Колокольчик — это дорога, заезжий друг или — страх, арест, жандарм... Январским утром 1825 года в Михайловском зазвенел колокольчик Пущина:

Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Как любопытно, что и прадед переживал те же самые чувства... Как важно...

Одно плохо —

Не было колокольчика.

Владислав Михайлович Глинка (1903—1983) — один из самых интересных людей, которых я встречал. Он написал для школьников немало прекрасных книг о людях конца XVIII — начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие)... Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жаловании инвалида, состоящего при шлаг-

бауме, или о деталях конской сбруи 1810-х годов, — все точно, все так и было, и ничуть не иначе!

Удивляться этому не следует, ибо Глинка-писатель был и крупным ученым, который работал во многих музеях, был главным хранителем русского отделения Государственного Эрмитажа и великолепно знал немыслимое количество людей и вещей прошлого...

Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:

— Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего... Зато какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной — «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете... Звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, — значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины, но эдак годам к 35—40, а ваш мальчик лет двадцати... да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820—1830-х годах еще не носили. Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.

Так что никак не получается декабрист — а вообще славный мальчик...

Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, написавшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки», особые застежки на гусарской куртке — доломане, были введены через несколько лет после гибели Лермонтова (указывается точная дата).

«Мы с женой целый вечер смеялись...»

Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения насчет старшего Ганнибала, его записок и колокольчика.

— Не слышу колокольчика, — сказал Владислав Михайлович.

— То есть где не слышите?

— В начале, в середине XVIII века не слышу, да и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню

колокольчиков под дугою: и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал...

Не помнил Владислав Михайлович колокольчика при Петре Великом и ближайших его преемниках; не помнил и предложил справиться точнее у лучшего, по его мнению, знатока «колокольных дел» Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке: не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: часто на колокольчике стоит год изготовления... Самый старый из всех известных — 1802, в начале XIX столетия...

Впрочем, по разным воспоминаниям и косвенным данным время появления первых ямщицких колокольчиков под дугою относится к 1770—1780-м годам, времени правления Екатерины II.

Значит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем но страшном для него правлении «матушки Екатерины II». Итак, во-первых, прадед не так уж боялся, совсем не скрывался даже в 1730-х годах, а во-вторых, колокольчика не слыхивал...

Что же истинного в пушкинской записи? Прежде всего, что Ганнибал вообще-то побаивался... Ведь недавно из Сибири вернулся, знал, как одних волокут на плаху, а других — в каторжные рудники.

Так что общий тон тогдашней эпохи, возможность легкой гибели — все это и через несколько поколений дошло к поэту, схвачено им верно.

Но вот — *колокольчик...*

Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин.

Не зная точно, когда его ввели, он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания.

В многочисленных пушкинских строках о колокольчике слова насчет прадеда единственные, где этот звонкий спутник является вестником зла... А ведь под колокольчиком ехал Пушкин в южную ссылку, а оттуда — в псковскую... Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3-го на 4-е сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привозит свободу, с виду похожую на арест. Пушкин, в ожидании

жандармского колокольчика или «вообразив, что за ним приехал нарочный», сжигает записки...

Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем — в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу...

Итак, Абраму Петровичу Ганнибалу нечаянно приписан пушкинский колокольчик. Поэт проговорился — и тем самым допустил нас в свой скрытый мир, сказал больше, чем хотел, о своем многолетнем напряженном ожидании...

Пушкин, между прочим, сам знал высокую цену таких «обмолвок» и однажды написал другу Вяземскому: «Зачем жалеешь... о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии».

Самое интересное для нас слово в этой цитате — невольно; «исповедался невольно в своих стихах»: это Пушкин о Байроне и, конечно же, о себе самом...

Невольно поместив колокольчик в XVIII столетие (знал бы, что ошибается, конечно, убрал бы), Пушкин, выходит, «исповедался» в своих записках.

Что же касается Абрама Петровича, то 4 октября 1737 года он сидел в своей Карьякуле с женой, мальчиком и двумя девочками; жил деревенской жизнью — никого не трогал; вспоминал Петра, былые милости; жалел, что не имеет способа блеснуть знаниями, просвещением, и побаивался тройки (пусть и без колокольчика), побаивался страшной бумаги, которая вдруг может против воли перенести с одного океана на другой.

4 октября 1737 года. Осталось договорить о молодом человеке, который в невеселом, осеннем Охотском море, на краю погибели, качает помпу по сто раз и падает без сил, припоминая время от времени, что в море полетела его собственная сумка с чистой бумагой для записей и еще одиннадцать сумок с едой да корзина с бельем. Так что осталась у бедного студента только одна рубашка да несколько записных книжек, с которыми не расставался никогда. Все полетело за борт, ибо «несчастливы были те, кладь которых лежала сверху».

«Таким образом плыли мы, претерпевая, кроме указанного беспокойства, ежедневную стужу и слякоть и в 9 часов утра 14 октября вошли в устье Большой речки».

Камчатка открылась; все плохое как будто позади, но именно тут едва избежали верной гибели: не очень опытные мореходы приняли отлив за прилив и врезались в большие белые валы, уверенные, что сейчас благополучно пристанут к берегу. Тут их, однако, понесло назад, утлая «Фортуна» затрещала, «многие советовали отойти обратно в море и подождать начала прилива. Но если бы так поступили, то наше судно вовсе бы погибло, так как жестокие северные ветры продолжались больше недели. Этим ветром нас отнесло бы в открытое море, и там «Фортуна» погибла бы, разбитая волнами. Однако другим казалось, что более безопасным было выкинуться на берег, что и было сделано. Наше судно выкинулось в саженях в ста к югу от устья Большой речки, и тотчас оно оказалось на сухом месте, так как отлив еще продолжался.

К вечеру, когда начался следующий прилив, из судна вышибло мачту, а на другой день мы нашли только его обломки, все остальное унесло море.

Тогда мы увидели, сколь «Фортуна» наша была ненадежна, ибо доски внутри были настолько черны и гнилы, что их можно было без труда ломать руками».

Фортуна, судьба, была очень ненадежна...

Земля заходила, завертелась у пассажиров под ногами. Крашенинников решил, что это от слабости и морской качки, но оказалось, что он ошибся: земля на самом деле тряслась. Камчатка встречала путешественников вулканом, землетрясением. Для здешних мест — дело обыкновенное.

Сын петровского солдата, академии студент Степан Крашенинников без сил и без вещей ступает на ту землю, которая подарит ему всероссийскую и мировую славу.

Но сейчас Крашенинникову, честное слово, не до того...





Этот день Степан Петрович Крашенинников встретил в губернском городе Иркутске.

Четыре года с небольшим прошло со времени нашей «второй главы», и почти все это время ученый пробыл на краю света: эта фраза сегодня, в XX столетии, но очень-то звучит: ведь даже название мыса Край Света, резко вдающегося в море на Курильском острове Шикотан, означает всего лишь, что от него на восток, до Сан-Франциско одна вода; однако между 1737-м и 1741-м годами, заверяем, Камчатка точно была краем света, краем человеческого знания — и от нее на восток простирались почти совершенно неведомые воды. 1537 дней прожил студент на Камчатке, голодал, бедовал (пока не помогли местные власти да новые вещи не пришли взамен тех, что погибли с «Фортуною»), но притом столько записал, зарисовал, собрал, что на обратном пути, когда опять поплыл через Охотское море, боялся во сто крат больше, чем прежде: если и сейчас ящики полетят за борт — пропали четыре года неимоверных трудов... Но обратный путь оказался счастливым, и долгая дорога по Сибири располагает к сладостному предвкушению будущего и приятному возвращению к минувшему...

Первое дело на Камчатке было научиться говорить с местными жителями. Русских на полуострове немного, но один из них хорошо умеет объясняться со здешним народом и берется помогать студенту. Крашенинников, однако, торопился сам выучиться языку камчадалов (или, как они сами себя называют, ительменов), каждый день записывает незнакомые слова и вскоре пускается в разговоры.

Камчадалы — люди веселые, поговорить не прочь. Летом мужчины охотятся на тюленей, ловят и сушат рыбу. Женщины собирают травы, чтобы приготовить из них разные лакомства или сплести покрывало, ковер.

Топоры и ножи почти все сделаны из камня или кости: о железе камчадалы только недавно узнали от русских и еще не совсем к нему привыкли.

Студент смешной, обо всем расспрашивает, улыбается — видно, хороший человек.

Вот приходит один камчадал к другому в гости. Позвали и Крашенинникова. Разжигают огонь. Русский протягивает свой кремень, чтобы, ударив по камню, выбить искру (спичек в то время еще никто не знал). Смеются хозяева: зачем камень о камень бить? Берут палочку, вставляют в специальную дощечку и быстро, быстро вертят: дерево нагревается, затем начинает тлеть, огню дают «поесть» особого мха — и вот уже костер горит прямо в юрте. Становится жарко, дым крепко ест глаза. А камчадал начинает угощать соседа рыбой, мясом, травяным отваром.

Гость поел, ему еще предлагают, потом еще... Пока не взмолится пришедший: «Не могу больше съесть ни кусочка!»

Хозяин смеется: «Ладно, но плати за то, чтобы больше не есть». И гость отдает все, что хозяин ни попросит. И рукавицы, и нож, и украшения, и почти всю одежду... Но пройдет немного дней, и сегодняшний хозяин станет гостем, придет в юрту того, кто сегодня угощал. И опять будет пир, пока гость не устанет есть и сам не отдаст хозяину все, что тот ни попросит.

Так и меняются камчадалы друг с другом вещами. А за деньги ничего у них не получишь, только хохочут, когда студент вынимает монету. Что в ней толку? Разве деньги можно съесть или надеть на себя? «Давай лучше меняться, или просто так бери что хочешь, не жалко!»

Кончается короткое камчатское лето, и жители после

трудов спешат повеселиться: запевают песни, непривычные и странные для приезжего, или пускаются в пляс. Иногда целый день не перестают веселиться ни на минуту да еще ночь прихватывают, и так им жарко, что бегут к морю охладиться...

Но вдруг один сорвался с берега и тонет. Никто не бросился помочь.

— Что же вы? — закричал Степан Петрович и приготовился кинуться вниз.

Но его хватают, удерживают: стой, ни с места!

К счастью, утопающий сам, хоть и с трудом, выкарабкался на камни.

— Нельзя спасать, — объясняют старики. — Если спасешь, значит, сам когда-нибудь непременно утонешь.

— Да что за чепуха! — горячится русский.

Но никто с ним не согласен. И как переубедить этих людей? Лучше поговорить о чем-нибудь другом.

— А где же ваши собаки? — спрашивает Крашенинников.

Хозяин машет рукой: там где-нибудь, в лесу, в поле. Сами добывают себе еду. А вот как зима настанет, есть будет нечего, придут. Толстые, ленивые, наелись за лето. Их привяжут и заставят крепко поголодать — иначе плохо повезут по снегу. «Да скоро зима — сам увидишь!»

В августе уже появляется иней, и вскоре сильные ветры приносят снег. Прошелся над сугробом лютый мороз, и затвердела, как корка, снежная гладь.

Теперь можно поехать туда, где летом увязнешь в болоте. Собаки запряжены — и вперед... Только не зевай, особенно когда с горы спускаешься: мигом перевернутся сани и унесутся с собаками вниз, а ты догоняй по пояс в снегу.

Бежит упряжка по ущелью, а с обеих сторон поднимаются красивые, очень крутые горы.

— Можно ли на них взобраться?

— Взобраться легче, чем спуститься, — отвечает проводник. — Только на длинных ремнях, цепляясь за камни, можно слезть вниз.

А далеко-далеко курится гора — не та, которую видел Крашенинников в первый день, другая, — и время от времени над ее вершиной прыгают языки огня. Крашенинников хорошо знает, что это прорывается наружу подземное пламя, но все-таки спрашивает камчадала:

— Отчего гора горит?

— Оттого, что горные духи в эту пору топят свои юрты.

— Чем же топят?

— Китовым жиром.

— Так ведь киты в море плавают, а духи, ты говоришь, на горе живут.

— Ничего ты не знаешь, — усмехается проводник. — Духи все могут: иногда спускаются в море и выходят оттуда с растопыренными руками, а на каждом пальце насажено по киту. Десять пальцев — десять китов...

«Какая красивая сказка!» — думает русский.

«Вот чудак, — думает о нем камчадал, — не знает, отчего гора горит...»

Тут оба замечают, что собаки не хотят бежать по снежному полю, скулят, зарываются в снег.

— Буран идет, — объясняет проводник.

Путешественники сейчас же укладываются рядом с собаками, чтобы греться их теплом, накрываются чем только можно, укрепляют сани, груз — и вовремя! Налетел буран, да такой, что не видно ничего в двух шагах. Ни двинуться, ни встать невозможно: только лежать, день, два, даже три, да отряхиваться, чтоб не засыпало совсем. И все же наверху наметает огромный сугроб, и поэтому, как только ветер стихнет, — скорее откапывайся.

Наконец непогода кончилась. Солнце, отражаясь от снега, слепит глаза. Всем — и людям, и собакам — мучительно хочется есть, пить. К счастью, на пути селение. Хозяин выходит из юрты, рад гостям. Опять набегает пурга, и как славно слушать ее вой у огня. И самое время попросить хозяина рассказать сказку или описать недавнюю войну.

У камчатских племен нет царей, и все дела мужчины решают сообща, на племенном совете. Но все же на тех советах главное слово принадлежит старикам, а еще главнее — слово вождя.

Конечно, вождь не имеет такой власти, как русский царь в Петербурге, но он всех богаче. На севере Камчатки, у коряков, Крашенинников знакомится с вождем, у которого так много оленей, что он и не знает, как их сосчитать.

— Сколько их? — спрашивает русский.

— Столько, — отвечают ему, — сколько пальцев на руках и ногах у одного человека, потом у двух человек, у трех, у десяти, потом у двадцати...

Не умеют жители Камчатки считать без пальцев. С трудом удается понять, что у вождя сто тысяч оленей!

Стоит ли воевать при таком богатстве? Оказывается, как раз самые зажиточные люди стремятся приобрести еще больше добра и заставляют идти войной целые племена. Воюют храбро, отчаянно. «А когда увидят, — записывает Крашенинников, — что неприятель берет верх, то всякий камчадал, заколов жену и детей своих, или разбивается насмерть, бросившись с берега, со скалы, или с оружием устремляется на неприятеля, один на всех — и гибнет в бою».

Грустно Степану Крашенинникову. Совсем не так весело на Камчатке, как показалось ему в первые дни. Легко погибнуть в этом краю и камчадалу и русскому: от бури, вулкана, шторма, от пули, стрелы, топора.

«На Камчатке проживешь семь лет, что ни сделаешь...» Крашенинников семь лет не прожил, но сделал за четыре года столько работы — другому лет на двадцать... Огромный полуостров объездил вдоль и поперек несколько раз — и все ему мало. Все беспокоится, что в Петербурге, Москве почти совсем ничего не знают о таком дальнем крае, как Камчатка. Крашенинников повторяет: «Надо знать свое отечество во всех его пределах».

Множество его записей и наблюдений станут сокровищем мировой науки: ведь он видел едва затронутый европейской цивилизацией первобытный мир; видел таким, каким этот мир вскоре — через несколько десятилетий — уже не будет; Крашенинников вовремя приехал и вовремя на все это взглянул.

На Камчатке же за четыре года к нему привыкли: куда ни приезжает, все высыпают наружу — радуются старому знакомому. Выходят купцы, но глядят на приезжего без всякого интереса: что толку в нем — ни лисиц, ни бобров не привез, разве что по одной штуке для коллекции; одни бумажки, да камни, да сухие растения. А ведь за каждого соболя или лису, если довезти их до Москвы или Петербурга, важные господа большие деньги дадут! Нет, совсем не интересуются купцы Степаном Петровичем.

А тот не унывает, радуется, что привез много вещей,

за которые ничего платить не будут. Не только привез, но каждому листику, шкурке, камню знает название — на камчатском языке, на русском, да еще по-латыни и по-гречески: так положено записывать любому ученому, чтобы в другой стране его понять смогли (вот где пригодилось студенту знание языков!). Купцы давно ушли в свои избы. Зато камчадалы не просто рады веселому и доброму гостю, но даже поют сложенную о нем песню. По-камчатски она так начиналась: «Студенталь теемрик битель читис киллизик»; и сам герой быстро перевел ее на русский язык:

Ежели бы я был студент, то б описал всех девушек;
Ежели бы я был студент, то описал бы быка-рыбу;
Ежели б я был студент, то описал бы всех морских чаек,
поснимал бы все орлиные гнезда...
Ежели б я был студент, то описал бы горячие ключи, все горы,
всех птиц и всех морских рыб...

И вот — наступает день прощания; те, кто остается, и тот, кто уезжает, понимают, что вряд ли еще когда-либо увидятся...

Прощайте, друзья в юртах и избах!

Прощайте, вулканы, добрые медведи (жители уверены, что иногда только зверь любит пошутить: увидит бабу с корзиной ягод, ягоды отнимет; редко-редко кожу с человека сдерет, но все же живым оставит)...

Прощайте, камчатские бураны и камчатские сказители...

Прощай, студент!

12 июня 1741 года в последний раз взглянул на уходящий за черту прибоя камчатский берег...

И вот уже полгода в пути.

Для Восточной Сибири поздний ноябрь — давняя зима; реки стали, грязь и болота заросли льдом...

С древнейших времен до первых паровозов максимальной скоростью человеческого передвижения была быстрота лучшего коня или тройки, колесницы: максимум 18—20 километров в час на коротком утоптанном зимнем пути (лучше всего по льду замерзшей реки); но средняя скорость большого пути, где нужно делить длинные версты на долгие часы, много меньше... Поэтому в XVIII столетии Россия — страна огромная, медленная (в 30—40 раз



О сколько нам открытий
чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок
трудных...
Степан Петрович
Крашенинников

медленнее, чем сегодня); страна, где от обыкновенного черноземного городка, как позже напишет Гоголь, «три года скачи — ни до какого государства не доедешь». Между тем солидные путешественники только с петровского времени принялись скакать сломя голову; прежде — чем важнее, тем медленнее: воевода из Москвы в Якутск «на новую работу», ехал в 1630-х годах не торопясь, пережидая разливы и чрезмерные холода, ровно три года (средняя скорость — 7 верст в сутки). В XVIII—XIX веках медленная езда подобает только царской фамилии. Сохранилось расписание 1801 года, относящееся к приезду Александра I из Петербурга в Москву на коронацию (сходный порядок был и при других коронованиях XVIII века): в первый день кортеж проходил 184,5 версты (ночуют в Новгороде), во второй — 153 версты (ночуют «в Валдаях»), на третий — всего 92 версты (сон в Вышнем Волочке), на четвертый, отдохнув, — 134 версты до Твери; на пятые сутки экипажи пройдут 113 верст до Пешек, на шестые — всего 50 до загородного Петровского дворца и оттуда, только на седьмой день, «имеет быть торжественный въезд в столичный город Москву». Медленности выезда соответствовало и долгое возвращение, так что еще в 1750-х годах улицы северной столицы зарастали травой, пока двор и множество сопровождающих, сопутствующих не перемещались обратно, на берега Невы.

Огромная страна под властью свирепейших морозов. В Северном полушарии за последние три-четыре века самое лютое время — XVIII столетие (в феврале 1799 года в Петербурге в среднем «29 с половиной по Реомюру», то есть 37° по Цельсию).

А теперь немного цифр, без которых не обойтись! На огромных пространствах империи в 1740-х годах проживает меньше 20 миллионов жителей, из которых треть в Нечерноземном центре, много — в западных и юго-западных губерниях, но, чем дальше на юг, а особенно на восток, тем глуше, просторнее... На всю Сибирь и в конце столетия едва набирался миллион.

Около 20 миллионов жителей и огромное пространство с максимальными скоростями передвижения 10—20 верст в час... Как редкие острова в снежном равнинном океане — города, городки. Всего 4—5 душ из каждой сотни — городские жители, а 95 из ста — селяне.

Как мелкие островки, скалы, камни — деревни по 100—200 душ, а в тех деревнях более 60 из каждой сотни — крепостные.

На всю же империю никак не меньше 100 тысяч деревень и сел, и в тех деревнях известное равенство в рабстве (80% тогдашних российских крестьян — середняки); но высшей мерой счета было у тех людей 100 рублей, и кто имел 100 рублей, считался богатеем беспримерным.

100 тысяч деревень, оживающих при благоприятном «историческом климате», но зарастающих лесом, исчезающих с карт целыми волостями после мора, голода, а еще чаще — после тяжелой войны или грозного царя.

Таковы были тогдашние российские пространства, таковы дороги, столь медленные, что по пути обзаводились семьями, рожали детей, иногда даже меняли мнение о смысле жизни... Вот и академии студент Крашенинников рапортует с дороги начальству, что, «будучи в Якутске, женился, взяв за себя родную племянницу жены майора и якутского воеводы господина Павлуцкого, а дочь тобольского дворянина Ивана Цибульского, именем Степаниду».

Всего на месяц остановился в Якутске Крашенинников, а успел обвенчаться с дворянкою, племянницей воеводы... Вроде бы «великая честь» солдатскому сыну — и можем только догадываться, что сосватал молодых давний знакомец майор Павлуцкий, который был важной властью на Камчатке и, кажется, немало помог молодому ученому.

Так или иначе, а из Якутска едет Крашенинников уж с молодой женой — два месяца вверх по Лене, наперегонки с догоняющей зимой, затем — 24 дня на санях... Сотни верст надо проехать, чтобы повстречать одинокое жилье или крохотный поселок; изредка приходится предъявлять придирчивому начальнику огромного пустынного края бумаги, удостоверяющие, что «академии студент путешествует по казенной надобности», именем царствующей императрицы Анны Иоанновны... Правда, еще перед его отъездом с Камчатки принеслась из Петербурга, с опозданием на много месяцев, весть о кончине страшной императрицы — и все местное начальство собралось в церкви, чтобы присягнуть императору Иоанну Антоновичу. Некоторые называли нового повелителя Иоанном или Иваном VI (считая от древнего великого

князя Ивана Калиты, Иоанна I); однако вскоре появились монеты с надписью *Иоанн III* (это означало, что счет ведется от первого царя, Ивана Грозного).

Новый царь, император... Даже на Камчатке, впрочем, знали, что государю Ивану Антоновичу в момент вступления на престол было от роду два месяца и пять дней, и что его мать Анна Леопольдовна, красивая, легкомысленная, веселая дама, была родной племянницей царицы Анны Иоанновны, которую специально «выписали» в Петербург из Германии, так как у венценосной тетушки не было детей.

Там, в русской столице, была устроена свадьба Анны Леопольдовны с немецким принцем Антоном-Ульрихом Брауншвейгским, от этого брака и явился на свет младенец, провозглашенный теперь императором всероссийским. Регентом при грудном Иоанне VI был назначен все тот же герцог Бирон, имя которого наводило трепет во всех пределах Российского государства (в том числе и в эстонском уединении Абрама Петровича Ганнибала).

Пройдет, однако, еще месяц без малого — и помчится из столицы новая весть: что Бирона отставили, арестовали и везут в Сибирь, а регентшей объявлена сама Анна Леопольдовна, августейшая матушка императора. В сибирских краях, которые проезжал Степан Петрович, все больше помалкивали о петербургских «чудесах»: не нашего ума дело!

Много, много лет спустя великий писатель-революционер Герцен вот как представит тогдашнюю жизнь (перечисляя разных царей и разные государственные перевороты): «В свое время приедет курьер, привезет грамотку — и Москва верит печатному, кто царь и кто не царь, верит, что Бирон — добрый человек, а потом — что он злой человек, верит, что сам бог сходил на землю, чтоб посадить Анну Иоанновну, а потом Анну Леопольдовну, а потом Иоанна Антоновича, а потом Елисавету Петровну, а потом Петра Федоровича, а потом Екатерину Алексеевну на место Петра Федоровича. Петербург очень хорошо знает, что бог не пойдет мешаться в эти темные дела; он видел оргии Летнего сада, герцогиню Бирон, валяющуюся в снегу, и Анну Леопольдовну... потом сосланную; он видел похороны Петра III и похороны Павла I. Он много видел и много знает».

Если уж Москва «верит грамотке» — что говорить про сибирскую глухомань: разве что ухмыльнется про себя просвещенный студент Крашенинников, да, охмелев, но трижды оглянувшись, шепотом ругнется новый родственник майор Павлуцкий насчет обилия немцев возле российского трона; и хотя малолетний Иоанн VI — правнучатый племянник Петра Великого (и прямой правнук Ивана V — старшего, больного брата Петра I), но не лучше ли видеть на престоле прямых потомков великого императора, например его дочь Елизавету Петровну, которая, говорят, немцев не жалует...

Крашенинников уж 20-й день в Иркутске, здесь путешественники проводят «медовую зиму», приводят в порядок дела и пожитки, собираясь в путь еще на 6 тысяч верст к западу, с Ангары на Неву...

25 ноября 1741 года

Иркутск, 1741 год... Сохранился удивительный документ, Иркутская летопись, которую с XVII века вели городские энтузиасты, грамотеи... Она содержит интереснейшие сведения о жизни, истории, психологии расположившегося на Ангаре, недалеко от Байкала, крохотного городка: несколько тысяч жителей, несколько каменных домов, — но притом столицы самой большой административной единицы **в мире:** ведь от Енисея до Чукотки, от Камчатки до Амура — все Иркутская губерния!

Перелистаем же иркутскую хронику, отступив на несколько лет от интересующего нас 1741 года.

1728 год — в декабре прибыл в Иркутск поручик бомбардирской роты Абрам Петров, командированный для построения Селенгинской крепости. Это наш Ганнибал! «Река Ангара вскрылась 11 марта, а покрылась 21 декабря».

1729 год. Приезжал в Иркутск из Якутска свиты командора Беринга, флота поручик Алексей Чириков за получением денег для экспедиции.

1731 год. В сентябре проехали через Иркутск китайские послы, едущие к российскому двору, для поздравления императрицы Анны с восшествием на престол. Их препровождал драгунский капитан Елисей Давыдов.

1732 год. В ноябре месяце Заморскими воротами зашел



Витус Ионссен
Беринг
...И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой...

в город Иркутск медведь, прошел подле загороди палисадной и вышел в Мельничные ворота.

1735 год. Апреля 11. Ангара вскрылась от льда.

Приехали в Иркутск профессоры Герард Фридрих Миллер, сочинитель Сибирской истории, и Иоганн Георг Гмелин — ботаник. Они ездили за Байкал, в Нерчинск, Якутск и другие места...

О прибывшем тогда вместе с профессорами Степане Крашенинникове в летописи, как видим, ни слова: чин невелик. Но ему и не важно...

«1741 год. Река Ангара покрылась льдом 12 января, а вскрылась 21 марта.

1742 года январь. По случаю восшествия на престол императрицы Елизаветы приезжал с присягою и манифестом поручик Кар».

Так Степан Крашенинников с опозданием на два месяца узнает, что с 25 ноября минувшего 1741 года он является верным подданным уже третьей (за время его путешествия) высочайшей персоны. Важное известие со скоростью 180—200 верст в сутки распространилось с берегов Невы во все стороны.

Вечером 25-го

В ночь на 25 ноября 1741 года гренадерская рота Преображенского полка еще раз переменила власть в России. Рота — немного, около 200 человек; но огромные корпуса, армии разбросаны по стране, а гвардейская рота — «правильно расположена»: дворец не впервые взят штурмом теми, кто поближе к нему, остальная же империя — придет день, «получит грамотку» о новом правителе. На этот раз подготовка заговора была, кажется, довольно простой: Иван Антонович, на 14-м месяце царствования и 16-м месяце жизни, еще был не очень государственным человеком; его мать Анна Леопольдовна четырьмя месяцами раньше родила девочку, Екатерину, и, по обыкновению своему, проводила недели в пирах и забавах; наконец, отец императора принц Антон более всего следил за постройкой нового дворца и парка, где можно было бы по дорожкам разъезжать на шестерке лошадей... К тому же он только что присвоил себе

сверхвысокий чин генералиссимуса, а вопрос о соответствующей форме и параде был не из простых...

Для того чтобы свергнуть этих простодушных правителей, понадобилось немного. Во-первых, претендентка царского рода: таковая давно имелась. 32-летняя Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины I, долго жила в страхе и небрежении. Другие, более весомые претенденты оттирали ее от престола и постоянно подозревали, следили... От тюрьмы и ссылки принцесса спаслась, может быть, вследствие веселого, легкомысленного нрава, а также изумительно малой образованности... До конца дней своих она так и не поверила, что Англия — это остров (действительно, что за государство на острове!); зато, по сведениям одного современника, во время коронации тетушки Анны Иоанновны принцессу Елизавету разглядел некий гамбургский профессор, который «от красоты ее сошел с ума и вошел обратно в ум, только возвратившись в город Гамбург».

Елизавету не считали за серьезную соперницу, и это ей немало помогло.

Второе благоприятное обстоятельство — ревность русских дворян к «немецкой партии»; мечта скинуть вслед за Бироном всех чужеземных министров, сановников, губернаторов и захватить себе их места и доходы. В гвардейском Преображенском полку было немало молодых дворян, готовых мигом возвести на трон «дщерь Петрову» — нужен только сигнал, да еще нужны деньги...

Третьим «элементом» заговора стал французский посол маркиз де Шетарди: ловкий, опытный интриган пересылал Елизавете записочки через верного придворного врача; француз но жалел злата, для того чтобы свое влияние на российский двор усилить, а немецкое — ослабить.

В нужный день в Преображенские казармы доставляются винные бочки — бравые гвардейцы поднимают на руки любимую Елизавету, входят в спящий дворец Ивана Антоновича без всякого кровопролития... Разве что кому-то свернули скулу или кого-то сбросили с лестницы.

Впрочем, страсти разгорелись, когда достигли царских покоев: малолетних детей вырывают из рук кормилицы, четырехмесячную принцессу Екатерину Антоновну пьяный преображенец роняет; Анну Леопольдовну и принца Антона Брауншвейгского оскорбляют, вот-вот убьют...

Тут, однако, является Елизавета, переодетая в мужской костюм (позже она часто станет на балах повторять этот «маскарадный номер», настаивая, чтобы и другие дамы «следовали ее примеру»: хитрость была в том, что дочери Петра мужской наряд был к лицу, толстым же фрейлинам и камергершам — отнюдь не всегда)...

Итак, является Елизавета и объявляет «царям», из Брауншвейгского семейства, что они больше не цари, но — жить будут...

«Молчите, пламенные звуки...»

Так представлял Ломоносов политику новой царицы, которая велит молчать «пламенным звукам», то есть войне (в конце правления Анны Иоанновны шла война с Турцией; Анна Леопольдовна воюет со Швецией).

Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет:
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.

Радость Ломоносова, конечно, и радость Крашенинникова: в той же знаменитой ломоносовской «Оде на день восшествия... Елисаветы Петровны» ученый-поэт напоминает новой царице, какими удивительными землями и богатствами она владеет. В стих попадают и те самые края, реки, моря, которые пересекал Степан Петрович в минувшем 1741 году.

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена,
Но бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

Поэт воображает невообразимую Сибирь,

Охотник где не метил луком,
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Как положено в поэзии, Ломоносов гиперболизирует, преувеличивает (впрочем, в Петербурге и 100 лет спустя верили, будто по улицам Тобольска, Якутска, Иркутска так и бегают соболя!). Однако дело не в скучной точности, а в идее! Новая царица, хоть и не знает никакой географии, но по ее приказу «премудрость» скоро должна проникнуть даже в те края, где Крашенинников провел четыре славных года.

Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы [1]
Твои щедроты возвестить.
Там, тьмою островов посеян,
Реке подобен океан [2],
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

Опять преувеличение, «смягчение» истины, но оно открывает нам, как же доволен Ломоносов событиями 25 ноября 1741 года! А Крашенинников, узнав новость в Иркутске, вероятно, жалеет, что он — не в Петербурге: сибирские дороги длиннее, чем царствования...

Довольны ученые. Надеются и уцелевшие «птенцы гнезда Петрова».

[1] Ломоносов говорит об экспедиции А. И. Чирикова, достигшей западных берегов Северной Америки.

[2] Речь идет о Курильских островах и Курильском океанском течении.


РОССІЙСКАЯ ГРАММАТИКА
ПЕРВЫЯ ОСНОВАНІЯ МЕТАЛЛУРГІИ СЪ РОДОСЛОВІЕМЪ
СЛОВО О ПОЛЬЗѢ ХИМІИ,
ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ СОБРАНІИ
ПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ
СЕНТЯБРЯ 16 ДНЯ 1751 ГОДА
ГОВОРЕННОЕ
МИХАЙЛОМЪ ЛОМОНОСОВЫМЪ
Ломоносов... создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.
A
B
E
D
T
X

«Помяни мя...»

Пушкин: «Когда императрица Елисавета взошла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангельские слова: «Помяни мя, егда приидеши во царствие свое». Елисавета тотчас призвала его ко двору, произвела его в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в генерал-аншефы, пожаловала ему несколько деревень в губерниях Псковской и Петербургской, в первой Зуево, Бор, Петровское и другие, во второй Кобрино, Суйду и Таицы, также деревню Раголу, близ Ревеля, в котором несколько времени был он обер-комендантом».

Тут историкам почти не к чему придраться (разве что уточнить некоторые подробности). Действительно, новая царица быстро сделала майора генералом: соратник Петра Великого, ее о т ц а, — это было при царице Елизавете «пропуском» к чинам и доходам. Ганнибалу были пожалованы (а также им самим приобретены) те деревни, которые через 80—90 лет станут пушкинскими: Зуево, мелькнувшее в п е р е ч н е, — это ведь *Михайловское...* А рядом — Петровское... Пушкинский род, пушкинская география, пушкинская история выстраиваются в о ж и д а н и и г е н и я...

В конце мая 1975 года я познакомился в Таллине с Георгом Александровичем Леецем. Ему было за восемьдесят, на стенах его квартиры были развешаны охотничьи ружья, кинжалы, погоны артиллерийского полковника; книги на эстонском, русском, немецком, французском. «Последние г о д ы, — говорит х о з я и н, — много работаю в архиве. Однажды наткнулся на документ, подписанный «Ганнибал», вспомнил детство и перновскую гимназию, где заслужил высший балл за характеристику Ибрагима в «Арапе Петра Великого»...

Пярну (Пернов) — тот самый город, где Абрам Петрович Ганнибал в начале 1730-х годов строил укрепления и учил молодых инженеров.

Прадед Пушкина, как видно, привлек Г. Лееца известной родственностью души, соединением в одной личности нескольких культурных пластов: Африка, Турция, Россия, Франция, Эстония (нет сомнений, что Арап владел и эстонским языком).

Леец показывает гостям немалую рукопись об Абраме Петровиче Ганнибале, одобренную лучшими авторитета-

ми, и мы верим, что она непременно превратится в книгу.

Через полтора месяца Георга Александровича не стало... Затем издательство «Ээсти раамат» довело рукопись до печати с помощью иркутского писателя Марка Сергеева, тоже земляка Абрама Ганнибала (в книге Г. Лееца глава V называется «Ссылка и служба в Сибири», глава VI, самая большая, — «А. П. Ганнибал в Эстонии»)

Леец нашел неизвестные документы и о маленькой деревушке Карьякуле близ Ревеля, и о важных работах, которые предпринял генерал и обер-комендант Ревеля Ганнибал для укрепления вверенного ему города, и о его новом гербе — слоне с короною, напоминавшем наглым сослуживцам, что его права — не меньше, чем у них...

Не будем обгонять собственное повествование: пока что оно в конце 1741-го: оба героя наших, как и многие другие, полны надежд, иллюзий... Они довольны.

Несчастливы как будто только те, кого свергли.

«Семейство несчастного Иоанна Антоновича»

Название подглавки пушкинское. К тому моменту, когда поэт в одном секретном, специально предназначенном для царя Николая I документе написал слова о «несчастном семействе», приближалось столетие того переворота. Сюжет, однако, по-прежнему оставался как бы «не существующим». «Известная персона», документы «с известным титулом»: так принято было изъясняться о свергнутом малолетнем императоре. Когда декабрист Александр Корнилович в 1820 году получил (по своей службе в Главном штабе) право на занятия в сенатском архиве, то по этому поводу возникла переписка его ведомства с министром юстиции и обер-прокурором Сената: начальники опасались за три секретнейших отделения в сенатском архиве — бумаги Бирона, Анны Леопольдовны, а также дела «Известного титула».

Позже, уж в тюремных казематах, Корнилович рассказывал своим товарищам «о временах Анны и Елисаветы».

В числе строго запрещенных книг об «известных персонах» имелись, конечно, заграничные брошюры. Еще в 1816 году была пресечена продажа вполне благонамерен-

ной книги «Жизнь принцессы Анны, правительницы России»... Историк Карамзин не мог оторваться от попавших к нему в руки потаенных документов и мемуаров о том времени.

Дело Мировича, казненного в 1764 году за попытку освободить Иоанна Антоновича (вместе с приговором Пугачеву), было впервые добыто из-под спуда в 1826 году, когда власть искала в старинных судебных решениях сведения, нужные ей для осуждения декабристов. Интерес же самих декабристов к «принцам-узникам» еще усиливается в заключении и в Сибири, когда стали ближе, понятнее страдания разных «товарищей по несчастью»: в тюрьме вспоминает об Иоанне Антоновиче Кюхельбекер (стихи «Тень Рылеева»); Лунин и Никита Муравьев упомянули Ивана VI, перечисляя старинные перевороты, которые «не приносят у нас никакой пользы». Николай Бестужев создает в ссылке рассказ «Шлиссельбургская станция», где автор, глядя на стены крепости, думает «о завоевании Петра и смерти Ульриха [1] — о вечном заключении несчастнейших жертв деспотизма».

Пушкин же пишет о «несчастном семействе» неспроста: надеется, что царь Николай заинтересуется и откроет секретные архивы. 21 июня 1831 года поэт извещал шефа жандармов Бенкендорфа о своем «давнишнем желании» — «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III»...

Верховная власть, однако, не торопилась допустить Пушкина к столь близким временам. Пройдут еще десятилетия, прежде чем будут опубликованы первые работы о судьбе побежденных 25 ноября 1741 года. Только с конца 1860-х годов печатается серия статей, обходящих, впрочем, некоторые острые и впечатляющие подробности старинной борьбы за власть...

Между тем осенью 1863 года, через 122 года после интересующих нас событий, было приказано изложить их в самом полном и откровенном виде.

Приказ получил Владимир Васильевич Стасов: ему, известному критику, искусствоведу приказывать никто не мог. Иное дело — служба: Стасов с 1855 до 1906 года (51 год!) служил в одном из главных рукописных и книж-

[1] То есть Ивана Антоновича, сына Антона-Ульриха.

ных хранилищ России — императорской Публичной библиотеке в Петербурге. Ведая «отделением искусств», он непосредственно подчинялся директору библиотеки Модесту Андреевичу Корфу (некогда лицейскому товарищу Пушкина). Корф был человек официальный, близкий к престолу, Стасов, наоборот, считался в оппозиции, постоянно защищая искусство правды, реализма, «обнажения язв». При всей этой разнице во взглядах директор и подчиненный как-то ладили и находили общий язык; по-видимому, не очень обращали внимание на то, что их разъединяло...

И вот осенью 1863 года к Стасову поступает заказ Корфа — составить подробнейшую историю «Брауншвейгского семейства». Для этого Стасову открывают доступ в те самые секретные отделения, куда старались проникнуть Корнилович и Пушкин. Мало того, Стасову даны помощники, которые скопируют нужные секретнейшие политические материалы. Для чего же?

18 ноября 1863 года Корф извещает подчиненного, что в субботу идет с докладом к царю Александру II, и справляется: «не поспеет ли к тому времени хотя какой-нибудь отдельный эпизод из этой печальной драмы, который мог бы привлечь к себе любопытство государя?» Итак, царь, царская фамилия желают знать подробности. Именно в это время Стасов создает обширную работу для царского чтения, причем Корф обычно торопит перед праздником: «Государь просит новую главу на пасху», «хорошо бы к рождеству историческое чтение для государя».

Царю Александру интересно... Говорили, что он ненавидел читать по-печатному, и даже опубликованные уже романы специальные писаря для него иногда переписывали... Автор этой книги должен признаться, что, повидав почерки этих писарей, он с пониманием относится к царской причуде: после таких рукописей глядеть в книгу обыкновенной печати просто невозможно...

Однако в случае с Брауншвейгским семейством о книге не было речи: особые, доверенные писаря переписывали к праздникам, когда царь не работал, ту черновую рукопись, что готовил Стасов. Впрочем, перед подачей на царский стол текст все-таки прочитывал барон Корф и вычеркивал кое-что особенно резкое или неподходящее для императора.

Одна из беловых глав царской рукописи чудом сохранилась, где остальные — неведомо. То ли «залегли» между случайными архивными делами, и тогда могут пройти столетия, прежде чем их вдруг разыщут; а может быть, погибли в огне революций или увезены на Запад кем-либо из царедворцев?

Так или иначе, беловая стасовская рукопись об Иване VI и его родне почти не сохранилась. Зато черновая уцелела. Ее точный адрес исследователям довольно давно известен: Ленинград, Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (так теперь называется бывшая императорская Публичная библиотека), фонд 738 (Владимира Васильевича Стасова), опись I, дело 1. Иначе говоря, собрание бумаг и писем Стасова открывается огромной — в несколько сот листов — черновой тетрадью.

Недостаток черновика легко вообразить: перечеркивания, неразборчивость некоторых слов; однако это с лихвой перекрывается присутствием здесь всех «сомнительных» кусков, предназначенных Корфом к изъятию из беловика.

Стасов работает «на государя»; однако не стесняется и довольно откровенно пишет страшную хронику событий, начавшихся в ночь с 25 на 26 ноября 1741 года.

О Брауншвейгском семействе сначала было объявлено, что они отсылаются «в их отечество»: в Германии у Анны Леопольдовны немало родни; родная сестра принца Антона — датская королева Юлия-Мария.

До декабря 1742 года принцев держат в Риге, затем в Динамюндской крепости.

Тут пошли слухи, что принцев не только освободят, но и вернут к власти, тайные агенты пресекли попытки — впрочем, весьма наивные — «обратного переворота»... Все это увеличивало политические опасения Елизаветы Петровны. И вот вместо отсылки в Германию принцев переводят в глухой и дальний край — Холмогоры, в 100 верстах от Белого моря, выход к которому крепко заперт Архангельском.

Под охраной и наблюдением — четыре главных арестанта, двое взрослых и двое детей, а также близкая к ним придворная дама. Затем число узников меняется: в тюрьме Анна Леопольдовна родила еще троих детей: дочь Елисавету (1743), сыновей Петра (1745) и Алексея (1746).

Все пятеро детей — внучатые племянники и племянницы Елизаветы Петровны. Во время последних родов принцесса умирает, бывший же император Иоанн Антонович (как самый опасный претендент на престол) был отделен от семьи и затем переведен в Шлиссельбург. Таким образом, в Холмогорах, под надзором специального коменданта и команды, в конце концов оказывается принц Антон Брауншвейгский с четырьмя детьми от 16 до 21 года; о принцессе Екатерине, той девочке, которую «уронили на лестнице» во время переворота, сообщают, что она как будто глуховата и со странностями. Нездоровится и мальчикам...

В течение двадцати лет елизаветинского царствования переписка по поводу «известных персон» (изученная Стасовым и другими исследователями) сравнительно невелика. Дети Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны вырастают, не зная мира, за оградой своей тюрьмы: летом гуляют по высоко огороженному саду, а зимой (согласно рапорту коменданта) «за великими снегами и пройти никому нельзя, да и нужды нет». Все слуги, нанятые для принцев, навсегда заперты в доме и никогда не выйдут за ограду «под опасением жесточайшего истязания».

Заключенным, правда, выдается «приличное довольствие» (все же царская фамилия!) — по шесть тысяч рублей в год, шелковые и шерстяные ткани, венгерское вино, гданская водка (за недостатком которой комендант порою доставляет Антону-Ульриху «поддельную водку из простого вина»).

С 1746 года принцы, по словам Стасова, «попадают в руки пьяного, вороватого, беспутного и жестокого капитана Вындомского...». Назвав это имя, мы угадываем один канал, по которому рассказы, слухи и предания тех лет могли просачиваться к Пушкину: сыном Вындомского был просвещенный литератор, ученик Новикова и знакомый Радищева Александр Максимович Вындомский (о других его интересах, впрочем, говорит напечатанная двумя изданиями «Записка, каким образом делать французскую водку»). Юный сержант Александр Вындомский в июле 1759 года во главе команды из 18-ти человек прибыл на подмогу к отцу и видел «холмогорских узников». Он сам не успел побеседовать с Пушкиным, так как умер в 1813 году, но многое могла рассказать дочь этого литера-

тора и внучка холмогорского коменданта Прасковья Александровна Вындомская (по первому мужу Осипова, по второму Вульф) — тригорская соседка и добрый друг поэта...

Однако вернемся в 1740-е годы.

Царица Елизавета Петровна и ее окружение больше всего беспокоятся насчет возможных заговоров в пользу «семейства», а также — любых слухов о принцах. Когда Анна Леопольдовна умирает, то из Петербурга требуют, чтобы принц Антон сделал собственноручное описание этой смерти: таким образом в руках правительства оказался политический документ, который можно предъявить Европе в случае появления любой «Лжеанны Леопольдовны». Любопытно, что Антону предписывается в том письме не сообщать о рождении сына Алексея, отнявшего жизнь у матери: лишние сведения о новых возможных претендентах на престол царице не нужны. Когда Иоанна VI отделили от родственников и перевезли в Шлиссельбург, это никак не отразилось на секретной переписке об «известных персонах», как будто принц оставался в Холмогорах. Так старались обмануть заговорщиков. Малейшее подозрение насчет офицеров охраны сразу ведет к замене: молодой подпоручик Писарев, в пьяном виде грозившийся передвинуть Вындомскому «рот на затылок», тут же переведен в Тобольск... Однажды принц Антон просит у императрицы, чтобы его детей учили читать и писать, ибо «дети растут и ничего не знают о боге и слове божьем». Ответа не последовало; из дальнейшей переписки видно, что отец не умел или не желал систематически обучать пятерых (потом — четырех) детей, и они не знали иностранных языков, а говорили только по-русски с северным выговором.

Итак, имевшая на престол не меньше прав, чем брауншвейгские родственники, дочь Петра все же опасается заточенных принцев и принцесс: страшная логика борьбы за власть...

Вот сколь многообразные последствия для разных действующих лиц нашего рассказа имел короткий осеннезимний день и длинная ночь 25 ноября 1741 года.

25 ноября 1741 года осталось в памяти одних днем надежды на будущую науку и просвещение, в биографии других — днем прощения, возвращения к добрым старым

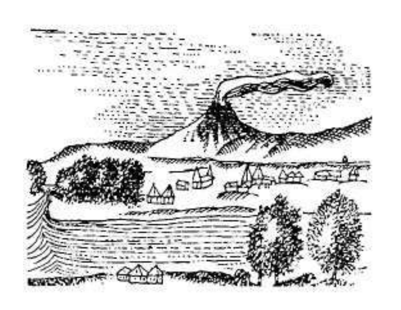
временам; в судьбе третьих — роковым рубежом в борьбе за престол, началом темницы, ссылки, забвения...

Впереди были огорчения — для тех, кто слишком тем днем доволен, и надежды — для тех, кто в отчаянии...

«1742 год. Января 6-го река Ангара покрылась льдом, а 17 марта вскрылась. В апреле получен указ о возвращении детей казненного Бироном министра Волынского, которые вскоре и отправлены в Россию.

Прибыли в Иркутск освобожденные из ссылки: из Охотска — бывший генерал Антон Девиер и князь Алексей Барятинский, из Камчатки в ноябре — князья Николай, Алексей и Александр Долгорукие. Они в следующем году уехали в Россию. Все эти лица были жертвою известного Бирона. Императрица Елисавета Петровна при вступлении своем на престол ознаменовала начало своего царствования разными милостями и многим невинным — сосланным в различные места Сибири — даровала свободу» (Иркутская летопись).

Собирается в западную сторону и Степан Крашенинников с супругой Степанидой Ивановной. А навстречу им — на восток, на Камчатку — мчится штабс-курьер Шахтуров, с тем чтобы доставить к торжественной коронации Елизаветы Петровны (то есть через полтора года) шесть пригожих, благородных камчатских девиц (если правление женское — весь прекрасный пол империи должен быть представлен в Москве!). Познания царицы о размерах собственной империи были приблизительными: только через шесть лет (и на 4 года позже коронации) царицын посланец с отобранными девицами достиг на обратном пути Иркутска, причем все девицы за это время родили, а для продолжения пути требовались повышенные средства; дальнейшая судьба этого «каравана» неведома...





«Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось. Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов иттить на смерть. Но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя — но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали, но все до единого виноваты — достойны казни, помилуй меня хоть для брата; повинную тебе принес и разыскивать нечего — прости или прикажи скорее окончить, свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек!»

Письмо это, написанное 6 июля 1762 года, не просто секретный — сверхсекретный государственный документ! Императрице Екатерине II сообщают об убийстве ее мужа, Петра III. Записку эту, кажется, видели в подлиннике (не считая ее автора) только три человека, в том числе два царя. Второй — самолично кинул записку в огонь... И все-таки эти страшные строки не исчезли: мы знаем

не только их текст, но и то, что они были писаны на листе бумаги «сером и нечистом», знаем, кто писал, хотя подписи не было; знаем, когда писал. Рукописи действительно не горят...

Но пора все рассказать по порядку.

Елизавета Петровна процарствовала 20 лет и один месяц. За это время был создан Московский университет и запрещено крестьянам жаловаться на помещиков. Отменена смертная казнь, и вырван язык у прелестной княгини Лопухиной, будто бы позволившей себе дерзость против власти.

В эти годы поощрялась торговля, промышленность, но потрачены миллионы на придворные увеселения (15 000 роскошных платьев императрицы — только одна из «статей расхода»).

В елизаветинские годы написал и подготовил к печати свою замечательную Камчатскую книгу Степан Петрович Крашенинников — но месяца не дожил, чтоб ее увидеть, скончался на 43-м году жизни. Семья крупнейшего ученого осталась в такой бедности, что драматург Александр Сумароков даже написал о том в одной из пьес «Бесчестной... приехал, так ему стул, да еще в хорошеньком доме: все ли в добром здоровье? какова твоя хозяюшка? детки? что так запал? ни к нам не жалуешь, ни к себе не зовешь? А честнова-то человека детки пришли милостыни просить, которых отец ездил до Китайчетова царства и был в Камчатном государстве, и об этом государстве написал повесть; однако сказку-то его читают, а детки-то его ходят по миру...»

Итак, елизаветинское царствование — его воспевали Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков и другие поэты.

Но о том времени размышлял и записывал также один совсем не льстивый молодой офицер.

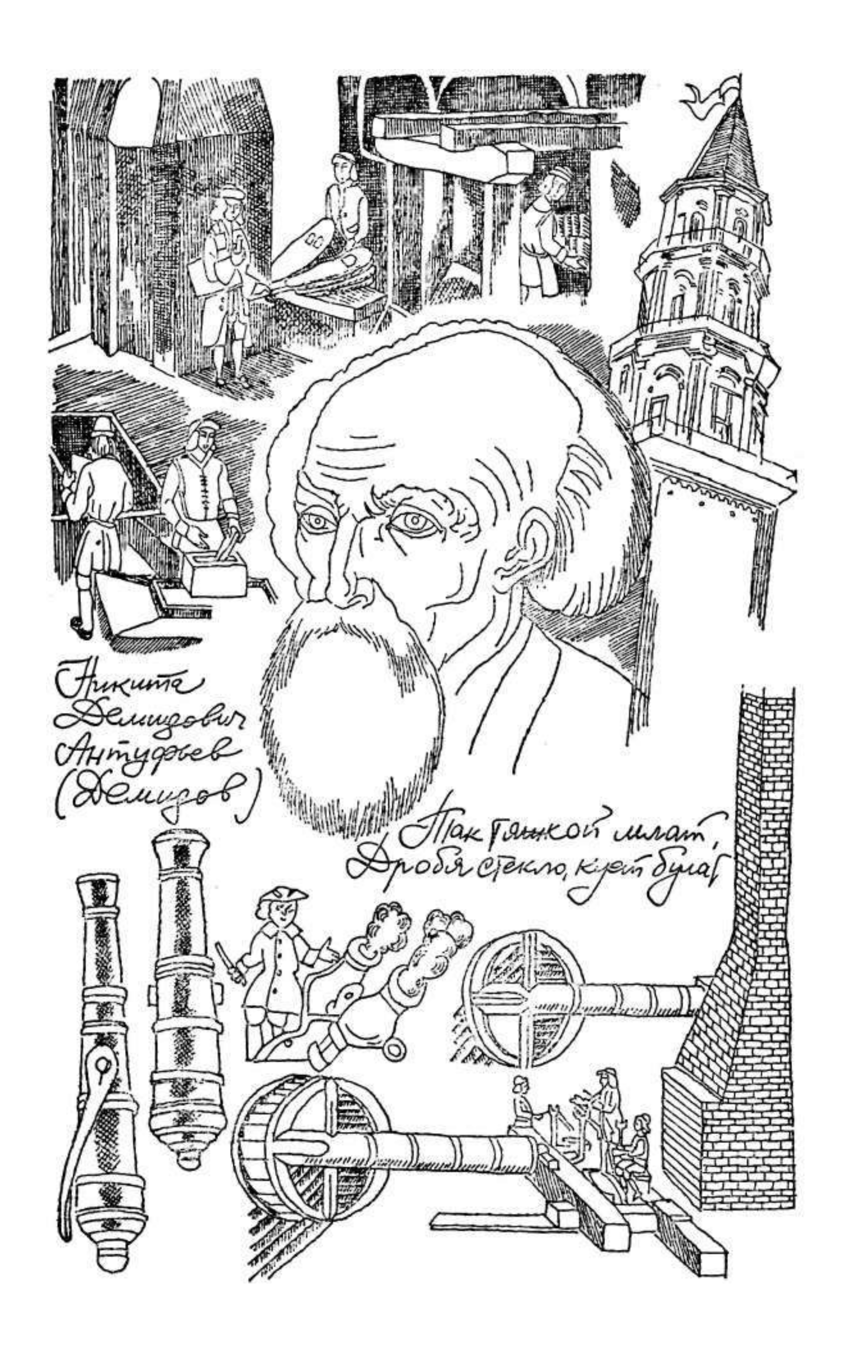
Поскольку ему суждено действовать в нескольких главах нашего повествования, познакомимся с ним сейчас. (Мы как будто отвлеклись от зловещей записки 6 июля 1762 года, но на самом деле это не так!)

За двором и царицей наблюдает юный князь, офицер Семеновского полка Михаил Михайлович Щербатов. Отец молодого князя умер, когда сыну едва исполнилось пять лет. Огромную надпись на его надгробном памятнике в селе Михайловском (близ Ярославля) прочесть нелегко — она

на языке старинном, но все же попытаемся понять: «1738 года сентября 26 дня погребен здесь генерал-маэор и Архангельгородской губернии губернатор князь Михаил Юрьевич Щербатов, который родился во 186 году ноября 8 дня, и по возрасте его 14 лет, в 200 году, взят в комнаты блаженные и вечно достойные памяти Его императорского величества Петра Первого, а в 201 году пожалован в порутчики в лейб-гвардии Семеновский полк и был на Воронежских, Азовских походах и под Керчью, а в 1700 году пожалован в оном же полке капитаном и служил оба Нарвские походы под Шлиссенбургом и под Лесным на Левенгубской баталии, и под Гроднею, также и на турецкой акции под Прутом. 1705 майя 5 числа пожалован от инфантерии полковником. И потом был на многих баталиях, а в 1729 году пожалован от Его императорского величества Петра II бригадиром и находился при полках. 1731 года апреля 28 числа пожалован при коронации Ее императорского величества Анны Иоанновны, за отличие службы, в генерал-маэоры, потом определен в Москве в обер-коменданты, а в 1732 году июля 26 числа по всемилостивейшему Ее императорского величества именному указу послан в город Архангельск в губернаторы, и находился там при делах Ее императорского величества 6 лет, и во шестое лето преставился в городе же Архангельске сего 1738 года июля 22 числа в 7 часов пополудни 52 минуте, на память святой равноапостольской Марии Магдалины, а тезоименитство его ноября 8 дня. В Нарвских походах ранен с города камнем в грудь, под Шлиссенбургом ранен в правую руку, под Лесным на Левенгубской баталии ранен, обе ноги пробиты навылет. Под Гроднею ранен в правую ногу, на турецкой акции под Прутом ранен в поясницу. Под Выборгом ранен в голову».

Не надгробие, а целая биография, да что там биография — это боевая реляция, летопись, история! Годы сначала идут по старому летосчислению, от «сотворения мира»: 186-й — это 7186 (или, по-нашему, 1678-й), а 200-й, 201-й — это 7200, 7201 (или 1692-й, 1693-й) [1]; затем — с 1700-го, как приказал царь Петр, идет только

[1] Разница между современной системой летосчисления, в которой за начальный момент отсчета годов взято так называемое «рождество Христово», т. е. 1 г. н. э., и старым летосчислением — от «сотворения мира» — равна 5508 годам.


Никита
Демидович
Антуфьев
(Демидов)
Так тяжкой млат,
Дробя стекло, кует булат

новый счет... И сколько же битв, походов, царствований!

И шесть ранений; а дата смерти указана с точностью до минуты: как увидим — это щербатовская фамильная, историческая точность...

Среди «птенцов гнезда Петрова» преобладали дворяне «худые», часто сомнительные, только что выведенные царем из простонародного состояния. Однако Михаил Юрьевич Щербатов, хоть и ведущий свой род от легендарного князя Рюрика, с 14-летнего возраста — верный слуга царя-реформатора; и его отец, дед нашего героя, князь Юрий Федорович, сражается, строит вместе с Петром, — и вот уж как будто нам ясен исторический облик семейства: отказ от аристократической спеси, беспрекословная служба престолу...

Но Щербатовы причудливы, скорым характеристикам поддаются худо, все время норовят складный образ оспорить.

Дед Юрий Федорович, слуга царев, вдруг постригается в монастырь, делается иноком Софронием и, вдали от мира замаливая грехи, свои и чужие, проживет 108 лет.

Внук же Михаил Михайлович, родившийся через 8 лет после кончины Петра, но на 10 лет раньше Державина, за 12 лет до Фонвизина, тоже кажется вписанным в свою эпоху, свое поколение: бурные, лихие, фантастические дела отцов и дедов — не для него, *позади*; но просвещение, новая мысль, заря XIX столетия — кажется, тоже не для него, *впереди*?

Сначала — все «как у людей»: рано, по обычаю, записан в Семеновский полк, 23-х лет женится, 29-ти лет уходит в отставку в приличном чине гвардейского капитана, удаляется в имение, растит детей — и вроде бы социально ясен...

Правда, дата его отставки — 29 марта 1762 года, всего через месяц с небольшим после закона о вольности дворянской (18 февраля 1762 года): значит, прошение было подано буквально через несколько дней после знаменитого указа, дававшего дворянину право не служить.

Что за странная торопливость — в расцвете сил, в хорошем чине — уйти, хоть и не в монастырь, вслед за дедом, но — от политики, карьеры, не в пример отцу?

Другим несоответствием М. М. Щербатова своему поколению была большая культура, скорее свойственная просвещенному кругу следующих десятилетий; конечно, имелись замечательные эрудиты-собиратели и прежде — например, знаменитый политический деятель Дмитрий Михайлович Голицын, историк Василий Никитич Татищев (старшее поколение) или одногодок Щербатова поэт Михаил Херасков; но таких людей не много...

Для елизаветинского же времени, да при такой знатности, такой фортуне, как у князя Михайлы Михайловича Щербатова, не совсем обычно иметь тысячи томов на нескольких европейских языках, учиться итальянскому, шведскому, польскому сверх обиходных с детства французского и немецкого; книги же, как видно по их каталогу, богословские, философские, педагогические, юридические, медицинские, хозяйственные, военные, научные; множество географических, еще больше исторических... Притом владелец библиотеки дополняет ее собственными переводами: стихи Торквато Тассо, сочинения Фенелона, руководства по кулинарии, наставления садоводам...

Такая культура, такая отставка.

Но это лишь первая глава щербатовской биографии. Молодой офицер без одобрения присматривается к роскоши, разврату, упадку нравов в царствование дочери Петра. Позже запишет: «Умалчивая, каким образом было учинено возведение ее на всероссийский престол гренадерскою ротою Преображенского полка и многие другие обстоятельствы, приступаю к показанию ее умоначертания. Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра; от природы одарена довольным разумом; но никакого просвещения не имела... с природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания делу... даже и внешние государственныя дела, трактаты, по нескольку месяцев, за леностию ее подписать имя, у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла».

Щербатов чувствовал себя одиноким среди молодых людей, старающихся урвать от власти новые имения,

позолоченные кареты, камзолы, туфли, украшения; прежде, полагает он, люди жили проще, благороднее. Идеализируя времена дедов, князь Щербатов зато уж не дает спуску внукам и внучкам. Он пишет, что «число разных вин уже умножилось и прежде незнаемые шампанское, бургундское и капское стали привозиться и употребляться на столы». В домах вельмож — «невиданная прежде красная мебель, шелковые обои, огромные зеркала. Выезжают в богатых позлащенных каретах с лучшими дорогими лощадьми».

Переходя к модам, Щербатов замечает, что «жены, до того не чувствующие красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одеяниями и более предков своих распростерли роскошь в украшении. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен! Я от верных людей слыхал, что тогда в Москве была одна только уборщица для волосов женских [1], и ежели к какому празднику когда должны были младые женщины убираться, тогда случалось, что она за трое суток некоторых убирала и они принуждены были до дня выезду сидя спать, чтобы убору не испортить!»

Можно сказать, что князь-историк наблюдает свое поколение и одно-два предыдущих везде и во всем на службе и в дороге, в имении и при дворе, молящимся и хмельным... Щербатовские же выводы из этих «частностей» печальны — расходы царей и дворян растут, личная выгода достигается за счет чести и убеждений: «Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестию и самством наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение Государя и прочие злы, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей возгнездились».

Щербатов чувствовал себя одиноким... Как удивился бы он, узнав, что в те же самые годы, когда он служил в гвардии, одна очень важная особа делала почти такие же наблюдения и ее записи, заметки, кажется, не менее горьки.

---

[1] То есть парикмахерша.

София-Августа-Фредерика-Ангальт-Цербтская

Это длинное имя молодая женщина вскоре поменяет на куда более короткое и знаменитое: Екатерина Вторая. Но пока она еще не *вторая*: всего лишь жена наследника, юная немецкая принцесса из весьма крохотного княжества, доставленная в жены единственному племяннику Елизаветы Петровны.

15-летнюю гладко причесанную девочку везут как особую государственную ценность через Германию, Польшу, Прибалтику — в далекую, непонятную северную державу.

В Петербурге Елизавета, а также странный 16-летний ее племянник Петр (тоже недавно доставленный из Германии) наблюдают, «экзаменуют» юную девицу на право стать когда-нибудь российской императрицей.

Она же — изучает, тайно экзаменует их, причем в духе своего немецко-французского воспитания записывает впечатления; правда, после в страхе сжигает, но записывает снова...

Царственные особы, случалось, вели дневники, а иногда писали воспоминания. Они, однако, большей частью бессодержательны и представляют интерес лишь как доказательство ограниченности их авторов (Людовик XVI, Николай II). Впрочем, более интересных, откровенных дневников правящие династии опасались: Мария Федоровна, жена Павла I, завещала своему сыну, царю Николаю I, сжечь десятки тетрадей своих записей. Так же были уничтожены дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I.

Сохранились и воспоминания монархов, предназначавшиеся в назидание потомству. Этот род воспоминаний (первый русский образец — «Поучение Владимира Мономаха») всегда содержит интересные сведения, но недостатком его можно считать чрезмерное желание украсить себя и свои дела в ущерб истине. Таковы мемуары Наполеона, записанные на острове Святой Елены, «История моего времени» прусского короля Фридриха II. Записки будущей Екатерины II выгодно отличаются откровенностью — она, разумеется, не всегда искренна, очень украшает себя: но — не успела (по причине, о которой еще речь пойдет!), не успела сгладить, отлакировать... Цель

ее записок — оправдаться перед потомством — и ведь было, в чем оправдываться! Сразу скажем, что позже Екатерина хранила свои записки рядом с тем самым письмом, с которого началась эта глава: ведь тот «серый, нечистый лист», можно сказать, очень важная потаенная часть воспоминаний *императрицы,* точнее — приложение к ним...

Но пока что мы толкуем о воспоминаниях *принцессы.* Пока что на календаре не 1762, а 1744-й. В архангельских снегах томится свергнутое Брауншвейгское семейство — на невских берегах царица Елизавета приглядывается к принцессе Ангальт-Цербстской. Та живет одиноко в своей комнате, обучаясь русскому языку, играя на клавесине и глотая одну книгу за другой. Старый знакомый, шведский граф и дипломат, находит, что у принцессы философский склад ума.

«Он спросил, как обстоит дело с моей философией при том вихре, в котором я нахожусь; я рассказала ему, что делаю у себя в комнате. Он мне сказал, что пятнадцатилетний философ не может еще себя знать и что я окружена столькими подводными камнями, что есть все основания бояться, как бы я о них не разбилась, если только душа моя не исключительного закала; что надо ее питать самым лучшим чтением, и для этого он рекомендует мне «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, «Жизнь Цицерона» и «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье. Я тотчас же послала за этими книгами, которые с трудом тогда нашли в Петербурге, и сказала, что набросаю ему свой портрет так, как я себя понимаю, дабы он мог видеть, знаю ли я себя или пет. Действительно, я написала сочинение, которое озаглавила «Портрет философа в пятнадцать лет» — и отдала ему. Много лет спустя я снова нашла это сочинение и была удивлена глубиною знания самой себя, какое оно заключало. К несчастью, я его сожгла в том же году, со всеми другими моими бумагами, боясь сохранить у себя в комнате хоть единую. Граф возвратил мне через несколько дней мое сочинение; не знаю, снял ли он с него копию. Он сопроводил его дюжиной страниц рассуждений, сделанных обо мне, посредством которых старался укрепить во мне как возвышенность и твердость духа, так и другие качества сердца и ума. Я читала и перечитывала

его сочинение, я им прониклась и намеревалась серьезно следовать его советам. Я обещала это себе, а раз я себе что обещала, не помню случая, чтоб это не исполнила»

Молодая особа записывает, запоминает: перед нею открывается механизм власти, цепь придворных сплетен, каждая из которых вдруг может стать важным политическим событием — когда из наименования обыкновенного кота Иваном Ивановичем возникает дело об оскорблении фаворита Елизаветы Ивана Ивановича Шувалова; когда фрейлины шепчутся о государственных делах возле задремавшей императрицы и делают вид, что верят ее дремоте, а Елизавета делает вид, что д р е м л е т, — и в этом перекрестном двоедушии фрейлины, получая деньги от заинтересованных лиц, устраивают свадьбы, карьеры, чины.

«После этого спросят м е н я, — писал французский посол К о р б е р о н, — как же управляется эта страна и на чем она держится? Управляется она случаем и держится на естественном равновесии — подобно огромным глыбам, которые сплачивает собственный вес».

Придворная жизнь, какой ее вспоминает Екатерина, подобна причудливой фантазии, где здравое и безумное смешивается в разных сочетаниях, легко переходя одно в другое: однажды, войдя в комнаты своего супруга, будущего Петра III, Екатерина «поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановки казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и подлежит строжайшей казни по военным законам: она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле на одном из бастионов, сделанных из крахмала, и он велел судить преступника по законам военного времени; великий князь добавил, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется, выставленная напоказ публике в течение трех дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось: он придавал всему этому большую важность. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня

за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в защиту крысы, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий».

А вот другая запись: «Во время пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком: его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещая возле Бургава, так что образовалась маленькая придворная больница умалишенных. Я припоминаю, что главным из них был майор гвардии Семеновского полка по фамилии Чаадаев. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал господом богом шаха Надира, иначе Тахмас-Кули-хана, узурпатора Персии и ее тирана. После того как врачи не смогли излечить Чаадаева от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде, но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был. Нашлись, однако, люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем, кроме шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считали его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании одно грязное дело, от которого он отделался этой хитростью; с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию, его обвинили во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила».

В это же время, по приказу Елизаветы Петровны, мать Екатерины была выслана из России, и дочь вынуждена прибегнуть к «нелегальной переписке».

«Около этого времени приехал в Россию кавалер Сакромозо. Уже давно не приезжало в Россию мальтийских кавалеров и вообще тогда было немного иностранцев, посещающих Петербург... Он был нам представлен; целуя мою руку, Сакромозо сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: «Это от вашей матери». Я почти что остолбенела от страха перед тем, что он

только что сделал. Я замирала от боязни, как бы кто-нибудь этого не заметил... Однако я взяла записку и спрятала ее в перчатку; никто ничего не заметил. Вернувшись к себе в комнату, в этой свернутой записке (в которой он говорил мне, что ждет ответа через одного итальянского музыканта, приходившего на концерты великого князя) я, действительно, нашла записку от матери, которая, будучи встревожена моим невольным молчанием, спрашивала об его причине и хотела знать, в каком положении я нахожусь. Я ответила матери и уведомила ее о том, что она хотела знать; я сказала ей, что мне было запрещено писать ей и кому бы то ни было, под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в Коллегии иностранных дел и под которыми я должна была только выставлять свою подпись, и никогда не говорить, о чем надо писать, ибо коллегия знала лучше меня, что следовало в них сказать... Я свернула свою записку, как была свернута та, которую я получила, и выжидала с тревогой и нетерпением ту минуту, чтобы от нее отделаться. На первом концерте, который был у великого князя, я обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д'Ололио, того человека, на которого мне указали. Когда он увидел, что я остановилась за его стулом, он сделал вид, что вынимает из кармана носовой платок и таким образом широко открыл карман; я сунула туда, как ни в чем не бывало, свою записку и отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался».

Пройдет сто лет, и великий писатель, революционер Герцен вот как «перескажет» некоторые страницы из жизни принцессы: «Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой — императрица Елизавета, бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за каждым шагом молодой великой княгини, передавать каждое ее слово, исполненная подозрений и — все это после того, как дала ей в мужья самого нелепого олуха своего времени.

Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет

делать без разрешения. Если она оплакивает смерть своего отца, императрица посылает ей сказать, что довольно плакать, что «ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели». Если она проявляет дружеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слуге — все основания думать, что того выгонят.

Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать».

Добавим, что при этом она каждую минуту может быть изгнана или, того хуже, попасть в «брауншвейгское положение». Герцен замечает и другое: «Светловолосая, резвая невеста малолетнего идиота — великого князя, — она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти. Однажды, когда она сидела вместе с великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, который говорит ей: «Укладывайте ваши вещи — вы возвращаетесь в Германию». Молодой идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. «И для меня это было довольно-таки безразлично, — говорит маленькая немка, — но далеко не безразличной была для меня русская корона», — прибавляет великая княгиня. Вот вам будущая Екатерина 1762 года!

Мечтать о короне в атмосфере императорского дворца, впрочем, было вполне естественно не только для невесты наследника престола, но и для каждого. Конюх Бирон, певчий Разумовский, князь Долгорукий, плебей Меншиков, олигарх Волынский — все стремились урвать себе лоскут императорской мантии...»

Всего полгода...

Елизавета при смерти — кому достанется царство? Официальный, по всей стране объявленный наследник Петр III, конечно, имеет права: племянник царицы, внук Петра I. Но неглупая, хотя и взбалмошная, необразованная Елизавета с каждым днем все больше понимает, что племянник слаб, глуп, играет в солдатиков, вешает крыс, опирается не столько на русское дворянство, сколько на

друзей, собутыльников из немецкого княжества Голштинии: там родился, оттуда приехал в Россию...

Петр III не годится — но кому же престол? Умирающая царица меняет один план за другим: не объявить ли царем семилетнего Павла Петровича, сына Петра III и Екатерины? Но ясно, что кто-то станет регентом, будет править за малолетнего. Кто же?

Мелькнула даже идея — вернуть Ивана VI, который с роковой ночи 25 ноября 1741 года находится под строжайшей охраной, давно отделен от братьев, сестер, отца и помещен в Шлиссельбург. Но тот несчастный принц как будто неизлечимо болен, сознание замутнено, да и опасно возвращать из ссылки Брауншвейгских: начнут мстить, прольется кровь...

Среди проектов была идея возвести на трон умную и энергичную жену наследника, Екатерину II.

В любом случае народа, понятно, никто не спрашивал, и в бешеной схватке за власть он в расчет не принимался.

«Зимний дворец, — продолжал Герцен, — с его административной и военной машиной представлял собой особый мир... Подобно кораблю, держащемуся на поверхности, он вступал в прямые сношения с обитателями океана, лишь поедая их. То было государство для государства. Устроенное на немецкий манер, оно навязало себя народу, как завоеватель. В этой чудовищной казарме, в этой необъятной канцелярии царило напряженное оцепенение, как в военном лагере. Одни отдавали и передавали приказы, другие молча повиновались. В одном лишь месте человеческие страсти то и дело вырывались наружу, трепетные, бурные, и этим местом в Зимнем дворце был семейный очаг — не нации, а государства. За тройной цепью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий — по ту сторону от доносчиков и полиции...»

25 декабря 1761 года окончилось елизаветинское время. Поскольку никакого ясного решения умиравшая объявить не успела, императором, естественно, становится Петр III, а Екатерина императрицей, но пока лишь женою императора.

Всего полгода продлится это царствование. Даже ко-

роноваться внук Петра Великого не успел Он, правда, издал, точнее, подписал важный закон, о котором давно мечтало «благородное сословие» 18 февраля 1762 была объявлена «Вольность дворянская» до того дворянин был обязан служить в армии или на гражданской службе Теперь волен, может служить, может в отставку выйти, когда захочет, в свою деревню удалиться. Может. Многое может: обращаться прямо к царю, ездить когда угодно за границу, владеть крепостными. Зато не может быть бит ни кнутом, ни плетьми (как прежде частенько бы вало)! Слух о Вольности разнесся по стране крестьяне верили, будто за дворянскою обязательно последует крестьянская свобода; и, как печально заметил знаменитый русский историк Ключевский, мужики действительно по лучили вольность, на следующий день после 18 февраля, «дворянского дня»; на следующий день *19 февраля,* да только... через 99 лет: крепостное право будет отменено в стране 19 февраля 1861 года!

В 1762 же году свободу, гражданские права получила небольшая часть — один-два процента населения.

Сразу скажем, что от дворянской вольности заныли спины у мужиков; баре, охотно возвращавшиеся в свои поместья, стали больше требовать и круче карать.

Но все же, впервые в русской истории, закон запрещал пороть хотя бы какую-то часть населения. Прежде, при Иване Грозном, Петре Великом, при Бироне, разумеется, знатные господа били, мучили низших, но очень часто и им «перепадали» кнут, дыба.

«Освобождение дворянства»... Тут настало время сказать, что прямо из старинных, жестоких времен не могли бы явиться люди с тем личным достоинством и честью, что мы привыкли видеть у Пушкина, у декабристов. Для того чтобы появились такие люди, понадобится, по меньшей мере, два «непоротых поколения». Начиная с 1762 года.

Одним из первых поступков «освобожденного» дворянства было, однако, свержение... самого освободи теля, Петра III. Вольность устраивала лихих гвардейцев но такой царь и такой двор никак не устраивали.

Заговор зреет быстро; братья Орловы, Разумовский, Панин и другие влиятельные лица желают видеть на престоле Екатерину; императрица ненавидит и презирает

мужа, мечтает о троне, не скупится на обещания: что немцы-голштинцы будут удалены, что дворянские вольности сохранятся и расширятся, что еще тысячи крепостных душ будут пожалованы. Кое-кому из наиболее несговорчивых дается даже обещание, что царем будет не она, Екатерина, а маленький Павел — правнук Петра Великого...

К 6-му июля

Любой историк знает странное для непосвященного звучащее сочетание букв — ЦГАДА. Это — Центральный государственный архив древних актов, одно из самых крупных рукописных собраний страны. Здесь хранятся многие государственные бумаги старой России...

Однажды автор этих строк, сам не ведая почему, заказал одно дело из царских «секретных пакетов», хотя хорошо понимал, что все или почти все подобные документы были изучены и в разное время опубликованы многими поколениями исследователей. Дело значилось под условным шифром — разряд I, № 25.

Когда документы приносят, я, не удержавшись, подзываю работающего за соседним столом знакомого профессора; тот — еще одного, еще... Произошло небольшое «толковище», явно не предусмотренное строгими архивными правилами. Дело в том, что коллеги, разумеется, знали текст этих документов, но, как и я, никогда их не видели в рукописном подлиннике: зачем тревожить рукописи, если они напечатаны в солидных научных изданиях?

Но, разглядев в тот день «дело № 25», все специалисты признали, что увидеть подлинник и прочесть его в «типографском виде» — вещи очень разные!

В самом деле — вот три записочки Петра III своей супруге; последние дни июня 1762 года, Петербург захвачен сторонниками царицы, положение Петра безнадежное, он пал духом и, собственно говоря, молит о пощаде: возможно, пишет, положив лист бумаги на какой-нибудь барабан, — и подписывает унизительным «votre humble valet» (преданный Вам лакей) вместо «serviteur» (слуга).

«Ее величество может быть уверена, что я не буду ни помышлять, ни делать что-либо против ее особы и ее правления»(по-французски).

По-русски: «Я ещо прошу меня, Ваша вола изполная во всем, отпустить меня в чужеи краи».

Круглый, детский, старательный почерк, малограмотный лепет о пощаде — видеть все это страшно и жалко Ни одна из просьб побежденного уважена не будет Екатерина и ее люди знают з а к о н в л а с т и униженный, раздавленный Петр III, если его отпустить в Европу, чего доброго, вернется с армией, найдет сторонников в России он все же внук Петра Великого, а кто такая Екатерина — мелкая немецкая принцесса, восставшая против за конного супруга!

Нет, Петра не отпустят; но, кажется, можно сохранить жизнь, запереть в Шлиссельбург, рядом с Иваном Антоновичем, или — в Холмогорах, с остальными Б р а у н ш в е й г с к и м и...

Да, Елизавета Петровна 25 ноября 1741 года не стала убивать соперников, но она ведь дочь Петра I, ее права на власть куда больше, чем у Екатерины.

О Шлиссельбурге говорят, говорят. Но пока что сдавшегося Петра запирают в крепко охраняемом доме в Ропше, близ Ораниенбаума. Петр безропотно подписывает отречение от престола, а Сенат, высшие сановники, торжественно провозглашает *императрицу Екатерину II.* Петр ожидает в Ропше, куда кинет судьба в родную ли Голштинию, в Шлиссельбург?

Но в том «секретном досье» Екатерины не только записочки ее мужа: рядом — дикие, странные, развязные строки пьяным, качающимся почерком пишет Алексей Орлов, который, вместе с братом Григорием, душа, мускульная сила переворота; два веселых гиганта, способных уложить кулачным ударом быка, два бешеных кутилы, драчуны, красавцы, кумиры гвардейской молодежи.

О любви, близости принцессы, теперь императрицы Екатерины, и старшего Орлова, Григория, в столице знают все; Гриша расположился во дворце как хозяин — приказывает, назначает, смещает, советует большинство видит в нем первого министра; некоторые даже мужа императрицы (тут заметим, что Екатерина и Орлов в самом деле думали объявить о своем браке, но не реши-

лись: влиятельнейший сановник Никита Панин на вопрос Екатерины, как бы он отнесся к ее свадьбе с Григорием Орловым, отвечал: «Приказание императрицы для нас закон, но кто же станет повиноваться графине Орловой»? Гвардейские «лидеры» намекнули, что не потерпят столь сильного возвышения особы «не царственной» и грозили Грише расправой).

Итак, фаворит Григорий Орлов — во дворце, Алексей же Орлов с князем Барятинским и несколькими другими особо доверенными лицами сторожит в Ропше главного пленника, Петра III.

И вот другая записка: все из того же «дела № 25».

«Матушка милостивая Государыня; здравствовать Вам мы все желаем... Урод наш очень занемог... Как бы сего дня или ночью не умер». Записка, пахнущая убийством. Урод, понятно, Петр III. «Урод как бы не умер»: вроде бы Екатерину подготавливают к новости, официально скорбной, но сколь же вожделенной!

Орлов с компанией угадывает мечту «матушки» — ах, если б кто-нибудь избавил от урода. Скажем больше: матушка могла и намекнуть невзначай.

Предположим еще больше — не написана ли записочка задним числом, чтобы на будущее снять подозрение с царицы?

Это, конечно, гипотеза, предположение, по при взгляде на те листки из «дела № 25» любая жуткая версия покажется вероятной: секретные бумаги отдают зверством, уголовщиной — и обращение Орлова, и, повторяем, пьяный его почерк, и то, что подпись на листке вырвана: это уж постаралась сама матушка, чтобы не было слишком явного следа — уголовщины, убийства...

Где же «философ в 15 лет», умная, дельная девушка, набрасывавшая портрет своей души?

Власть, запахло реальной властью!

Наконец рядом с пятью записочками легла шестая, окончательная, которой в этой папке, в «деле № 25», нет.

И мы точно знаем, с какого дня нет: с 11 ноября 1796 года...

И мы точно знаем, что она была писана на таком же сером, нечистом листе, как и «записочка № 5», и тем же прыгающим, пьяным почерком Алексея Орлова.

И точно знаем, что было написано (вспомним начало

этой главы): «Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось... Свершилась беда, мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали... Помилуй меня хоть для брата».

Так делались дела летними днями и белыми ночами 1762 года. 6 июля главная угроза екатерининскому самовластию уничтожена.

Рассказ о том дне окончен, но обязательно требует «послесловия».

Воцарение Петра III, а затем Екатерины II рождает надежды на освобождение несчастных холмогорских узников (после 20-летней изоляции!). Принц Антон-Ульрих пишет Екатерине II, называя себя «пылью и прахом», и снова, как прежде в письмах Елизавете, ходатайствует, чтобы дети могли «чему-нибудь учиться».

Екатерина II отвечает, и текст ее послания сохранился в черновой рукописи Стасова: «Вашей светлости письмо, мне поданное на сих днях (писала царица Антону), напомянуло ту жалость, которую я всегда о вас и вашей фамилии имела. Я знаю, что бог нас наипаче определил страдание человеческое не токмо облегчить, но и благополучно способствовать, к чему я особливо (не похвалившися перед всем светом) природною мою склонность имею. Но избавление ваше соединено еще с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут. Дайте мне время рассмотреть оные, а между тем я буду стараться облегчить ваше заключение моим об вас попечением и помогать детям вашим, оставшимся на свете, в познании закона божия, от которого им и настоящее их бедствие сноснее будет. Не отчаивайтесь о моей к вам милости, с которой я пребываю».

В руках царицы в это время уже был ответ на недавний секретный запрос: «знают ли молодые принцы, кто они таковы и каким образом о себе рассуждают?» Надежда, что четверо взрослых детей не знают, «кто они» (и стало быть, и мечтать не могут о русском троне), была, конечно, рассеяна отчетом коменданта: «поскольку живут означенные персоны в одних покоях и нет меж ними сеней, только двери, то молодым не знать им о себе, кто

они таковы, невозможно, и все по обычаю называют их принцами и принцессами».

В этих-то политических обстоятельствах приказано ехать в Холмогоры генерал-майору Александру Ильичу Бибикову.

Этой поездкой 70 лет спустя очень заинтересовался неутомимый Пушкин. Вот что записал поэт: «Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне)...»

Любопытнейшая запись! Генерал-майору Александру Ильичу Бибикову в 1762 году было 33 года, но он имел уже немалый жизненный опыт: толковый инженер, артиллерист, деятельный участник Семилетней войны, где отличился в ряде сражений. Заслуженные награды были, однако, задержаны из-за нерасположения сильных сановников, из-за «чувства ревности» со стороны П. А. Румянцева. С восшествием на престол Екатерины II дела Бибикова поправляются. При коронации он получает орден св. Анны и задание чрезвычайной государственной важности — то самое, которое привлекло внимание Пушкина. Но прежде чем пуститься за Бибиковым в Холмогоры, отметим расчетливую хитрость Екатерины II, которая в это время главный надзор за Брауншвейгским семейством поручила Никите Панину, воспитателю маленького наследника Павла. Именно к партии Панина — Павла принадлежал и Бибиков. Не очень доверяя этим людям как сторонникам ее «нелюбезного сына», царица хорошо понимала, что, поскольку они делают ставку на Павла, тем более усердно они будут пресекать любую интригу в пользу других, «брауншвейгских претендентов».

Цель тайных переговоров Бибикова была представлена в секретной инструкции из девяти пунктов, подписанной Екатериной II 10 ноября 1762 года. Смысл бумаги — что Александру Ильичу велено отправиться в Холмогоры и, пробыв там сколько нужно, осмотреть «содержание <принцев>, все нынешнее состояние, то есть: дом, пищу и чем они время провождают, и ежели придумаете к их лучшему житью и безнужному в чем-либо содержанию,

то нам объявить, возвратясь, имеете». Однако главная задача Бибикова заключалась в том, чтобы уговорить принца Антона-Ульриха принять освобождение и уехать одному, «а детей его для тех же государственных резонов, которые он, по благоразумию своему, понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли».

В переводе с «гладкого» языка инструкции это означало, что захватившая престол Екатерина II опасается тех, кто, несомненно, имеет на него больше прав: прямых потомков Ивана V, правнучатых племянников и племянниц Петра Великого (и имена их фамильные — Иван, Петр, Алексей, Екатерина, Елизавета!). Принц Антон не опасен — он имеет не больше прав, чем сама Екатерина II; он не потомок законных царей, а только супруг. Екатерина наставляла Бибикова «особливо примечать «детей нравы и понятия».

Царица, впрочем, серьезно не надеялась, что отец бросит детей, и много лет спустя сын Бибикова вот что напишет в своих воспоминаниях: «Главнейшая цель сделанного Александру Ильичу препоручения состояла в том, чтоб, вошед в доверенность принца и детей его, узнал способности, мнения каждого, о чем при начале еще не утвержденного ее правления нужно было иметь сведения. Откровенность, веселый нрав и ловкое обращение уполномоченного доставили ему в сем совершенный успех. Но все усилия его склонить принца Антона разлучиться с детьми были напрасны, а потому Александр Ильич старался по крайней мере смягчить, даже некоторым образом усладить его состояние. Хотя все сие и действительно предписано в данной ему от человеколюбивой государыни инструкции, но особенная ревность его в исполнении сей статьи была такова, что отправился в обратный путь благословляем и осыпан живейшими знаками уважения и самой приязни от всех принцев и принцесс».

Бибиков пробыл в Холмогорах несколько недель. Сын его сообщал, что, «приехав в столицу, Александр Ильич изъявил к состоянию их искреннее участие: он подал императрице донесение о их добрых свойствах, а особливо

о разуме и дарованиях принцессы Екатерины, достоинства коей описал так, что государыня холодностию приема дала почувствовать Александру Ильичу, что сие его к ним усердие было, по мнению ее, излишнее и ей неприятное. Холодность сию изъявила она столько, что он испросил позволения употребить неблагоприятствующее для него время на исправление домашних его обстоятельств и уехал с семьей своею в небольшую свою вотчину в Рязанской губернии».

Любопытнейший текст, основанный, очевидно, на семейных рассказах. Пушкин же, передавая эти факты Николаю I, дополняет и усиливает: «Бибиков возвратился, влюбленный без памяти в принцессу Екатерину».

Поэт, несомненно, пользовался какими-то устными рассказами или неизвестными нам бумагами. Сенатор Бибиков-младший, знавший, конечно, об отце неизмеримо больше, чем включил в «Записки», скончался еще в 1822 году; Пушкин, однако, имел возможность опросить других потомков екатерининского генерала: Елизавета Михайловна Хитрово, близкий друг поэта, была племянницей А. И. Бибикова (ее мать, Екатерина Ильинична, урожденная Бибикова, была женой полководца М. И. Кутузова). Кроме родственников, сведения и предания о Бибикове могли передать поэту и такие информированные собеседники, как П. А. Вяземский, И. А. Крылов, И. И. Дмитриев и другие.

Теперь возвратимся к пушкинским строкам о генерале, «влюбленном без памяти» в узницу-принцессу. Они насыщены романтикой, драматизмом.

В самом деле, посланец царицы смел, прямодушен, и это его качество Пушкин отметит еще не раз. Бибиков мог бы, конечно, продвинуться по службе, если бы вел себя осторожнее, написал бы в отчете то, чего Екатерина II желала, если бы подыграл ее тайным помыслам. Однако, судя по всему, он слишком горячо вступился за несчастных узников и тем вторгся в запретную политическую область. В. В. Стасов же смело замечает по этому поводу: «Несмотря на все заверения и человеколюбивые фразы, императрица Екатерина II на самом деле нисколько не заботилась и ничуть не помышляла об облегчении участи Брауншвейгского семейства и доставлении ему каких-нибудь других утешений, кроме возмож-

ности носить штофные робронды и пить венгерское вино». Напомним, что это пишется для царского чтения, для Александра II!

На дистанции семидесяти с лишним лет ни Пушкин, ни потомки Бибикова, конечно, уже не различали многих подробностей. Однако предание о чувстве к принцессе сохранилось. Доказательство тому и несомненный факт опалы Бибикова, продлившейся около года. Потом, как отмечалось Пушкиным, императрица «уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила».

Донесение генерала, о котором упоминает его сын, конечно, существовало в письменном виде, но не сохранилось даже среди секретнейших бумаг об «известном семействе». Не значится оно и среди солидного комплекса писем и депеш, полученных царицей в разные годы. Это обстоятельство (отмеченное еще Стасовым) само по себе говорит о стремлении царицы скрыть, уничтожить «ненужный» документ, выдвигающий на передний план другую «привлекательную персону» царских кровей.

Что же была это за персона? Пушкин вслед за книгой о Бибикове и семейными преданиями называет принцессу Екатерину.

Конечно, «любовь зла», и Бибиков мог влюбиться в девушку, о которой всего за полгода до того говорилось (в докладе коменданта от 8 мая 1762 года), что она «сложения больного и почти чахоточного, а притом несколько и глуха, и говорит немо и невнятно, и одержима всегда болезненными припадками, нрава очень тихого». В то же время Бибиков-сын утверждает, что его отец доносил императрице «о разуме и дарованиях» принцессы. Разнообразные же источники постоянно отмечают ум и красоту другой — младшей принцессы, Елисаветы. В только что цитированной записке коменданта от 8 мая 1762 года сообщается, что 19-летняя Елисавета «росту женского немалого и сложения ныне становится плавного, нраву, как разумеется, несколько горячего...». Пять лет спустя, в 1767 году, архангельский губернатор доносит: «Дочери <принца Антона> б*о*льшая, Екатерина, весьма косноязычна и глуха, зачем и ни в какие разговоры не вступает, а притом, как лекарь мне объявил, что и больна гастрическими припадками... а меньшая, Елисавета, как и меньший сын Алексей, наиболее понятли-

вы». Сверх того Стасов цитирует английскую записку о Брауншвейгском семействе (составленную в 1780 году и хранящуюся в Британском музее), где отмечается, что одна из принцесс «очень хороша собою».

Итак, скорее — Елисавета.

Образ прекрасной принцессы превращал XVIII столетие в мир старинной сказки, где юная красавица ждет избавителя, а злобная колдунья тому препятствует...

Мы уверенно предполагаем разнообразнейшие чувства, мысли, ассоциации Пушкина, сопутствующие его трем фразам о холмогорском путешествии Бибикова: здесь и природа власти, и трагедия детей, виновных только в том, что родились в царской семье (как Федор и Ксения Годуновы).

Невозможно, немыслимо представить, чтобы поэт, заметивший, как Бибиков «без памяти влюблен» при выполнении секретнейшей политической акции, не задал вопроса себе и другим: а что же дальше было?

Судьба Бибикова до самой его кончины представлена в «Истории Пугачева» (об этом еще скажем после). Сочувствие Пушкина к этому деятелю, доходящее до идеализации, несомненно. Нам, конечно, нелегко определить, что именно знал поэт из потрясающей «шекспировской» хроники о жизни холмогорских узников после 1762 года, чт*о* он мог слышать, предположить, вообразить.

Но стасовская рукопись 1860-х годов как бы отвечает на вопросы, занимавшие Пушкина тридцатью годами раньше.

После отъезда Бибикова положение «известных персон», в сущности, ухудшается. В предыдущие двадцать лет не было никаких перспектив на улучшение, теперь же Екатерина II подала узникам большие надежды. Меж тем секретность их содержания даже увеличивается. На всякий случай пишутся инструкции, как хоронить «любого умершего из семьи»: пастора не присылать, отпевать ночью, «на молитвах и возгласах в церкви никак их не поминать, как просто именем, не называя принцами». Когда понадобилось переделать печи в холмогорском доме-тюрьме, Петербург строго предписывал, «чтоб печники известных персон не видали».

И вот — 1764 год: попытка офицера Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Анто-

новича. Дело кончается гибелью бывшего императора на 25-м году жизни (а ведь попал в заключение полуторагодовалым).

Мирович казнен. В Холмогорах же, вероятно, очень долго и не знали о гибели сына и брата! Императрица Екатерина II теперь почти успокаивается... Два императора, правившие совсем недолго, Петр III, Иван VI, уничтожены; однако полного спокойствия быть не могло. После 1764 года шансы холмогорских принцев на освобождение сильно уменьшаются; время от времени архангельские власти получают из столицы предупреждения и даже приметы «заговорщиков», якобы направляющихся на север...

Герцен 100 лет спустя переведет депешу французского посла Беранже о воцарении Екатерины II: «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I (Петр III) был свергнут с престола и потом убит; с другой — как внук царя Иоанна (Иван Антонович) увязает в оковах, в то время как Ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!»

Народ же не разбирался в династических тонкостях, но разбирался в собственной жизни — и от «спокойного обдумывания» был готов перейти к беспокойным действиям...





Свадьба

29 сентября 1773 года по случаю бракосочетания девятнадцатилетнего великого князя Павла Петровича (будущего Павла I) императрица Екатерина II жалует графу Никите Ивановичу Панину, воспитателю наследника, «звание первого класса в ранге фельдмаршала, с жалованьем и столовыми деньгами;

4512 душ в Смоленской губернии;

3900 душ в Псковской губернии;

сто тысяч рублей на заведение дома;

серебряный сервиз в 50 тысяч рублей;

25 тысяч рублей ежегодной пенсии, сверх получаемых им 5 тысяч рублей;

ежегодное жалованье по 14 тысяч рублей;

любой дом в Петербурге;

провизии и вина на целый год;

экипаж и ливреи придворные».

Трудно представить, что эти подарки, что эти фантастические ценности — форма *немилости*, желание откупиться, намек на то, чтобы одариваемый не вмешивался не в свои дела.

Присмотримся внимательнее к самому жениху и его воспитателю.

Полтора века в архиве Министерства юстиции лежал секретный, запечатанный пакет, открыв который специалисты нашли нечто совсем непохожее на секретные бумаги о Петре III: это дневник на французском языке, который юный Павел начал вести за 3—4 месяца до свадьбы.

«Вторник, 11 июня 1773 года. Утром: Все эти дни я живо беспокоился, хотя чувствовал и радость, но радость, смешанную с беспокойством и неловкостью при мысли о том, чего мы ожидали. Во мне боролись постоянно, с одной стороны, нерешительность по поводу выбора вообще, и с другой, — мысль о всем хорошем, что мне говорили про всех трех принцесс — в особенности про мою супругу, — и, наконец, волновала меня мысль о необходимости жениться из-за моего положения. У меня не было других мыслей ни днем, ни ночью, и всякая другая мысль мне казалась сухой и скучной. Как я вознагражден за свое беспокойство, гораздо больше, чем я заслужил, оттого, что я имею счастье знать эту божественную и обожаемую женщину, которая доставляет мне счастье и которая есть и будет всю жизнь моей подругой, источником блаженства в настоящем и будущем».

Дело в том, что к Петербургу приближается ландграфиня Гессенская с тремя дочерьми; в принципе женою наследника уже выбрана одна из них, Вильгельмина, но все же возможна «замена», если матери жениха, Екатерине II, вдруг не понравится невеста.

«Среда 12 июля. Мне кажется, что последние дни, до приезда ландграфини, я в серьезных делах, как и в пустяках, действовал только под влиянием их прибытия, и я себе много прощал, говоря себе, что все изменится с приездом их и что мало времени осталось. Я постоянно считал, сколько часов еще придется ждать...

Пятница 14-го. Утром: После обеда мы отправились ко второму лесному домику и там слезли с лошадей. Остервальд, Вадковский, я и Дюфур пошли пешком в одну деревушку искать молока... Мы привезли из деревни молока, хлеба и т. д. Мы было уже взялись за еду, как некоторые из нас заметили, что это, быть может, последняя закуска нашего кружка. Мы все опечалились, так как уже больше десяти лет привыкли быть вместе...

Суббота 15-го: день на всю жизнь памятный — тот день, в который я имел счастье в первый раз лицезреть ту, которая мне заменяет все. Этот день мне достаточно памятен, чтобы ничего не пропустить, даже ни малейших подробностей. Я встал в обычный час, не вышел из своих покоев и сейчас начал одеваться. Меня причесывали, и я думал только об одном, что меня всецело занимало, когда вдруг постучали в дверь. Я велел отпереть. Это была моя мать. Она мне сказала: «что Вы желаете, чтобы я от Вас передала принцессам?» Я ответил, что я полагаюсь даже в этом на нее...

Я спустился к графу Панину, где постепенно начали собираться все наши и те, которые должны были меня провожать. Бесконечные волнения все усиливались по мере того, как время отъезда наступало. Кареты были поданы, и мы заняли нашу...

Проехав Гатчинские ворота, мы заметили, что издали поднялась пыль, и думали, что вот уже императрица; каково же было наше удивление, когда мы увидели телегу с сеном. Через некоторое время пыль снова поднялась, и мы более не сомневались, что это едет императрица с остальными. Когда кареты были уже близко, мы велели остановить свою и вышли. Я сделал несколько шагов по направлению к их остановившейся карете. Из нее начали выходить. Первая вышла императрица, вторая ландграфиня. Императрица представила меня ландграфине следующими словами: «Вот ландграфиня Гессен-Дармштадтская и вот принцессы — ее дочери». При этом она называла каждую по имени. Я отрекомендовался милости ландграфини и не нашел слов для принцесс...

Я удалился тотчас после ужина и первым делом отправился к графу Панину узнать, как я себя вел и доволен ли он мною. Он сказал, что доволен мною, и я был в восторге. Несмотря на свою усталость, я все ходил по моей комнате, насвистывая и вспоминая виденное и слышанное. В этот момент мой выбор почти уже остановился на принцессе Вильгельмине, которая мне больше всех нравилась, и всю ночь я ее видел во сне. Вот конец этого для нас достопримечательного дня...»

Автор дневника — робкий, чистый, сентиментальный молодой человек, как будто совсем не похожий на того

будущего императора Павла I, которым он станет через 23 года...

Матушка, Екатерина II, царствует уже 11 лет, и ей смешны распространившиеся в народе и даже во дворце слухи, будто после женитьбы наследника она передаст ему царство; разумеется, у Павла, правнука Петра Великого, прав на престол неизмеримо больше, чем у нее, но Петр III и Иван VI были сметены с пути вовсе не для благородного материнского самопожертвования!

И тем более опасен, подозрителен граф Панин, которого наследник столь чтит и уважает...

Никита Иванович Панин, дважды «мимолетно» появлявшийся в нашем повествовании, теперь вступает в него важно и основательно.

Покойный Петр III ненавидел и не без основания боялся Панина, но за три месяца до своей гибели пожаловал ему чин действительного тайного советника, а еще через месяц — высший орден, святого Андрея Первозванного: чем больше Панина не любят, тем больше награждают...

Через несколько недель после возведения Екатерины II на престол он поднес ей давно продуманный проект, где довольно живыми красками были изображены «временщики, куртизаны и ласкатели», сделавшие из государства «гнездо своим прихотям», где «каждый по произволу и по кредиту интриг хватал и присваивал себе государственные дела» и где «лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство, распутство в имениях и в сердцах».

Исправить положение, по мнению воспитателя наследника, можно ограничением самодержавия, контролем за императорской властью со стороны особого органа — императорского совета из 6—8 человек, а также Сената.

К концу августа 1762 года, казалось, вот-вот могла бы осуществиться реформа государственного управления: сохранилась рукопись манифеста, где только что возвращенный из ссылки канцлер А. П. Бестужев именуется «первым членом вновь учреждаемого при дворе императорского совета». Однако 31 августа в *печатном* тексте манифеста этих строк уже нет.

При дворе многие увидели в панинском совете-сенате ограничение самовластья в пользу немногих аристократов и нашли это невыгодным. О сложной придворной борьбе

за каждую букву первой панинской конституции говорит то обстоятельство, что манифест об императорском совете был подписан царицей лишь через 4 месяца — 28 декабря 1762 года. Но затем бумага была надорвана, то есть не вступила в силу.

Проект Панина похоронили. Лишь через 64 года, 14 ноября 1826 года, недавно осудивший декабристов Николай I обнаружил этот документ среди секретных бумаг, прочитал и велел снова припрятать. В руки историков проект попадет еще через полвека, в 1870-х годах.

Итак, затея Панина — ограничить самодержавие — провалилась; Екатерина его не любит, он явно принадлежит к тем, кто хочет скорее увидеть на престоле юного Павла. Казалось бы, судьба этого государственного человека ясна: его ждет отставка, опала, ссылка. Но нет! Времена переменились... При Анне Иоанновне, Елизавете Петровне каждое неудовольствие монарха, каждая перемена «на верху» были похожи на взрыв, переворот, пахли пыткою и кровью. Однако русское дворянство за эти десятилетия все-таки «надышалось» просвещением; оно хочет б*о*льших гарантий, большего спокойствия. Екатерина II это понимает и действует много тоньше всех своих предшественников. Вот, к примеру, ее обхождение с гордым и независимым князем Михаилом Щербатовым, который (как, вероятно, помнят читатели) сразу же воспользовался законом о вольности дворянской и ушел в отставку через месяц после его объявления...

Возможно, правление Петра III не подходило молодому князю, но воцарение Екатерины II (28 июня все того же 1762 года) нисколько ведь не переменило щербатовских намерений! По разным источникам мы знаем, что ему сильно не понравился тот способ, которым просвещенная царица устранила своего непросвещенного супруга.

Проходит несколько лет, и в 1767 году российские сословия выбирали депутатов в Комиссию по составлению нового уложения. Выглядело это почти конституцией, напоминая старинные земские соборы: императрица приглашает выбранных «от всей земли» в Москву, знакомится с их взглядами, требованиями...

Спустя несколько месяцев депутаты были, правда, отосланы домой, до перестройки политической системы

дело не дошло, но власть извлекла для себя из тех заседаний немалую пользу: лучше поняла расстановку сил в стране, выставила себя с выгодной, просвещенной, «благородной» стороны перед Европой, наконец, пригляделась к отдельным, наиболее способным депутатам.

Среди них одно из первых мест занимал Михаил Щербатов. Пять лет житья в отставке еще более расширили его знания, практические (особенно хозяйственные, экономические) навыки. Ярославские дворяне, выбравшие князя своим депутатом, даже побаивались сильно образованного, смелого, независимого аристократа.

В своих выступлениях на комиссии он отнюдь не подрывал устоев самодержавия и убежденно отстаивал крепостное право: тут он дворянин до мозга костей. Но, защищая права помещика, депутат Щербатов упорно, с цифрами в руках, доказывал, что прибыльнее не разорять, но поощрять хозяйственную деятельность крестьян; говоря же о незыблемости самодержавия, он доказывал, что самодержцу выгоднее сильное, достойное, независимое дворянство.

Екатерина II и сама расширяет права благородного сословия (в будущем даст «Жалованную грамоту» дворянству), но не любит, когда ее торопят, когда ее намерения выглядят как бы не ее намерениями...

В Щербатове она рано угадала человека оппозиции: разумеется, оппозиции дворянской, «родственной», но все же — оппозиции. В числе разных мер, с помощью которых царица управлялась с подобными людьми, была и такая: приблизить, взять на службу, повысить. Прием очень неглупый, особенно в тех случаях, когда осчастливленный был человеком с нравственными принципами и считал, что обязан тем лучше служить и делать дело, чем более у него расхождений с верховной властью.

Вокруг Екатерины II собрался круг довольно ярких, талантливых деятелей, из которых часть (такие, как Орлов, Потемкин) была ей безусловно предана, другие же являлись как бы заложниками собственных принципов... Первые — достаточно циничные, безнравственные, склонные к произволу и приобретательству. Вторые — в основном служившие идейно... Екатерина приглашает Щербатова на службу — он соглашается: оттого, что надеется


Гаврила
Романович
Державин
Николай Иванович
Новиков
Я вдруг переношусь
во дни Екатерины.
Книгохранилище,
кумиры
и картины,
И стройные
сады...
Денис
Иванович
Фонвизин
Екатерина
Романовна
Дашкова
Федор
Григорьевич
Волков
Александр
Петрович
Сумароков

принести общественную пользу и все же питает известные иллюзии насчет просвещенного курса императрицы...

Девять лет Щербатов служит в Петербурге — и быстро выделяется: с 1768 года в Комиссии по коммерции — при дворе оценили его экономические и финансовые знания; в 1771 году — герольдмейстер: здесь учитывались исторические познания, в частности насчет старинных фамилий, гербов и проч.; с лета 1775 года — ведет «журнал делам по Военному совету», то есть заведует секретным делопроизводством по военным делам; с января 1778 года — тайный советник (очень высокий гражданский «генеральский» чин!). Тогда же он назначается президентом Камер-коллегии — должность, примерно соответствующая будущему министру финансов (в собрании щербатовских бумаг, переданных в Эрмитажную библиотеку, а ныне находящихся в Отделе рукописей Ленинградской публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, имеется 29 переплетенных томов экономических дел — налоги, питейные сборы, ревизии и т. п.).

Высокие, министерские должности...

Одновременно, с 1770 года, начинает выходить том за томом его «История российская от древнейших времен», начатая еще в годы отставки (всего будет напечатано 18 книг); князь получает звание историографа, почетного члена Академии наук — ему открыт доступ к бумагам Петра I, в том числе даже к таким секретным, как о царевиче Алексее, об отношениях Петра и Екатерины I, о петровских буйных шутках над церковью — «всепьянейшем и всешутейшем соборе». Разбирать петровские бумаги так трудно, что Щербатов жалуется историку Миллеру: «Вот что мне приходится выносить для того, чтобы собрать историю моей родины; я не знаю, выдержит ли мое здоровье все те труды, которыми я обременен; но я убежден, что изучение истории своей страны необходимо для тех, кто правит, — и те, кто освещают ее, приносят истинную пользу государству. Как бы то ни было, даже если я не буду вознагражден за мои мучения, — надеюсь, что потомство отдаст мне справедливость». Итак, высокое положение, интересное дело!.. Но нечто горькое проскальзывает уже и в только что приведенных строках: Щербатов будто воюет с неким неведомым противником, который оспаривает его труд, его мысли...

Многотомная история его — одна из первых в России — успеха не имеет: хотя впервые вводятся в оборот богатейшие материалы, но — язык нелегок, грамотное общество не так еще готово к серьезному историческому чтению, как это будет 30—40 лет спустя — после Отечественной войны, в карамзинско-пушкинский век...

«История» расходится слабо, а Екатерина II, как полагали, втайне тому радуется. Она охотно пользуется знаниями, трудом своего «министра финансов», историографа, но — не любит его, чувствует оппозицию даже под маской самого изысканного политеса. Разумеется, тайный советник употребляет обычные льстивые обороты: обращается к «монархине, соединяющей качество великого государя с качествами человеколюбивого философа»; говорит о своем усердии «к службе такой государыне, которая только тщится учинить народ свой совершенно счастливым», о желании, не может ли он «великим намерениям Вашего величества споспешествовать».

Однако он слишком высоко стоял, слишком хорошо знал «вельмож и правителей», слишком был умен и культурен, чтобы не видеть того, чего не принято было видеть. Щербатов (мы точно знаем) в это самое время готовил, в форме кратких записей или пока что «в уме», совсем другую картину, другую историю того же царствования.

Таков Щербатов — «нелюбезный любимец» — на государственной службе.

Таков же и Никита Панин. После неудачи с манифестом 1762 года он тоже сохраняет высокие посты: в течение почти 20-ти лет, независимо от формально занимаемых должностей, он, в сущности, был тем, что позже назовут министром иностранных дел.

Панин ждал своего часа, двенадцать лет воспитывая наследника, немало преуспел во влиянии на Павла, но всегда осторожен, постоянно маскируется. При дворе он ленивый, сладострастный и остроумный обжора, который, по словам Екатерины II, «когда-нибудь умрет оттого, что поторопится». На самом же деле Панин не теряет времени, ищет верных единомышленников. В 1769 году он берет на службу и приближает к себе двадцатичетырехлетнего Дениса Фонвизина, уже прославившегося комедией «Бригадир».

Шестьдесят лет спустя в сибирской ссылке декабрист Михаил Александрович Фонвизин, племянник писателя, генерал, герой 1812 года, записал свои интереснейшие воспоминания. Между прочим он ссылался на рассказы своего отца — родного брата автора «Недоросля»: «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 году или в 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие... При графе Панине были доверенными секретарями Д. И. Фонвизин, редактор конституционного акта и Бакунин Петр Васильевич, оба участника в заговоре. Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решился быть предателем. Он открыл любовнику императрицы Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников — стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в камин и сказала: «Я не хочу знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственною жертвою заговора была великая княгиня (Наталья Алексеевна): полагали, что ее отравили или извели другим способом... Из заговорщиков никто не погиб. Екатерина никого из них не преследовала. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом, с пожалованием ему за воспитание цесаревича 5 тысяч душ и остался канцлером... Над прочими заговорщиками учрежден тайный надзор...»

Вот при каких обстоятельствах Никита Панин получил

29 сентября 1773 года тысячи душ, сотни тысяч рублей, «любой дом в Петербурге» и все прочее.

А по рукам вскоре пойдет трагедия молодого Якова Княжнина, где в речи одного действующего лица современники легко находили намек на «одну политическую ситуацию»:

...Погибни, злая мать,
То сердце варварско, душа та, алчна власти,
Котора, веселясь сыновния напасти,
Чтоб в пышности провесть дни века своего,
Приемлет за себя наследие его!

Пропавший заговор

Некоторые исследователи отрицали существование такого заговора в 1773—1774 годах и справедливо находили в этом рассказе несколько ошибок. Однако литературовед профессор Г. П. Макогоненко пришел к выводу, что сообщение М. А. Фонвизина о заговоре со всеми поправками в деталях «имеет огромную ценность. Оно зафиксировало реальный исторический факт участия Д. И. Фонвизина в заговоре против Екатерины...».

Действительно, имеются серьезные доводы в пользу того, что заговор в самом деле был. В 1783—1784 годах Денис Фонвизин сочинил посмертную похвалу своему покровителю — «Жизнь графа Панина», где, между прочим, находились следующие строки (конечно, не попавшие в печать и читанные современниками в рукописях):

«Из девяти тысяч душ, ему пожалованных, подарил он четыре тысячи троим из своих подчиненных, сотрудившихся ему в отправлении дел политических. Один из сих облагодетельствованных им лиц умер при жизни графа Никиты Ивановича, имевшего в нем человека, привязанного к особе его истинным усердием и благодарностью. Другой был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной во всем его доверенности. Третий заплатил ему за все благодеяния всею чернотою души, какая может возмутить

душу людей честных. Снедаем будучи самолюбием, алчущим возвышения, вредил он положению своего благотворителя столько, сколько находил то нужным для выгоды своего положения. Всеобщее душевное к нему презрение есть достойное возмездие столь гнусной неблагодарности».

О ком идет речь? Кто были эти трое? Первым из них был секретарь Панина Я. Я. Убри, вторым — сам Д. И. Фонвизин, а третьим — П. В. Бакунин, именно тот, кто, согласно Михаилу Фонвизину, выдал царице панинский заговор 1773 года. Денис Фонвизин, как видим, прямо намекает на подобный эпизод.

Другое смутное сведение о заговоре связано с авантюрой голштинского дипломата на русской службе Сальдерна: Сальдерн предложил Павлу помощь в свержении Екатерины II, но Павел будто бы отказался; позже наследник признался во всем матери, чем выдал и Панина, уже год осведомленного о том плане, но ничего не сообщавшего императрице.

Очевидно, тогда же Панин и Фонвизин начали работу над каким-то новым документом, который лег бы в основу конституции, ограничивающей власть будущего монарха.

Фонвизин-племянник пишет о дяде: «редактор конституционного акта»; «друг свободы» — назовет его Пушкин. «Рассказывают, — заметит Вяземский, — что (Д. И. Фонвизин) по заказу графа Панина написал одно политическое сочинение для прочтения наследнику. Оно дошло до сведения императрицы, которая осталась им недовольна и сказала однажды, шутя в кругу приближенных своих: «Худо мне жить приходится: уже и господин Фонвизин учит меня царствовать...»

Снова обращаемся к запискам Фонвизина-декабриста: хотя он родился в 1788 году, уже после описываемых событий, но запомнил рассказы старшей родни. Вообще Михаил Фонвизин обладал замечательной памятью. Вспоминая в Сибири о том, что говорилось и делалось в дни его ранней юности, почти полвека назад, он очень точно называет имена и факты, его сведения выдерживают проверку по другим источникам, и поэтому рассказ о тайной конституции 1770-х годов заслуживает самого пристального внимания; вот этот рассказ:

«Граф Никита Иванович Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении Верховного сената которого часть несменяемых членов назначались бы от короны, а большинство состояли бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания сената. Под ним (то есть под Верховным сенатом), в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться в общественных интересах и местных нуждах, представлять об них Сенату и предлагать ему новые законы.

Выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы власть исполнительная, с правом утверждать Сенатом обсужденные и принятые законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фонвизиным под руководством графа Панина. Введение или предисловие к этому акту, сколько припомню, начиналось так: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, добрые государи чувствуют...» За этим следовала политическая картина России и исчисление всех зол, которые она терпит от самодержавия».

К счастью, предисловие Дениса Фонвизина — «Рассуждение о непременных государственных законах» — сохранилось. Это одно из замечательнейших сочинений писателя, давно включенное в его собрание сочинений. Первые строки по памяти племянник-декабрист приводит почти без ошибок. Его интерес к таким темам понятен! Именно поэтому нужно внимательно присмотреться и к воспоминаниям Михаила Фонвизина о самой несохранившейся конституции.

Сопоставим с рассказом М. Фонвизина первый сохранившийся панинский проект 1762 года — и сразу увидим большие отличия, поймем, что декабрист говорит совсем о другом документе. Нескольких важных сюжетов, разбираемых М. Фонвизиным, у Панина просто нет — о том, что часть членов Верховного сената назначается

от короны, а часть избирается дворянством; дворянский сенат, играющий роль парламента, а под ним губернские и уездные дворянские собрания, имеющие право «совещаться в общественных интересах и местных нуждах»; наконец, главное — о постепенном освобождении крестьян и дворовых. Мы не знаем, как и в течение какого срока это мыслилось сделать. Но все же, если верить Фонвизину-декабристу, именно тогда в тайных проектах 1770-х годов были произнесены слова — «освобождение крестьян».

Мечты XVIII столетия, и какие!

Многое бы отдали ученые, чтобы отыскать фонвизинскую конституцию. Мы знаем, что декабрист Иван Пущин перед самым арестом сумел передать друзьям портфель, где рядом с лицейскими стихами Пушкина лежала декабристская конституция, сочиненная Никитой Муравьевым (через 31 год Пущин вернется из Сибири и получит свой портфель обратно). Но мы также помним о множестве ненайденных секретных памятников освободительного движения (таких, например, как вторая часть декабристской «Зеленой книги», где излагались конечные, сокровенные цели заговорщиков). Нам грустно, что из полусотни пушкинских эпиграмм мы читали, может быть, половину, что жительница Томска А. М. Лучшева, почитая память Г. С. Батенькова, завещала положить себе в гроб сохранившиеся в ее доме записки этого декабриста; и мы только мечтаем об архиве герценовского «Колокола», немалая часть которого, возможно, хранится где-то в Западной Европе...

Пока что конституция XVIII века — среди разыскиваемых документов.

Никита Панин не дожил до столь ожидаемого воцарения своего воспитанника. Как установил недавно ленинградский ученый М. М. Сафонов, за два дня до своей кончины Панин опять убеждал наследника Павла дать будущей России конституцию, свободу...

Бумаги таких персон, как Панин, после смерти обычно просматривал специальный секретный чиновник. Однако именно Денис Фонвизин успел припрятать наиболее важные, опасные документы, и они не достались Екатерине. Автор «Недоросля» сохранил по меньшей мере два списка крамольного «Рассуждения»: один у себя, а другой (вме-

сте с несколькими документами) — в семье верного человека, петербургского губернского прокурора Пузыревского.

До воцарения Павла оставалось всего 4 года, когда не стало и Дениса Фонвизина. Он успел распорядиться насчет бумаг, и о дальнейшей их судьбе снова рассказывают воспоминания Фонвизина-декабриста: «Список с конституционного акта хранился у родного брата его редактора, Павла Ивановича Фонвизина. Когда в первую французскую революцию известный масон и содержатель типографии Новиков и московские масонские ложи были подозреваемы в революционных замыслах, генерал-губернатор, князь Прозоровский, преследуя масонов, считал сообщниками или единомышленниками их всех, служивших в то время в Московском университете, а П. И. Фонвизин был тогда его директором. Перед самым прибытием полиции для взятия его бумаг ему удалось истребить конституционный акт, который брат его ему вверил. Но третий брат, Александр Иванович, случившийся в то время у него, успел спасти Введение».

Вот как погибла конституция Фонвизина — Панина, но было спасено замечательное Введение к ней. Судя по рассказу декабриста, видно, что сама конституция была еще опаснее Введения (недаром истребление бумаг началось с нее).

Денис Иванович Фонвизин, как и его «шефы», братья Панины, не дождался своего часа.

Хотя их планы отнюдь не были столь смелыми, как позже у Радищева, декабристов; хотя они собирались ограничить самодержца не столько в пользу народа, сколько в пользу *аристократии*, — но все равно, в XVIII веке это было смело, тайно, крамольно...

«Уже и господин Фонвизин учит меня царствовать...»

Денис Фонвизин прятал конституцию, зато — выпустил в свет «Недоросля».

«Умри, Денис, лучше не напишешь!» — хохотал всемогущий фаворит Потемкин, один из тех, кого Денис презирал, ограничивал, даже истреблял в своих тайных политических проектах...

«Крик *ярости*, — заметит много лет спустя *Герцен*, — притаился за личиной смеха, и вот из поколения в по-

колениe стал раздаваться зловещий и исступленный смех, который силился разорвать всякую связь с этим странным обществом, с этой нелепой средой, насмешники указывали на нее пальцем». Первым настоящим насмешником Герцен назвал именно Фонвизина: «Этот первый смех... далеко отозвался и разбудил фалангу насмешников, и их-то смеху сквозь слезы литература обязана своими крупнейшими успехами и в значительной мере своим влиянием в России».

Потаенная повесть, начавшаяся в свадебный день 29 сентября 1773 года (а по существу, раньше), как видим, растянулась на десятилетия — но где же конец истории?

Наступит день, когда на престоле окажется Павел; когда-то 19-летний принц жил мечтами в мире благородном, прекрасном, сентиментальном... Теперь 42-летний император вовсе не собирается ограничивать собственную власть...

Родственники Фонвизина, видно, не торопились представиться Павлу и в течение всего его царствования благоразумно сохраняли у себя подлинную рукопись Введения к конституции.

Вдова губернского прокурора Пузыревского подносит ему пакет конспиративных сочинений Фонвизина — Паниных вместе с «загробным» письмом к будущему императору (самой конституции у Пузыревской, очевидно, не было). Подробности эпизода нам неизвестны, но после этого Пузыревская получила пенсию, Никите Панину велено было соорудить памятник. И более ничего... «Рассуждение» Фонвизина и сопровождающие его документы были присоединены к секретным бумагам Павла, где лишь 35 лет спустя их обнаружили и представили Николаю I. От него рукопись поступила в Государственный архив с резолюцией: «Хранить, не распечатывая без собственноручного высочайшего повеления». Спустя еще 70 лет именно этот писарский экземпляр «Рассуждения» был открыт и опубликован историком Е. С. Шумигорским... Но это уже XX век.

В Бронницах, подмосковном городке за полсотни километров от столицы, на главной площади у старого

собора, сохранилось несколько могильных памятников. На одном из них имя «генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина», умершего в имении Марьино, Бронницкого уезда, 30 апреля 1854 года. Надгробная надпись делалась с вызовом и, конечно, по заказу вдовы декабриста Натальи Дмитриевны: умерший был лишен чинов, звания, дворянства, наград за 1812-й и никак не мог именоваться генерал-майором, особенно пока еще царствовал Николай I. Однако энергичная владелица Марьина, как видно, сумела добиться своего... Рядом, за тою же оградой, памятник Ивану Александровичу Фонвизину. Брат декабриста и сам декабрист, он отделался двухмесячным заключением и двадцатилетним полицейским надзором; наконец, третий, за церковной оградой, Иван Иванович Пущин, «первый друг, бесценный» Пушкина, дождавшийся амнистии и закончивший дни здесь же, в Марьине (незадолго до кончины Пущин женился на Наталье Дмитриевне, вдове своего старого друга Михаила Фонвизина).

Среди «преступлений» Фонвизиных, Пущина и других декабристов было и оживление старинных бумаг XVIII века, которым приказано молчать, умереть.

В то время как один список «завещания» Фонвизина — Панина покоился в царских бумагах, другой, подлинный, из семьи Фонвизиных вышел наружу и сослужил службу членам тайных обществ. Советские ученые К. В. Пигарев и В. Г. Базанов обнаружили три копии, несколько измененные по сравнению с подлинным текстом XVIII века и приспособленные ко временам пушкинско-рылеевским. На одной из таких копий редактор оставил подпись: В ь е в а р у м, то есть написанная справа налево одна из лучших декабристских фамилий — это «конспирировал» Никита М у р а в ь е в, автор потаенной конституции декабристов.

«Вьеварум» — именно так и назвал автор этой книги свою другую, более раннюю работу, посвященную разным историческим тайнам XIX столетия...

К несчастью, как свидетельствуют современники, «подлинник конституционного «Рассуждения» Дениса Фонвизина украл один букинист... и продал его П. П. Бекетову, который издавал в начале 1830-х годов сочинения Д. И. Фонвизина».

Так эта рукопись и не нашлась с тех пор...

В своих мемуарах, писавшихся в сибирской ссылке, Михаил Фонвизин, конечно, не забыл дядюшку Дениса Ивановича, чьи сочинения задевали к тому времени уже четвертого императора.

Получив разрешение вернуться в Москву, старый, больной декабрист не рискнул взять рукопись с собой, ожидая обысков и проверок, но позаботился о ее судьбе.

Было припрятано несколько списков, а первый подарен оставшемуся в Сибири И. И. Пущину. А затем пришли 1850-е годы, оживление страны перед крестьянской реформой, герценовская печать в Лондоне.

Именно из рук Пущина и его жены двинулись в путь записки Михаила Фонвизина, а от немногих счастливых обладателей — редкостное Введение в конституцию — «Рассуждение» Дениса Фонвизина.

В начале 1861 года в Лондоне появилась на свет вторая книжка «Исторического сборника Вольной русской типографии».

В небольшом томике, целиком посвященном секретной истории, «встретились» разнообразные деятели прошлого: среди 16 материалов там появилось впервые славное «Рассуждение о непременных государственных законах» — Дениса Фонвизина, «друга свободы».

Герцен (как видно из его предисловия к «Историческому сборнику») понимал, от кого пришли почти все запретные тексты. «Не знаю, — можем ли мы, должны ли мы благодарить особ, приславших нам эти материалы, то есть имеем ли мы право на это. Во всяком случае, они должны принять нашу благодарность, как от читателей, за большее и большее обличение канцелярской тайны Зимнего дворца». Введение к утраченной русской конституции XVIII века и скудные сведения о ней самой — все это не только отзвук того, «что быть могло, но стать не возмогло...». Это память об ожесточенной столетней борьбе: переворот 1762 года и первые замыслы Никиты Ивановича Панина; заговор 1773—1774 годов, «Рассуждение» Дениса Фонвизина и секретная сожженная конституция; еще через десятилетия — сибирские мемуары М. А. Фонвизина; публикация «Рассуждения» Герценом.

Как видим, 29 сентября 1773 года потянуло за собою целое столетие!

Но оказывается — это еще не все, что сцеплено с той свадьбой, теми поздравлениями и дарами...

В тот день, на свадьбе сына, вдруг возникает тень отца.





Кровавый пир

В воспоминаниях поэта и государственного деятеля Гаврилы Романовича Державина, написанных, правда, много лет спустя, рисуется картина, напоминающая появление тени отца Гамлета... На свадебном пиру, где Екатерина II поздравляет нелюбимого сына, вдруг появляется, «садится за стол» оживший отец Петр III, свергнутый, задавленный, похороненный 11 лет назад, «votre humble valet» — «преданный Вам лакей...».

Рассказ Державина не совсем точен, страшное известие достигло Петербурга несколько позже. Но дело не в этом... Важно, что именно такой представлялась современникам роковая связь событий.

В эти последние сентябрьские дни 1773 года, за 2000 верст от столицы, по уральским горам, степям, дорогам, крепостям разлетелись листки с неслыханными словами:

«Самодержавнаго амператора, нашего великаго государя, Петра Федаровича Всероссийскаго и прочая, и прочая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужити за свое отечество мне, великаму государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю императорскому величеству Петру Федаравичу, винныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех виных прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын и до устья и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и хлебным правиянтам.

Я, великий государь амператор, жалую вас, Петр Федаравич».

Эти тексты 60 лет спустя прочитает великий ценитель, Александр Сергеевич Пушкин: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации Рейнсдорпа, были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обинякками, с глаголами на конце периодов».

Иначе говоря, губернатор писал «германскими конструкциями» («немец ныряет в начале фразы, в конце же ее выныривает с глаголом в зубах»).

Мужицкий бунт — начало русской прозы...

Предыстория же великого бунта, приключения главного действующего лица, «великого государя амператора», стоят любого самого искусного, захватывающего повествования.

Итак, уходя и возвращаясь в **наш день,** 29 сентября 1773 года, припомним необыкновенную жизнь Емельяна Ивановича Пугачева, а «на полях» той биографии кратко зафиксируем свое размышление и изумление.

На допросе в Тайной экспедиции, 4 ноября 1774 года (то есть за 67 дней до казни), Пугачев рассказал (а писарь за неграмотным записал), что родился он в донской станице Зимовейской «в доме деда своего»: «отец ево, Иван Михайлов, сын Пугачев, был Донского ж войска

Зимовейской станицы казак, от коего он слыхал, что ево отец, а ему, Емельке, дед Михайла ... был Донского ж войска Зимовейской же станицы казак, а прозвище было ему Пугач. Мать ево, Емелькина, была Донского ж войска казака Михайлы дочь... и звали ее Анна Михайловна...».

Емельян был четвертым сыном и родился, как видно, в 1742 году, так как показал себе на допросе 32 года... Тут время поразмыслить.

Выходит, Пугачев не прожил и 33-х лет; если и ошибался в возрасте (счет времени у простых людей был приблизительный, некалендарный), то тогда, по другим сведениям, выходит, что лег на плаху 34-летним. Так и так — немного: мало пожил, но «дел наделал», погулял...

Пушкин, который был ровесником Пугачева, когда о нем писал, — Пушкин, кажется, был из числа немногих, кто заметил молодость, краткость жизни крестьянского вождя: «Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года?»

Настоящий Петр III был, правда, на 14 лет старше своего двойника, но кто же станет разбираться?

Задумаемся о другом. Как же сумел 30-летний неграмотный казак, небогатый, младший в семье, обыкновенной внешности («лицом смугловат, волосы стриженые, борода небольшая, обкладистая, черная; росту среднего...»), как сумел он зажечь пламя на пространстве более 600 тысяч квадратных километров (три Англии или две Италии!), как мог поднять, всколыхнуть, повлиять на жизнь нескольких миллионов человек, «поколебать государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов» (Пушкин)?

В учебниках, научных и художественных сочинениях, разумеется, не раз писалось, что для того имелась почва, что крепостная Россия была подобна пороховому складу, готовому взорваться от искры... Но многим ли дано ту искру высечь? Пушкин знал о пяти самозванцах, действовавших до Пугачева; сейчас известны уже десятки крестьянских «Петров III». Случалось, что удалой солдат, отчаянный мужик или мещанин вдруг объявляли себя **настоящими** императорами, сулили волю, поднимали

сотни или десятки крестьян, но тут же пропадали — в кандалах, под кнутом; Пугачев же, как видно, **слово знал** — был в своем роде одарен, талантлив необыкновенно. Иначе не сумел бы...

Как решился?

Снова перечитываем биографические сведения, с трудом и понемногу добытые в течение полутора веков из секретных допросов, донесений, приговоров екатерининского царствования.

В 14 лет Пугачев теряет отца, делается самостоятельным казаком со своим участком земли; в 17 лет женится на казачьей дочери Софье Недюжевой, затем — призван и около 3 лет участвует во многих сражениях Семилетней войны, где взят полковником в ординарцы «за отличную проворность»...

Рано тогда выходили в люди: и казак, и дворянин в 14—17 лет уже обычно отвечали за себя, хозяйствовали, воевали, заводили семью... Между прочим, многое помогает нам понять в Пугачеве его земляк Григорий Мелехов: хозяйство, женитьба, военная служба в тех же летах; к тому же оба смуглы, сообразительны; посланные «воевать немца» — увидят, поймут, запомнят много больше, чем другие однополчане и одностаничники...

Пугачев цел и невредим возвращается с Семилетней войны — ему нет и 20-ти. Потом пожил дома полтора года, дождался рождения сына, снова призван, на этот раз усмирять беглых раскольников; опять домой, затем — против турок, оставя в Зимовейской уже троих детей...

В турецкой кампании — два года и между прочим участвует в осаде Бендер под верховным началом того самого генерала Панина, который несколько лет спустя будет командовать подавлением пугачевцев, а у пленного их вождя в ярости выдерет клок бороды.

Вернулся «из турок», и все вроде бы у Пугача благополучно, «как у людей»: выжил, получил чин хорунжего...

Царская служба, однако, надоела — захотелось воли, да тут еще «весьма заболел» — «гнили руки и ноги», чуть не помер.

Шел 1771 год. До начала великой крестьянской войны остается два года с небольшим; но будущие участники и завтрашний вождь, конечно, и во сне не могли ничего подобного вообразить...

Если б одолела болезнь Пугачева — как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему «зажигальщик»? А если б сразу не объявился, хотя бы несколькими годами позже, — неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или совсем не началось.

Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака. Тем более что с этого как бы «все и началось»!

1771 год. Пугачев отправляется в Черкасск, просит у начальства отставки, но не получает. Между тем удачно лечится, узнает, что казачьи вольности поприжаты, что «ротмистры и полковники не так с казаками поступают».

Впервые приходит мысль бежать.

Скрылся один раз, недалеко — «шатался по Дону, по степям, две недели»; узнал, что из-за него арестовали мать, — поехал выручать, самого арестовали, второй раз бежал, «лежал в камышах и болотах», а затем вернулся домой. «В доме же ево не сыскивали, потому что не могли старшины думать, чтоб, наделав столько побегов, осмелился жить в доме же своем» (из допроса Пугачева).

Повадка, удаль, талант уже видны хорошо — Пугачев же еще всей цены себе не знает...

1772 год. Предчувствуя, что все же скоро арестуют, прощается с семьей и бежит третий раз, на Терек. Там «старики согласно просили ево, Пугачева, чтобы он взял на себя ходатайство за них»: ему собирают 20 рублей, вручают письма и отправляют в Петербург, просить об увеличении провианта и жалования.

Как быстро, выйдя из тех мест, где его размах не очень ценят (может быть, потому, что давно знают и мальчонкой, и юнцом), — как быстро он выходит в лидеры! Еще понятно, если бы знал грамоту, — но нет, ему дают письма, которые он и прочесть-не умеет...

Чем же брал? Как видно, умом, быстротою и, конечно, **разговором:** Пушкин заметил, что Пугачев частенько го-


В Народе бунт!
Повсюду шум и клики

ворил загадками, притчами. Уже плененный и скованный, вот как отвечает на вопросы:

«Кто ты таков?» — спросил <Панин> у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. «Как же смел ты, вор, назваться государем?» — продолжал Панин. «Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно); я вороненок, а ворон-то еще летает».

Сцена очень характерная: из слова «вор» Пугачев иронически извлекает «в*о*рона», складывает загадку-притчу, одновременно понятную и таинственную, сильно действующую на психологию простого казака, крестьянина, заводского рабочего. Пушкин точно знал, что притча о вороне «поразила народ, столпившийся у двора...».

Талант, повторим мы, и это свойство Пугача через толщу лет, сквозь туман предания и забвения, первым тонко чувствует Пушкин.

Осаждая крепость, где комендантом был отец будущего баснописца Крылова, Пугачев, в случае успеха, конечно, расправился бы с семьей этого офицера — и не было бы басен «дедушки Крылова», а пугачевские отряды, заходившие в пушкинское Болдино, конечно, готовы были истребить и любого Пушкина... Но при том — разве Пугачев в «Капитанской дочке» не вызывает симпатии, сочувствия? (Марина Цветаева находила, что «как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться, так от Пугачева «Пугачевского бунта» нельзя не отвратиться».)

Разве Пушкин, хоть и шутил, не сохранил той симпатии, надписывая экземпляр своего «Пугачева» другому поэту, знаменитому герою-партизану Денису Давыдову:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Пушкин в начале 1830-х годов обратился к пугачевским делам, прежде всего чтобы понять дух и стремление простого народа, чтобы увидеть «крестьянский бунт»; но к тому же поэта, очевидно, притягивали лихость, безум-

ная отвага, талантливость Пугачева, в чем-то родственные пушкинскому духу и дару... Мы, однако, далековато отвлеклись от наших 1770-х...

Февраль 1772-го. Власти перехватывают Пугачева в начале пути с Терека в Петербург, и царица Екатерина лишилась шанса принять казацкое прошение от своего (в скором времени) «беглого супруга, амператора Петра Федаровича»...

Второй арест, и тут же четвертый побег: Пугачев сговорился с караульным солдатом — *слово знал...*

Он является в родную станицу, но близкие доносят; и вот уж следует третий арест, а там и пятый побег: опять — сагитировал казачков!

Затем, до конца 1772 года, странствия: под Белгород, по Украине, в Польшу, снова на Дон, через Волгу, на Урал.

В раскольничьих скитах Пугачев представляется старообрядцем, страдающим за веру; возвращаясь из Польши, удачно прикидывается впервые пришедшим в Россию; старого казака убеждает, что он «заграничной торговой (человек), и жил двенадцать лет в Царьграде, и там построил русский монастырь, и много русских выкупал из-под турецкого ига и на Русь отпускал. На границе у меня много оставлено товару запечатанного».

Скитания, тип российского скитальца, которым столь интересовались лучшие писатели, скитальца-интеллигента, бродяги-мужика... Пушкин позже писал о российской истории, полной «кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов».

В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и, сверх того, артистический дар, склонность к игре, авантюре.

Пугачев играл великую отчаянную трагическую игру, где ставка была простая: жизнь...

Перед 1773-м

Приближается год, где в конце сентября начинался наш рассказ. Пугачев по-прежнему еще и знать не знает о главной своей роли, которую начнет играть очень и

очень скоро. Не знает, но, возможно, уже предчувствует: в Заволжье и на Урале многое узнает о восстаниях крестьян и яицких казаков, о тени Петра III, являющейся то в одном, то в другом самозваном образе.

Все это (мы можем только гадать о деталях) как-то молниеносно сходится в уме отчаянного, свободного казака.

И тут опять нельзя удержаться от комментариев.

Свобода! То, о чем мечтали миллионы крепостных... Казаки, однако, имеют ее несравненно больше, чем мужики, которые могут лишь мечтать о донских или яицких вольностях и постоянно реализуют мечту уходом, побегом на край империи, в казаки.

Но взглянем на карты главных крестьянских движений, народных войн XVII—XVIII столетий.

Восстание Болотникова начинается на юго-западной окраине, среди казаков и беглых; Разин и Булавин — на Дону; Пугачев сам с Дона, но поднимает недовольных на Яике, Урале, — юго-восточной казачьей окраине.

Таким образом, все главные народные войны зажигаются не в самых задавленных, угнетенных краях, таких, скажем, как Черноземный центр, среднее Поволжье, нет! Они возникают в зонах относительно свободных, и уж потом, с казачьих мест, пожар переносится в мужицкие, закрепощенные губернии.

Оказывается, для того, чтобы восстать, чтобы начать, уже нужна известная свобода, которой не хватает подавленному помещичьему рабу...

Итак, на пороге 1773 года Емельян Пугачев на Южном Урале, где хочет возглавить большой уход яицких казаков за Кубань, в турецкую сторону...

И снова, как не задуматься о путях исторических? Может быть, многое повернулось бы иначе, если бы Пугачев успел и во главе недовольных ушел на юг и запад.

Однако, когда изучаешь события задним числом, два века спустя, иногда представляется, будто какая-то таинственная, неведомая сила *поправляла* казака, готового «сбиться с пути», и посылала его туда, где он сотворит нечто самое страшное и фантастическое.

Близ рождества 1773 года следует четвертый арест (опять донес один из своих!). На этот раз дело пахнет

кнутом и Сибирью. Однако арестанта снова выручает блестящий артистизм, мастерское умение овладевать душами. В Казани (тюрьма и цепи) Пугачев успевает внушить уважение и любовь другим арестантам, влиятельным старообрядцам, купцам, наконец, солдатам. К тому же слух об арестованной «важной персоне» создавал атмосферу тайны и возможных будущих откровений. Любопытно, что это ощущают тысячи жителей Казани и округи, но совершенно не замечает казанский губернатор Брандт; он не понимает, сколь эффектно может выглядеть в глазах затаившихся подданных некий арестант «весьма подлого состояния». Более того, губернатор уверен, что идеи Пугачева (увести уральских казаков и прочее) — «больше презрения, нежели уважения достойны».

И вот шестой побег, опять узник и охранник вместе: **29 мая 1773** года. Ровно за 4 месяца до петербургской свадьбы.

Летом 1773 года Пугачев исчезает — появляется Петр III.

Отчего же выбран именно этот слабый, по-видимому, ничтожный царь, не просидевший на троне и полугода?

А вот именно потому, что Петр III не успел «примелькаться», остался как бы абстрактной, алгебраической величиной, которой можно при желании дать любое конкретное значение.

За последние годы в работах К. В. Чистова, Р. В. Овчинникова, Н. Н. Покровского, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и ряде других народное «царистское» сознание было тщательно изучено.

Царь, по исторически сложившимся народным понятиям, «всегда прав и благ»; если же он не прав и не благ, значит — не настоящий, подмененный, самозваный; настоящему же, значит, самое время появиться в гуще народа — в виде царевича Дмитрия, Петра III, царя Константина... Петр III, всем известно, дал вольность дворянству в 1762, потом его свергли, говорят, будто убили: разве непонятно, что свергли за то, что после вольности дворянской приготовил вольность крестьянскую, — но министры и неверная жена все скрыли, «хорошего царя», конечно, не хотели, и тот скрылся, а вот теперь объявился на Урале.

Сентябрь

В ночь на 15 сентября, в 100 верстах от Яицкого городка, Пугачев входит в казачий круг из 60 человек и говорит: «Я точно государь... Я знаю, что вы все обижены и лишают вас всей вашей привилегии и всю вашу вольность истребляют, а напротив того, бог вручает мне царство по-прежнему, то я намерен вашу вольность восстановить и дать вам благоденствие».

Тут же, в подкрепление этих слов, грамотный казак Почиталин громко читает тот «именной указ», который был приведен в начале нашего повествования.

«Таперь, детушки, — объявляет **царь,** — поезжайте по домам и разошлите от себя по форпостам и объявите, што вы давеча слышали, как читали, да и што я здесь... а завтра рано, севши на коня, приезжайте все сюда ко мне».

«Слышим, батюшка, и все исполним и пошлем как к казакам, так и к калмыкам», — отвечали казаки.

Вот как выглядело начало дела по записи следователей. И как все просто: «Я точно государь... Слышим, батюшка, и все исполним».

А на самом деле какое напряжение между двумя половинами фразы: сказал — поверили!

Что же, сразу, не сомневаясь, увидели в Пугачеве Петра III? И после — не усомнились?

Вопрос непростой: если б не поверили, разве бы пошли на смерть?

Но неужели смышленым казакам не видно было за версту, что это — свой брат, такой же, как они, пусть — умнее, речистее, быстрее?.. И разве мог Пугачев долго скрывать от всех приближенных, например, свою неграмотность?

Царям, правда, не положено самим читать и писать: для того и слуги; но все же нужно уметь хоть подписаться под указом.

Пугачев, мы знаем, однажды все-таки начертал грамотку своей рукой: первые пришедшие в голову черточки и загогулины. Для большинства его окружавших вроде бы достаточно, но пугачевские министры, «военная коллегия», созданная при *государе,* — Хлопуша, Белобородов, Зарубин, Почиталин, Шигаев, Перфильев, — будто уж они так и верили, что служат Петру III? И разве не знали,

что по городам и весям царские гонцы объявили: государевым именем называет себя «вор и разбойник Емелька Пугачев»?

В сложных случаях полезно посоветоваться с Пушкиным.

В «Капитанской дочке» мы не находим никаких «маскарадных сцен», где Пугачев боится разоблачения или размышляет о способах маскировки. Да и ближние казаки, «генералы», хоть и кланяются, величают великим государем, вроде бы совсем не мучаются сомнениями, самозванец над ними или нет.

Принимают, каков есть.

Впрочем, в «Истории Пугачева» Пушкин рассказывает об двух удачных приемах, которыми Пугачев многих убедил.

Во-первых, показал «царские знаки»: хорошо знал наивную народную веру, будто царя можно отличить по каким-то особым следам на теле (в форме креста или иначе).

Вторая же история относится к тем сентябрьским дням, когда в Петербурге разворачивались свадебные торжества, а весть о «Петре III» еще не дошла до царицы.

Пушкин: «Утром Пугачев показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?» — <Комендант> Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед ней сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона...

Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, взошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю. На другой день Пугачев выступил и пошел на Татищеву...

Из Татищевой, 29 сентября, Пугачев пошел на Чернореченскую. В сей крепости оставалось несколько старых солдат при капитане Нечаеве, заступившем место коменданта, майора Крузе, который скрылся в Оренбург. Они сдались без супротивления. Пугачев повесил капитана по жалобе крепостной его девки».

Вот что делал Пугачев — «Петр III» — в дни петербургской свадьбы; вот какими способами заставлял окружающих верить в свою чудодейственную царскую силу.

Через 60 лет после всего этого отыскивает точные даты, живые черточки и подробности о крестьянском Петре III первый его историк. Странствуя по оренбургским степям, он еще застает 80—90-летних свидетелей, содрогается от страшных, кровавых дел, слышит давно умолкнувшие, удалые речи — «разве пушки льются на царей?».

У Пугачева был в запасе еще добрый десяток подобных же, часто интуитивных, актерских ходов, иносказательных разговоров. Прибавим к тому же еще и обаяние самой удачи: начал с 70 сподвижниками, и вот сдаются крепости, отступают генералы — явные признаки присутствия царской персоны.

Все это особенно действовало на тех, кто был подальше от самой ставки самозванца, на рядовых повстанцев. «Они верили, хотели верить», — запишет Пушкин.

Вот важнейшие слова: **хотели верить!**

Лже...

XVII век принес в российскую историю самозванцев: Лжедмитрия I, Лжедмитрия II... За 168 лет до Пугачева Лжедмитрий, въехавший в Москву, был при всем честном народе опознан царицей-матерью того отрока, который считался давно «убиенным» в городе Угличе. Притом самозванец вовсе не боялся встречи: еле живая, почти слепая седьмая жена Ивана Грозного хотела чуда; ее, конечно, подготовили, соответствующим образом настроили — вот она и узнала в Грише Отрепьеве своего мальчика, которого считала погибшим целых 14 лет (кстати, Пугачев в «Капитанской дочке» вспоминает про удачли-

вого предшественника — «Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою»).

После «лжедмитриевской» волны, в следующие 250 лет, наблюдаются еще два особенно мощных прилива самозванчества. Во-первых, множество «Петров III». Пушкин писал о пяти самозванцах, принимавших это имя. В капитальной работе историка К. В. Сивкова, вышедшей около 30 лет назад, выявлено более двадцати случаев. На сегодняшний день известно почти сорок Лжепетров III. Почти все они, понятно, выступали против Екатерины II, отобравшей престол у своего супруга. Однако даже после кончины императрицы, уже в царствование Павла (восстановившего почитание своего отца, прах которого торжественно перенесли из Александро-Невской лавры в Петропавловскую крепость), все же объявился в Быкове, близ Москвы, некий Семен Анисимов Петраков, назвавшийся Петром III. Правда, он потребовал клятвы с посвященных: никому не открывать его тайны «до коронации нового государя», но дело все же открылось. Царь Павел 17 февраля 1797 года отправил своего лжеродителя Петракова «за обольщение простого народа» в Динамюндскую крепость «в работы навсегда».

Последним из Лжепетров был, очевидно, известный «еретик» Кондрат Селиванов, который проживал в Петербурге в 1802 году и «не отказывался, хоть и не настаивал», когда его считали Петром III, дедом царствовавшего тогда Александра I.

Третье и последнее оживление самозванчества происходит после 1825 года, когда в нескольких местах является крестьянам Лжеконстантин. Если прибавить к этому нескольких самозванцев, именовавших себя в разное время то Алексеем (сыном Петра I, то Петром II, то Павлом I, получится, что общее число лжецарей с 1600 по 1850 год приближается к сотне.

В других странах в разные эпохи тоже действовали самозванцы — например, Лженерон в Древнем Риме; после исчезновения в 1578 году на поле брани португальского короля Себастьяна явилось несколько Лжесебастьянов и т. д.

Однако российские лжецари имеют по меньшей мере два отличительных признака. Во-первых, их, пожалуй, больше, чем во всех других краях, вместе взятых. Во-вто-

рых (и в этом, по-видимому, главное объяснение такого «обилия»), основной тип российского самозванца — это человек из народа, выступающий в интересах «низов», от их имени... Иногда самозванец сотрясает всю империю, весь государственный уклад: таков «главный Петр III» — Емельян Пугачев; порою за лжецарем идут крестьяне всего нескольких уездов, чаще же смельчака хватают и нещадно карают, прежде чем он успевает привлечь заметное число сторонников. Однако, независимо от успеха или провала удалого молодца, он представляет, так сказать, «нижнее» самозванчество, народное.

Пожалуй, ни один, даже самый популярный король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, какую играли на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Третьим).

В течение нескольких веков, когда происходило объединение раздробленной Руси и ее освобождение от чужестранного ига, монарх (сначала великий князь, потом царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн, присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался, в общем, однозначно: царь «все равно прав». Если же от царя исходит явная, очевидная неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же — сам этот монарх неправильный, самозваный: его нужно срочно заменить настоящим! И как тут не явиться самозванцу, особенно если имеется для того удобный случай (например, народные слухи, будто царевича Дмитрия хотели извести, но произошло «чудесное спасение»).

На западе было иначе; влияние католической церкви, несколько иная роль королевской власти — все это вело к тому, что не самозванчество (как на Руси), но ересь становится идеей многих народных движений; не лучшего царя, а «правильную церковь» требовали повстанцы многих европейских стран.

В России же относительно слабую церковь во многом

подменяла сильная верховная власть, царь как бы «заменял» бога. Сразу заметим, что и в русской истории известны различные ереси, а с XVII века существовало такое сильное религиозное движение, как старообрядчество. Однако подобные формы протеста все же не достигли той всеохватывающей силы, как это было во время народных движений в Германии, Франции, Италии... Только «справедливый, народный царь» угоден богу — или (то же самое, но с обратным знаком) неправильный царь равен дьяволу, антихристу...

К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) извели. «Особенно замечательно, — заметил Н. А. Добролюбов, — как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер».

Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II — Ивана Бецкого), и, таким образом, умершие цари «самозванно» оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали, а царь, считавший самозванцами крестьянских «Петров III», сам был в их глазах правителем «самозваным — незваным».

В общем, так все запутывалось, что в правительственных декларациях однажды Пугачева нарекли «лжесамозванцем», что, как легко догадаться, было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем!

И вот — Петр III... Тот факт, что он царствовал всего полгода, что народ его, можно сказать, не успел разглядеть, тем более усиливает иллюзию о добром, народном царе, который хотел, как видно, дать волю — и даже дал дворянам, а вот крестьянам — то ли не успел, то ли уж подписал, да министры, помещики, царица Екатерина спрятали...

Идут 1770-е... Все хуже положение крестьян, горных рабочих, уральских казаков, татар, башкир и других зависимых народов. Роскошные сады, дворцы, обиход — все это оплачивается двойным, тройным увеличением барщины, оброка.

Итак, жить стало хуже; царица Екатерина мужикам сомнительна (крестьянские мудрецы втолковывали одно-

сельчанам, что царь подобен богу и, стало быть, должен иметь (мужеский образ); но, если царица плоха, а истинный царь «всегда благ», значит, царица ложная, подмененная, настоящий же народный правитель — Петр III или его сын, несчастный великий князь Павел...

При таком мнении — как не явиться самозванцу, в которого многие верят; иные не верят, но — затем привыкают к мысли о «Петре III», потому что хотят верить!

Однако снова поинтересуемся теми, кто догадывался или даже точно знал, что Пугачев — простой казак.

Во-первых, они уже связаны кровью и должны других уговаривать и себя убеждать, что здесь Петр Федорович.

Психология самоубеждения очень любопытна: даже некоторые проныры и скептики из пугачевского окружения тоже хотели верить и, вступив в игру, далее уже не играли, но жили и умирали всерьез.

Как известно, министры Пугачева принимали титулы «графа Чернышева» и «графа Воронцова»: это отнюдь не означало, будто они себя считают Воронцовым или Чернышевым — фамилия сливается с термином, произносится и пишется как бы в одно слово: «Графчернышев», «Графворонцов».

Однако, постоянно повторяя фамилию-должность, сам носитель ее, как и окружающие, все больше верит, что слово само по себе несет некоторую силу, магию...

Пусть Пугачев не царь, но окружающие должны верить; а поверив, назвав его царем — уже присягнули и одним звуком царского титула передали ему нечто таинственное. А он сам, понимая, что они не очень-то верят, ведет себя так, будто они верят безоговорочно, и сам себя этим еще сильнее заряжает, убеждает — а его убеждение к ним, «генералам», возвращается! К тому же старшие видят магическое влияние государева слова на десятки тысяч людей, и после этого уж самый упорный привыкнет, самому себе шепнет: «А кто ж его знает? Конечно, не царь, но все же не простой человек; может быть, царский дух в мужика воплотился?»

Пушкин: «Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову, — как Пугачев был у тебя посаженым отцом». — «Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович».

Калмыцкую сказку об орле и вороне Пугачев рассказывает Гриневу «с каким-то диким вдохновением». Автор «Капитанской дочки» довольно щедро наделил своего героя-рассказчика собственным знанием и культурой: «дикое вдохновение» — лучше не скажешь о пугачевском даре!

Благодаря ему уж сам «Петр III» наверняка порою не мог отличить свой реальный образ от им же выдуманного, создавал, так сказать, вторую действительность — точно так, как бывает в искусстве...

Две свадьбы

Конец сентября 1773 года — кровавый пир. Летучие листки, написанные под диктовку самозванца или по разумению его канцеляристов, разносятся по горам и степям русскою и татарскою речью.

Буквально в те самые дни, когда на петербургских пирах провозглашалась здравица великому князю Павлу Петровичу и великой княгине Наталье Алексеевне, за них, «за детей своих», пил и Пугачев, рассылая по округе бумаги не только от собственного имени, Петра III, но и от наследника.

Ведь если Пугачев — Петр III, то его «сын и наследник» — естественно, Павел I. Этот агитационный прием используется повстанцами не раз.

Емельян Пугачев постоянно провозглашал, глядя на портрет великого князя: «Здравствуй, наследник и государь Павел Петрович!» — и частенько сквозь слезы приговаривал: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». В другой раз самозванец говорит: «Сам я царствовать уже не желаю, а восстановлю на царствие государя цесаревича».

Сподвижник Пугачева Перфильев повсюду объявлял, что послан из Петербурга «от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его величеству».

В пугачевской агитации важное место занимала повсеместная присяга «Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне» (первой жене наследника), а также известие о том, будто граф Орлов «хочет похитить наследника, а великий князь с 72000 донских казаков приближается».

И уж оренбургский крестьянин Котельников рассказывает, как генерал Бибиков, увидя в Оренбурге «точную персону» Павла Петровича, его супругу и графа Чернышева, «весьма устрашился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер».

Как же реальный принц, сам Павел Петрович, отнесся к своей самозваной тени? Что думал после пышных свадебных торжеств 19-летний впечатлительный юноша, вдруг услышавший почти запретное имя отца, да еще ожившего, восставшего!

Откровеннейшие документы, относящиеся к гибели своего отца (то самое «досье» насчет Петра III, о котором говорилось выше), сын Петра III, Павел Петрович, увидит лишь 42-летним, когда взойдет на трон. По сведениям Пушкина (этим сведениям должно верить, так как поэт имел ряд высокопоставленных, очень осведомленных собеседников), «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь (Петр III) жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: «Жив ли мой отец?»

Настолько все неверно, зыбко, что даже наследник престола допускает, что отец его жив! И спрашивает о том не случайного человека, но Андрея Гудовича: близкий к Петру III, он выдержал за это длительную опалу при Екатерине, но в 1796 году был вызван и обласкан Павлом.

Самозванцы, подмененные, двоящиеся...

Смешно, конечно, предполагать, будто Павел допускал свое родство с Пугачевым, хотя и не был уверен, что его отец действительно погиб. О характере, о целях народного восстания он имел, в общем, ясное понятие, но все же — не остался равнодушен.

Вздрогнули при появлении в пугачевском лагере «тени Павла» и тайные сторонники принца, те, кто мечтал о возведении его на *престол*, — братья Панины, Денис Фонвизин, Александр Бибиков. Разумеется, между ними и Пугачевым — пропасть; пусть «*крестьянский амператор*» называет своих приближенных графом Чернышевым, графом *Воронцовым*, — ясно, что настоящих графов он бы тотчас повесил...

Пропасть между реальным Павлом и самозваной

тенью... Но подозрительная Екатерина даже этому не очень верит. И — устраивает суровый экзамен «нелюбезным любимцам»: именно их посылает на Пугачева, на Петра III. Если победят — не так уж много славы! Если проиграют или изменят — значит, «себя обнаружили». Первым подвергается испытанию уже знакомый читателям Александр Ильич Бибиков — тот, который ездил в 1762-м в Холмогоры и вернулся «без памяти влюбленный...».

Пушкин, за этим человеком внимательно следивший из 1830-х годов, с шестидесятилетней дистанции, знал о нем, как уже отмечалось, немало. Однажды поэт записывает: «Бибикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя. Сим призраком беспрестанно смущали государыню и тем отравляли сношения между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали ежедневные, мелочные досады и подлая дерзость временщиков. Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров: великий князь, разговаривая однажды о военных движениях, подозвал полковника Бибикова (брата Александра Ильича) и спросил, во сколько времени полк его (в случае тревоги) может поспеть в Гатчину? На другой день Александр Ильич узнает, что о вопросе великого князя донесено и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину».

В Гатчине проводил время Павел, которого, как видно, не на шутку опасалась царственная матушка. В черновике Пушкин еще определеннее высказывается о генерале: «Свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция были известны». Пушкин долго подыскивал здесь точные слова. Пишется и зачеркивается: «свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция были удивительны»; «также ему вредили...». Ниже начата и отброшена фраза: «Бибиков был во всегдашней оппозиции».

Как видно, Екатерина имела зуб на Бибикова и за его

независимость, и за близость к Павлу (добавим — к братьям Паниным), и за ту старинную историю с холмогорской командировкой, когда Александр Ильич явно не понял, чего от него хотят... Но — Пугачев у ворот, и царица вспоминает о генерале; вот как об этом пишет Пушкин: «Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к (Бибикову) на придворном бале с прежней ласковой улыбкою и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу отечеству, и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригожаешься;
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь.

Он безоговорочно принял на себя многотрудную должность и 9 декабря (1773 года) отправился из Петербурга».

Бибиков «оправдал надежды» царицы, сумел нанести несколько поражений Пугачеву, но умер в разгар кампании. Действуя как человек своего класса, как верный слуга самодержавия, Бибиков при этом сохранял острую ясность ума и во время похода написал между прочим другу-писателю Денису Фонвизину знаменитые строки, которые Пушкин включил в свою «Историю Пугачева»: *«Не Пугачев важен, важно общее негодование».*

Иными словами, можно Пугачева разбить, но причины, но «почва», на которой поднялся б у н т, — все останется в силе, пока не будут проведены важные реформы, которые улучшат жизнь народа. Об этих реформах, мы знаем, мечтали придворные заговорщики, составлявшие тайные конституционные планы...

Пугачев желает вольности по-своему, по-крестьянски... Партия Фонвизина — Панина — Бибикова строит свои планы освобождения; и Пугачев, и придворные заговорщики клянутся именем Павла... Но нет и не может быть меж ними никакого общего языка.

Бибиков разбивает Пугачева; после него правительственные войска приказано возглавить — кому же? Генералу Петру Панину! А ведь младший брат Никиты Па-

нина был человек, который столь ненавидел Екатерину, что, случалось, отпускал в ее адрес почти что «пугачевские» дерзости. Царица же в начало восстания велела московскому главнокомандующему М. Н. Волконскому «приглядывать за Паниным»: она явно опасалась, что тот использует события в своих целях (как прежде подозревала панинское подстрекательство во время московского бунта 1771 года!). Выходило, что Панин (и косвенно Павел!) должен был, подавляя восстание Пугачева, доказывать тем самым свою благонадежность. И Петр Панин, мы знаем, очень старался!

Мы не можем не считаться с последствиями «пребывания Павла» в лагере Пугачева. Прежде всего — усилилась популярность имени наследника в народе. Распространение образа Лжепетра III рождало, естественно, определенные фантастические надежды на его сына. Крайне любопытно, что, перечисляя прегрешения Павла, знаменитый Л. Л. Беннигсен (генерал, один из лидеров будущего дворцового заговора против Павла I), между прочим, сообщал в 1801 году:

«Павел подозревал даже Екатерину II в злом умысле на свою особу. Он платил шпионам, с целью знать, что говорили и думали о нем и чтобы проникнуть в намерения своей матери относительно себя. Трудно поверить следующему факту, который, однако, действительно имел место. Однажды он пожаловался на боль в горле. Екатерина II сказала ему на это: «Я пришлю вам своего медика, который хорошо меня лечил». Павел, боявшийся отравы, не мог скрыть своего смущения, услышав имя медика своей матери. Императрица, заметив это, успокоила сына, заверив его, что лекарство — самое безвредное и что он сам решит, принимать его или нет. Когда императрица проживала в Царском Селе в течение летнего сезона, Павел обыкновенно жил в Гатчине, где у него находился большой отряд войска. Он окружил себя стражей и пикетами, патрули постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобы воспрепятствовать какому-либо неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут, по которому он удалился бы с войсками своими в случае необходимости: дороги по этому маршруту, по его приказанию, заранее были изучены доверенными офицерами. Маршрут этот вел в землю ураль-

ских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев. В 1772 и 1773 годах он сумел составить себе значительную партию, сначала среди самих казаков, уверив их, что он был Петр III, убежавший из тюрьмы, где его держали, ложно объявив о его смерти. Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков. Его матери известны были его безрассудные поступки».

Еще интереснее (и свободнее), чем в 1801 году, Беннигсен развивал свою версию много лет спустя перед племянником фон Веделем. Повторив, что Павел собирался бежать к Пугачеву, мемуарист добавляет: «Он для этой цели производил рекогносцировку путей сообщения. Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим».

Строки о «бегстве за Урал», даже если это полная легенда, весьма примечательны как достаточно распространенная версия. Беннигсен (который, кстати, в нашей книге еще появится) в 1773 году только поступил офицером на русскую службу и, по всей видимости, узнал подробности о Павле и Пугачеве много позже. Заметим, что в этом рассказе довольно правдиво представлена причудливая логика самозванчества, когда сын **решается назваться отцом,** чтобы добиться успеха (иначе он, по той же логике, должен подчиниться «Петру III — Пугачеву»).

Так или иначе, но Павел, боясь и ненавидя крестьянский бунт, хотел найти в народе сочувствие к единственному законному претенденту на российский престол; особенно в годы, когда окончательно рассеялись его надежды, будто мать уступит трон, в годы различных тайных замыслов, лелеемых друзьями наследника.

«Ну, я не знаю еще, насколько народ желает м е н я , — с большой осторожностью говорил Павел прусскому посланнику Келлеру в начале 1787 г о д а . — Многие ловят рыбу в мутной воде и пользуются беспорядками в нынешней администрации, принципы которой, как многим без сомнения известно, совершенно расходятся с моими».

Как видно, Павел связывает свою популярность в народе с разногласиями, разделяющими его и Екатерину II.

«Павел — кумир своего н а р о д а », — докладывает в 1775 году австрийский посол Лобковиц.

Видя, как во время посещения Москвы царским двором народ радуется наследнику, влиятельный придворный Андрей Разумовский шепчет Павлу: «Ах! Если бы вы только захотели» (то есть стоит кинуть клич, и легко можно скинуть Екатерину и завладеть троном). Павел промолчал, но не остановил крамольных речей.

Вскоре после этого, в 1782 году, появляется солдат Николай Шляпников, а в 1784 — сын пономаря Григорий Зайцев, и каждый — в образе великого князя Павла Петровича. «Легенда о Павле-избавителе» имела широкое распространение на Урале и в Сибири.

Слухи о новых «Петрах III», как и о новых «Павлах», вероятно, доходили к сыну Петра III постоянно. Так или иначе, но стихия самозванчества не унималась, не затихала вокруг него годами и десятилетиями.

«Важно общее негодование...»

Но мы еще не простились с Пугачевым...

Огромное восстание было, в сущности, недолгим, его темпы не очень характерны для того медленного века.

За полгода до взрыва сам Пугачев еще не видел в себе Петра III.

17 сентября 1773 года у него 70 человек; 18-го к вечеру уже 200 сторонников, на другой день 400.

5 октября он начинает осаду Оренбурга с двумя с половиной тысячами.

Зима с 1773-го на 1774-й: разгром нескольких правительственных армий; Пугачев во главе десяти тысяч.

22 марта 1774 года — первое поражение под Татищевой; в Петербурге торжествуют — конец самозванцу!

Весна — начало лета 1774-го: «Петр III» снова в силе, на уральских заводах.

Июль 1774 года — разгром Казани.

Июль — август: переход на правый берег Волги, устрашающий рейд от Казани до Царицына, через главные закрепощенные области.

Сентябрь 1774-го: спасаясь от наседающих правительственных войск, поредевшие отряды Пугачева возвращаются туда, откуда *начали*, — на Южный Урал.

14 сентября 1774 года сообщники решают его выдать. Пугачев кричит: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой, Павел Петрович, ни одного человека из вас живым не оставит».

При этих словах изменники испугались, замешкались: они вроде бы хорошо понимают, что настоящий Павел Петрович не будет мстить за Пугачева; понимают, но все-таки допускают: а вдруг Пугачев царское слово знает!..

Потом они все же схватили своего царя: пятый и уж последний арест в жизни. А всего, от того дня, как объявил себя Петром III, до последнего дня на воле — 362 дня.

Пока шли победы, вера в крестьянского царя укреплялась, с поражениями слабела, но, как известно, совсем никогда не выветрилась. Правительственные объявления сообщали, что пойман «злодей Пугачев», и крестьяне, радостно крестясь, переговаривались, что, слава богу, какого-то Пугача поймали, а государь Петр Федорович где-то на воле («ворон, не вороненок»).

Прежде чем мы простимся с рассуждением о вере или неверии народа в своего Петра III, припомним, что столь знавший, понимавший своих людей Пугачев допустил все же большую ошибку, сразу ослабившую доверие к нему очень многих: поскольку царственная супруга Екатерина II — изменница и «желала убить мужа», с нею «Петр III» уж не считал себя связанным (в его лагере обсуждался вопрос, не казнить ли ее, но «супруг» снисходителен и согласен на заточение в монастыре). И вот, высмотрев прекрасную казачку, Устинью Кузнецову, император устраивает пышную, по всем царским правилам, свадьбу.

Через пять месяцев после женитьбы сына Павла женится «во второй раз» его отец Петр.

Родители невесты не очень-то радовались, но испугались перечить подобной милости.

Однако провозглашение императрицы Устиньи Петровны в глазах народа оказалось нецарским поступком — тут Пугачев изменил своей роли.

Во-первых, царь Петр Федорович все же не разведен с женой-императрицей Екатериной: слишком торопится и нарушает церковный закон, обычай.

А во-вторых, кто же не знает, что царям не пристало жениться на простых девицах; и напрасно Пугачев думает, будто народу лестно, что на престол посажена неграмотная казачка.

Царь, несомненно, больше выиграл бы в глазах му-

жиков, если бы взял за себя графиню или княгиню... А тут еще во время штурма Казани в руки Пугачева попала его настоящая первая жена, Софья Недюжева, с тремя его детьми. Пугачев, впрочем, здесь **«сыграл»** уверенно и восклицал в казачьем кругу: «Вот какое злодейство! Сказывают мне, что это жена моя, однако же, это неправда. Она подлинно жена, да друга моего, Емельяна Пугачева, который замучен за меня в тюрьме под розыском. Однако ж я, помня мужа ее, Пугачева, к себе одолжение, не оставлю и возьму с собою».

С тех пор до конца возил он жену с тремя детьми за собою — и они плакали, видя, как хватали и связывали их мужа, отца, не велевшего признавать себя мужем и отцом; и все они, один за другим, окончили свои дни в заточении (последняя дочь Пугачева умерла как раз тогда, когда Пушкин отыскивал следы ее отца, и об этом сообщил поэту сам царь, Николай I). Вместе с законной первой семьей Пугачева, в одной камере, зачахла в крепости и «императрица Устинья», которую перед тем держал в наложницах один из царских генералов, Павел Потемкин.

Уж коли мы взялись перечислять трагические **личные** обстоятельства, следует сказать, что и пышная столичная свадьба 29 сентября 1773 года также не принесла счастья сыну Петра III: царевна через три года погибнет в родах; Екатерина II убедит сына в неверности невестки...

Меж двух несчастных свадеб замкнута вся народная война, тот пир, где «кровавого вина не достало».

Все быстро, стремительно. Все **вдруг,** как лавина, началось — стоило умному удальцу сказать нужные слова.

И так же, **вдруг,** все гибнет, оканчивается, Пугачев схвачен, его в клетке везут в Москву. И так же, **вдруг,** может начаться снова...

Два полюса

Недавно художница Татьяна Назаренко выставила интересную картину: Пугачева, запертого в клетке, везут равнодушные, на одно лицо, солдатики, а во главе их — спокойный Суворов.

Некоторым зрителям, рецензентам ситуация не понравилась: как же так, восклицали они, славный герой Суворов везет в клетке вождя крестьянской войны Емельяна Пугачева!

Увы, наше недовольство не может переменить задним числом того, что сбылось, — скажем, заставить Суворова перейти в мужицкую армию. Да, действительно, 44-летний генерал Суворов, срочно отозванный с турецкого театра войны, хоть и не был главнокомандующим против Пугачева, но участвовал в последнем этапе правительственных операций; да, солдаты, служивые — они **пока что** не рассуждают: велено поймать «злодея» — ловят, не думая, не желая помнить, что он сулил им всем волю.

И в отношении Суворова мы обязаны рассуждать исторически, а не опрокидывать чувства XX века в позапрошлое столетие. Прогрессивность, народность полководца — не в том, что он вдруг освободит Пугача, но в том, что эти вот его солдатики все же у него легче живут, лучше едят, чем у других генералов. Суворов им больше доверяет, не смотрит на них как на механизм, как на крепостных — и оттого с ними всегда побеждает.

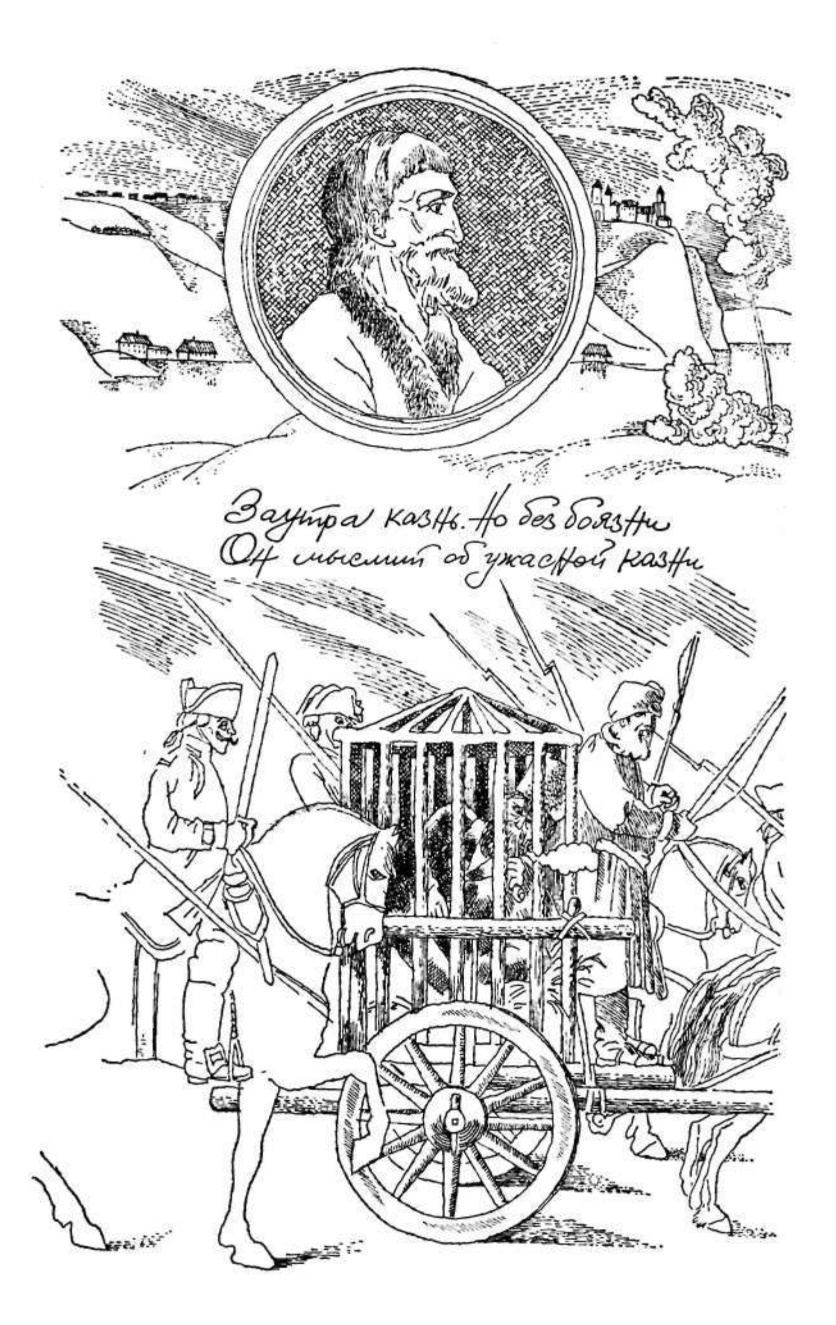
Прогрессивная линия дворянской культуры и народного сопротивления: им очень непросто пересечься, слиться.

Через 16 лет страданиями народа будет «уязвлена» душа Радищева; позже — декабристов, Пушкина...

Нет, великий поэт не принимал «бунта бессмысленного, беспощадного», но пытался **понять,** глубоко чувствовал, что у мужицкого бунта своя правда, мечтал о сближении, соединении двух столь разнородных начал, может быть, в дальнем будущем.

Невозможная возможность

Пугачева везут в Москву — судить, казнить. Он не малодушничает, но и не геройствует: подробно отвечает на вопросы, признается во всех делах — «умел грешить, умей ответ держать».


Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни

Отчего же забыл прежнюю роль, не отстаивал своего «царского достоинства»?

Да оттого, во-первых, что был умным, талантливым и не хотел быть смешным.

Во-вторых, прежде была война, была вера в него крестьян, желание верить... Зачем же теперь играть без нужды, только для себя, при недоброжелательном зрителе?

Поэтому, «низложив» Петра III в самом себе, он снова стал беглым хорунжим Емельяном Пугачевым и ведет себя сообразно: например, просит прощения у Петра Панина, когда тот начинает его избивать, но, с другой стороны, и на цепи острословит так, что московские дворяне «между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу»: мы цитируем рассказ престарелого писателя и государственного деятеля И. И. Дмитриева, записанный Пушкиным 6 октября 1834 года; в той же записи сообщается об уродливом, безносом симбирском дворянине, который ругал запертого в клетке Пугачева; «Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал»...

По стране идут казни, расправы. В современных наших учебниках, научных трудах мы читаем, что крестьянские восстания не могли победить, ибо во главе их не было пролетариата или буржуазии, «классов, способных в разных исторических обстоятельствах возглавить крестьянское сопротивление».

Восстание не могло победить, было обречено. Все так... Но разве не было в мире народных мятежей, восстаний рабов и крепостных, которые побеждали хоть на время, сами, одни?

Да, были такие. Восставшие рабы в 138 году до н. э. очистили Сицилию от римских рабовладельцев и создали свое царство.

Великая крестьянская война 1630—1640-х годов в Китае привела к полному поражению императорских войск: вождь повстанцев Ли Цзы-чэн вступил в столицу, то есть добился того, что было бы равносильно в России занятию Петербурга или Москвы Пугачевым.

Есть еще примеры, в разных частях мира, подобных уникальных успехов угнетенного большинства.

Но что же дальше?

Удержаться не могли.

Сицилийские рабы избрали себе царя, раба Эвна, который быстро завел двор, собственных слуг и рабов. Смуты между разными группами освободившихся, разочарование во многих плодах успеха — все это привело к расколу, распаду, и через шесть лет после начала восстания Рим вернул Сицилию, раздавил царство Эвна.

Китайские же крестьяне-победители быстро выделили из своей среды новых феодалов, отчего ослабло единство и подняли голову прежние хозяева; гражданская война разгорелась сызнова, но тогда в страну вторглись манчжуры и подавили всех...

Если бы Пугачев не застрял у Оренбурга и вдруг смело двинулся бы к Москве, где его ждали, — мало ли как мог повернуться великий бунт? Но все равно бы не удержались. Уже в ходе восстания крестьянские министры, как известно, враждовали, случались кровавые расправы со своими.

Недолго бы продержалась крестьянская вольница, даже если бы скинула с престола Романовых...

Так что же — Пугачеву не следовало восставать? Выходит, бунт действительно был бессмысленным?

Нет, не выходит; да, впрочем, к чему рассуждения «следовало — не следовало», когда — последовало! Когда на огромном пространстве поднялись миллионы людей...

Восстание страшное, жестокое, взявшее много крови, бунт, своего не достигший; однако «заработная плата на уральских заводах выросла вдвое после восстания»: это вывод историков и экономистов.

Казалось бы, мелочь, но приглядимся получше: пугачевцев победили, переказнили, но победители испугались и все же умерили свой аппетит. Если бы не 1773—1774 годы, то, конечно, не стали бы уступать... Скажем иначе: вообще в России с крестьян «драли три шкуры», но если бы не Болотников, Разин, Булавин, Пугачев, — содрали бы все десять...

И мог бы наступить момент, когда чрезмерное выса-


Увижу ль, о друзья!
Народ не угнетенный...

сывание соков загубило бы все дерево; когда в конце концов не нашлось бы ни «прибавочного продукта», ни сил, ни духа у огромной страны, чтобы развиваться и идти вперед, накапливать средства для капитализма. Так бывало в мире: некоторые древнейшие цивилизации замирали, засыхали, истощенные ненасытным, безграничным аппетитом землевладельцев и государства; засыхали настолько, что, по замечанию Герцена, «принадлежали уже не столько истории, сколько географии».

Географии, огромного пространства России хватало, но страна, народ желали истории! Они двигались вперед как огромными дворянскими реформами Петра, так и «ядерными вспышками» народных войн.

«Низы» ограничивали всевластие и гнет «верхов», не давая им съесть народ и в конце концов — самих себя!

Так что восстание дало плоды.

К тому же великая, страшная энергия неграмотного бунта эхом отзовется в России грамотной, стране Радищева и Пушкина... Пугачев, ненавидевший, уничтожавший островки дворянской цивилизации, парадоксальным образом помогал появлению высочайших форм культуры, гуманизма. Он ускорял освобождение России — пусть и не так, как мыслил крестьянский «амператор», и не так, как мечтали дворянские мудрецы...

Вспомним недавние стихи Давида Самойлова:

Мужицкий бунт — начало русской прозы.
Не Свифтов смех, не Вертеровы слезы,
А заячий тулупчик Пугача,
Насильно снятый с барского плеча...

10 января 1775 года в Москве была отрублена голова Емельяну Ивановичу Пугачеву. Пушкинский вымышленный герой, Петруша Гринев, «присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу».

В правительственном манифесте было приказано предать это дело, то есть крестьянскую войну, «вечному забвению»!

Но можно ли забыть?

Так заканчивается и не оканчивается наше повествование о «29 сентября 1773 года»: две главы, где — столицы и Урал, свадьбы и заговор, конституция и великий мятеж, настоящие и самозваные цари, великие писатели...





Белой ночью с 29 на 30 июня, в 2 часа пополуночи, из Новодвинской крепости выходит корабль «Полярная звезда». Тайна столь велика, что даже местный губернатор не посвящен, куда везут его бывших подопечных. Со всех свидетелей взята подписка. «И я, — заключает ответственный за всю «операцию» генерал-губернатор огромного края Алексей Мельгунов, — провожал их глазами до тех пор, пока судно самое от зрения скрылось».

40 лет без малого провела в заключении Брауншвейгская фамилия; третий правитель на русском троне. После визита Бибикова и гибели в Шлиссельбурге Ивана Антоновича принцев надолго оставили в покое.

В мире происходили разнообразные события: французское Просвещение — Руссо, Вольтер, Дидро; американская революция; открытия Бугенвиля, Кука в Тихом океане... Однако принц Антон и его дети не имеют права всего этого знать. Меняются коменданты, охрана пьянствует, ворует, архангельский губернатор Головцын докладывает, что «каменные покои тесны и нечисты».

1767 год: ревизия губернатора, явно жалеющего узников. Принцесса Елизавета высказалась при нем «с жи-

востью и страстью» и, «заплакав на их несчастную, продолжаемую и поныне судьбину, не переставая проливать слезы, произносила жалобу, упоминая в разговорах и то, будто бы они, кроме их произведения на свет, никакой над собой винности не знают, и могла бы она и с сестрою своею за великое счастье почитать, если б они удостоены были в высочайшую вашего императорского величества службу хотя взяты быть в камер-юнгферы» (придворный чин). Головцын «их утешал, и они повеселели».

Позже мягкосердечный губернатор изыщет оригинальный способ воздействия на Екатерину, Никиту Панина и других советников: передавая разговоры, якобы подслушанные его агентами от принцев, в форме доноса, он сообщает разные их лестные высказывания в адрес царицы!

Головцын верно рассчитал, что донос, секретная информация будут прочтены наверху быстрее всего; однако, никаких облегчений не последовало...

25 мая 1768 года: принц Антон обращается к Екатерине II. Он просится с детьми за границу и клянется «именем бога, пресвятой троицей и святым евангелием в сохранении верности вашему величеству до конца жизни»; при этом он вспоминает милостивое письмо Екатерины в 1762 году, «и в особенности уверения в вашей милости генерала Бибикова, чем мы все эти годы утешали и подкрепляли себя»; 15 декабря того же года Антон-Ульрих заклинает царицу «кровавыми ранами и милосердием Христа»; через два месяца еще одно письмо — никакого ответа не последовало.

Вряд ли Бибиков узнал шесть лет спустя, почему вдруг снова возникло его имя в секретной переписке. Вряд ли добрался до этих сведений и Пушкин, хотя ситуация была ему хорошо понятна: Бибиков от имени императрицы обещал, обнадеживал, сам искренне сочувствовал узникам.

Но заточение продолжается.

Конец 1767 — начало 1768 года: в секретной переписке, в доносах обсуждаются дела, совершенно необычные для такого рода бумаг: «принцесса Елисавета, превосходящая всех красотой и умом», влюбилась в одного из сержантов холмогорской команды. Ее предмет — Иван Трифонов,

27 лет, из дворян, крив на один глаз, рыж, «нрава веселого, склонный танцевать, играя на скрипке, и всех забавлять».

В донесениях много печальных, лирических подробностей: сержант подарил принцессе собачку, а «она ее целует»; Трифонов «ходит наверх в черных или белых шелковых чулках и ведет себя, точно будто принадлежит к верху»; наконец, принцесса «кидает в сержанта калеными орехами, после чего они друг друга драли за уши, били друг друга скрученными платками». Не сообщая сперва обо всем этом в Петербург, комендант и губернатор все-таки удаляют Трифонова из внутреннего караула, после чего «младшая дочь известной персоны была точно помешанная, а при этом необыкновенно задумчивая. Глаза у ней совсем остановились во лбу, щеки совсем ввалились, при том она почернела в лице, на голове у ней был черный платок, и из-под него висели волосы, совершенно распущенные по щекам»; после того сам принц Антон напрасно молит коменданта, чтобы сержанта Трифонова пускали наверх — «для скрипки и поиграть в марьяж», а сам сержант падает в ноги коменданту, майору Мячкову, умоляя: «Не погубите меня!»

И вот последняя попытка Елисаветы: из окошка в «отхожем месте», оказывается, можно видеть окно сержанта. Однако уловка разгадана, и меры приняты...

Больше принцесса никогда не увидит сержанта Трифонова: он вскоре образумится, станет офицером, там же, в Холмогорах, и женится. А принцесса тяжело заболевает: восемь месяцев «жестокой рвоты», «истерии». У ее отца все усиливается цинга. Лекарь лечит первобытно — в основном пусканием крови.

1770-е

Новый «самозваный призрак» — Пугачев. Страхи в Зимнем дворце усиливаются, и уж Никита Панин предостерегает: как бы не нагрянул в Архангельск «азартный проходимец» Мориц Беневский, который недавно взбунтовал Камчатку и ушел в океан на захваченном судне с русско-польским вольным экипажем. «Во время заарестования его в Петербурге, — пишет Панин, — я видел его та-

ким человеком, которому жить или умереть всё едино — то из сего не без основания и подозревать можно, что не может ли он забраться и к порту Архангельскому, где ежели не силою отнять известных арестантов».

Опасения насчет Беневского оказались напрасными: его сферой действия стал не Архангельск, а Мадагаскар. Меж тем «Петр III — Пугачев» весомо напомнил о слабых правах Екатерины II на российский трон.

Пушкин отлично знал, что параллельно с народной войной продолжается бесконечное холмогорское заточение, и не зря вспомнил о принцах в своих «Замечаниях о бунте»; иных сведений у него, однако, не было.

А холмогорский мирок все продолжал беспокоить хозяев Зимнего дворца. Узнав о бракосочетании наследника Павла, принцесса Елисавета от имени больного отца, братьев и сестер обращается к графу Н. И. Панину: «Осмеливаемся утруждать ваше превосходительство, нашего надежнейшего попечителя, о испрошении нам, в заключении рожденным, хоша для сей толь великой радости у ее императорского величества малыя свободы».

«Малыя свободы», однако, не последовали: царица нашла, что прогулки за пределами тюрьмы могут вызвать «неприличное в жителях тамошних любопытство». Панин же 3 декабря 1773 года выговаривает губернатору Головцыну, что письмо принцессы писано слишком уж хорошим слогом и умно, в то время как «я по сей день всегда того мнения был, что они все безграмотны и никакого о том понятия не имеют, чтоб сии дети свободу, а паче способности имели куда-либо писать своею рукою письма». Панин опасается, чтобы принцы не писали таким слогом и «в другие места»; запрашивает, откуда такое умение, и получает поразительный ответ принца Антона-Ульриха, достойный того, чтоб его знал Пушкин. Все четверо детей учились русской грамоте по нескольким церковным книгам и молитвам, а кроме того, «по указам, челобитным и ордерам». Канцелярско-полицейские документы, относящиеся к аресту и заключению Брауншвейгской фамилии, оказывается, могут быть источником грамотности и хорошего слога!

Никита Панин, один из культурнейших людей века, завершает свой розыск полуироническим выводом: «что дети известные обучилися сами собою грамоте, тому уже

быть так, когда прежде оное не предусмотрено». Не разучивать же их обратно!

4 мая 1776 года: на 35-м году заключения умирает принц Антон, похороненный «во 2-м часу ночи со всякими предосторожностями». Перед смертью он просит «за бедных сирот его» и горячо благодарит своих главных тюремщиков — царицу и Панина. Екатерина II не выражает даже формального соболезнования (как это сделала Елизавета Петровна, узнав о смерти Анны Леопольдовны).

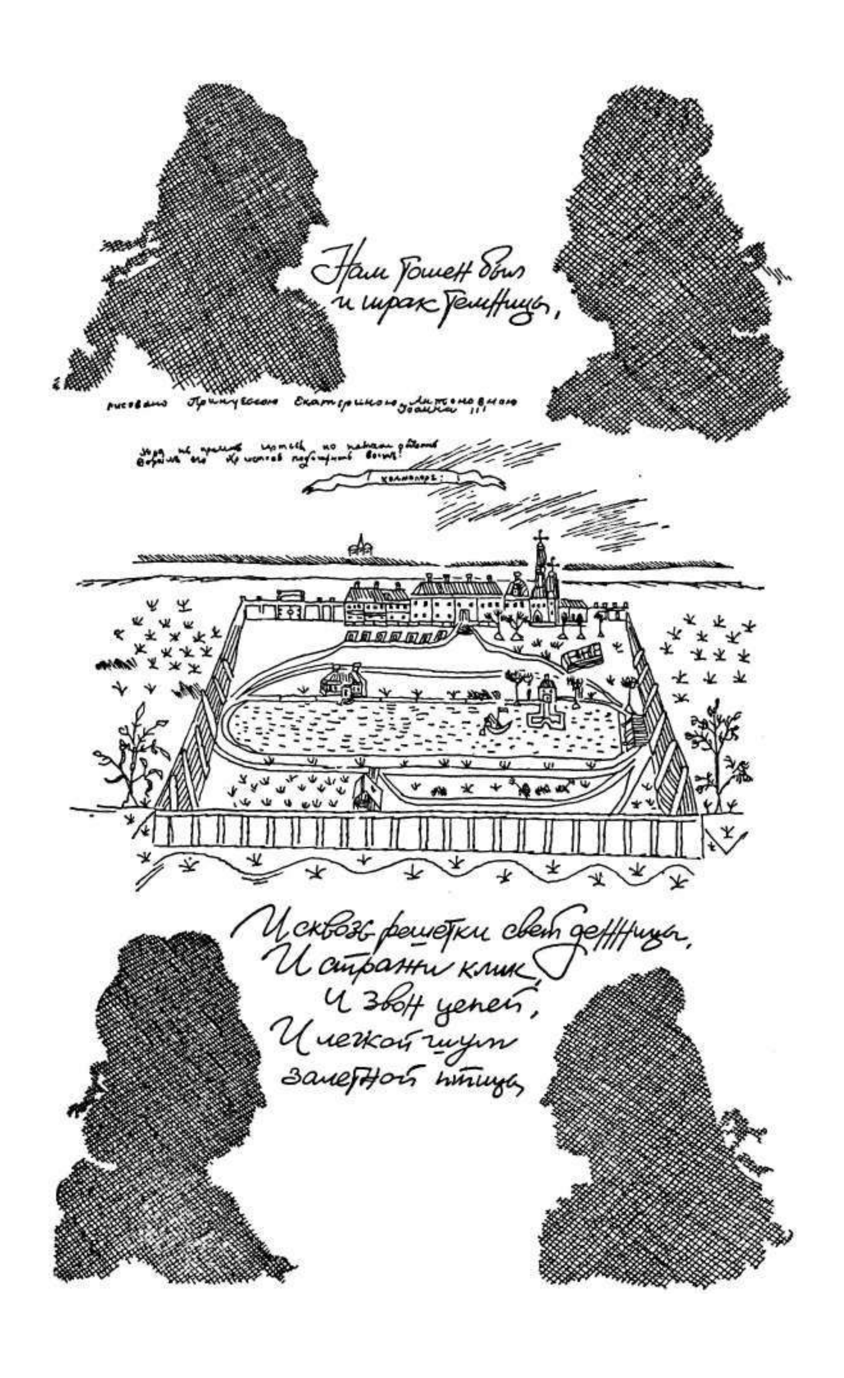
Начало 1777 года: Головцын доносит, что принцесса Елисавета «сошла с ума и в безумии своем много говорит пустого и несбыточного, а временами много и плачет, а иногда лежит, закрыв голову одеялом, в глубоком молчании несколько часов кряду».

Потом молодая женщина (ей уже 34 года) приходит в себя... Еще проходят месяцы и годы. Появляются на свет внуки Екатерины II: в декабре 1777-го — будущий царь Александр I, в 1779-м — его брат Константин. Династия упрочена, у Петра Великого появились законные праправнуки, и опасения насчет «брауншвейгских претендентов» сильно уменьшаются...

На свободу

Почти сорок лет миновало, и вот в Холмогоры прислан генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Как некогда, 18 лет назад, Бибиков, — этот новый посланец опять проверяет, сколь опасны принцы и сколь велика сокрытая в них «государственная угроза».

«Елисавета, — находим мы в докладе генерал-губернатора, — 36 лет, ростом и лицом схожа на мать..., Кажется, что обхождением, словоохотливостью и разумом далеко превосходит и братьев своих, и сестру, и она, по примечанию моему, над всеми ими начальствует: ей повинуются братья, исполняя все то, что бы она ни приказала, например, велит подать стул — подают, и прочее и тому подобное». О старшей, Екатерине, писано, что она «38 лет, похожая на отца, весьма косноязычна, братья и сестра объясняются с ней по минам» (то есть знаками). Другие принцы — «Петр 35 лет, горбат, крив; Алексей 34 года, белокур, молчалив, братья же оба не имеют ни малейшей


Нам тошен был
и мрак темницы,
рисовано Принцессою Екатериною Антоновною
холмогоры:
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик,
И звон цепей,
И легкой шум
залетной птицы

природной остроты, а больше видна в них робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные». Мельгунов нарочно притворился больным, чтобы лучше узнать этих людей, обедал с ними, участвовал в карточной игре (трессет) — «весьма для меня скучной, но для них веселой и обыкновенной».

Беседуя в основном с принцессой Елизаветой («выговор ее, так как и братьев, ответствует наречию того места, где они родились и выросли, то есть холмогорскому»), посланец царицы слышит, что прежде, когда был жив отец, они хотели, «чтоб дана им была вольность»; позже — «чтоб позволено было им проезжаться», а теперь — «рассудите сами, — говорила она мне, — можем ли мы иного чего пожелать, кроме сего уединения? Мы здесь родились, привыкли и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно». Принцесса просила только о некоторых домашних и хозяйственных послаблениях: «Из Петербурга присылают нам корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем, для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить: так сделайте милость, — примолвила она мне, — пришлите такого человека, который мог бы нас в них наряжать».

Еще и еще раз Мельгунов (точно так, как прежде Бибиков) уговаривает царицу, что нечего бояться этих «персон»; под его диктовку принцы свою любовь повергают к ее стопам...

Миссия Мельгунова оказывается более счастливой, чем путешествие Бибикова. 18 марта 1780 года Екатерина II пишет вдовствующей королеве Дании и Норвегии Юлии-Марии, что «время пришло» освободить ее родных племянников, о которых родная сестра Антона-Ульриха все эти годы, конечно, опасалась спрашивать у могучей «северной Семирамиды».

Екатерина II просит поместить двух сыновей и двух дочерей Антона и Анны Леопольдовны в каком-нибудь внутреннем городе Норвегии (только подальше от моря!). Королева отвечает, что ее глубоко трогает «доброта и великодушие, оказываемое вашим величеством несчастным детям покойного моего брата герцога Антона-Ульриха»,

и находит здесь «отпечаток великой и высокой души». Но при этом Екатерине II робко сообщается, что в Норвегии, к сожалению, не существует городов, далеких от моря! Поэтому принцев лучше разместить во внутреннем датском городке Горсенсе. Императрица не возражает.

Тут наступает последний акт драмы. Мельгунов приезжает в Холмогоры, приглашает двух принцев и двух принцесс на корабль. Они никогда в жизни не выходили за пределы собственного сада и очень боятся, ожидая ловушки. Мельгунов для их успокоения помещает на фрегат собственную жену, за что после получит строгий выговор от царицы: нельзя посвящать в тайну лишних людей!

В ночь с 26 на 27 июня специальное судно отправляется из Холмогор, минует Архангельск. Принцы каждую минуту ждут некоего подвоха. Услышав, например, торжественное пение в соборе близ Новодвинской крепости, четверо *освобождаемых* дрожат от страха, предполагая, что это — их отпевают... Но успокаиваются, узнав, что ведь 28 июня праздник, 18-летие вступления Екатерины II на российский престол.

Итак, белой ночью с 29 на 30 июня корабль «Полярная звезда» выходит в море... Узники в последний раз смотрят на удаляющийся русский берег, на ту сторону, где родились и жили, где по диким лесам и дальним скитам еще бродит призрак «императора Петра Федоровича»; где с величайшим секретом, в потайных ларцах прячутся списки российской конституции и где с не меньшим секретом в личном тайнике императрицы сохраняются «нечистые листки» Алексея Орлова.

Лето 1780 года. Князь Михайло Щербатов восемь лет пробыл при дворе, а на девятом году службы почувствовал, как видно, что больше не может. «Я сам не *знаю*, — записывает *он*, — что я есть; а кажется достаточной на словах, недостаточной на деле; удобен, чтобы уважать и ездить, как на осле, а кормить репейниками; да и осла иногда в колокольчики рядят, а мне и той надежды нет».

Он переводится подальше от двора, в Москву, где в сенаторской должности участвует в разных ревизиях и инспекциях, требующих честного, зоркого глаза.

Обе стороны, царица и князь, соблюдали форму: Щербатов отпущен с орденом Анны, с высочайшим чином действительного тайного советника.

Каждая из сторон догадывается, как смотрит на нее другая. Но форма соблюдена.

В это самое время князь (мы теперь много знаем, кое о чем догадываемся!) начал писать или переписывать свой потаенный труд, о котором еще речь впереди...

В это самое время доживает свои дни один из первых героев нашего повествования Арап Петра Великого, генерал-аншеф в отставке Абрам Петрович Ганнибал. Ему 85 лет; пережил семь императоров... Десятилетиями он строил, строил. Делал то, чему выучился когда-то по воле Петра... Строил кронштадтские доки и сибирские крепости, тверские каналы и эстонские порты. При царице Елизавете Петровне он по этой части — одно из главных лиц в империи: с 1752-го — один из руководителей Инженерного корпуса; в ту пору все фортификационные работы в Кронштадской, Рижской, Перновской, Петропавловской и многих других крепостях производятся «по его рассуждению»; с 4 июля 1756 года — он генерал-инженер, то есть главный военный инженер страны. Присвоение чина генерал-аншефа (1759) связано именно с этой его деятельностью.

Увы, Пушкину почти все осталось неизвестным, во всяком случае, мало освоенным. Сам Абрам Петрович Ганнибал в борьбе за место под российским солнцем выставлял не столько инженерные заслуги, сколько «древний род», генеральский чин; потомки, даже гениальнейший из них, отчасти дают себя убедить... Два поколения, разделявшие оригинального прадеда и гениального правнука, еще сильнее замаскировали не очень «благородные» (близкие к физическому труду!) инженерно-фортификационные склонности старшего Ганнибала...

Кроме построения каналов, домов, крепостей, Ганнибал, как видно, все эти годы особенно хорошо умел делать еще одно дело: ссориться с начальством. Вступив в конфликт с влиятельным обер-комендантом Ревеля графом Левендалем, прадед поэта негодовал, что губернатор «на меня кричал весьма так, яко на своего холопа», а обер-комендант, в ответ на дельные замечания Ганнибала, что

пушки не в порядке и свалелы, — «при многих штаб-и обер-офицерах на меня кричал необычно, что по моему характеру весьма то было обидно»; фаворит очень высокого начальства, некий Голмер, также вмешивается в инженерные и артиллерийские дела, в которых не сведущ, а, получив приказ от Ганнибала, «с криком необычно и противно, показывая мне уничижительные гримасы, и рукою на меня и головою помахивая, грозил, и, оборотясь спиною, — причем были все здешнего гарнизона штаб- и обер-офицеры, что мне было весьма обидно...».

Наконец, утомленный сложными интригами, генерал Ганнибал восклицает в прошении И. А. Черкасову, кабинет-секретарю императрицы Елизаветы: «Я бы желал, чтоб все так были, как я: радетелен и верен по крайней моей возможности (токмо кроме моей черноты). Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил — истинно от печали и от горести сердца: или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить». Как жаль, что Пушкин не узнал этих строк, открытых уже после него, — о прадеде, который все может, лишь не способен побелеть! Уж непременно процитировал бы или использовал в сочинениях!

И вот — отставка при Петре III, после чего обиженный Ганнибал живет в своих имениях близ Петербурга:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей...

Лето 1780-го... Уже сделаны завещательные распоряжения: 1400 крепостных душ и 60 000 рублей капитала разделяются между четырьмя сыновьями и тремя дочерьми (причем старшему, знаменитому герою турецких

войн Ивану Ганнибалу, 46 лет, а младшей, Софье, только 21); раздел этот — процедура весьма непростая, ибо дети, хоть и цивилизованы, языками владеют, высоких чинов достигли, — но порою кажется, что не вредно бы им перед свиданием с отцом также руки связывать, как много-много лет назад на берегу Красного моря обходился с многочисленными сыновьями отец Абрама (Ибрагима)...

Меньше года жизни отпущено Ганнибалу; никогда не узнает, что 19 лет спустя в его роду появится мальчишка, который поведет за собой в бессмертие и потомков, и друзей, и предков...

Впрочем, в том, 1780-м, уже многое «приготовлялось» для Александра Сергеевича: «старый Арап» сохраняет и поощряет среди множества своих владений Михайловское и Петровское... Крепостные люди привыкли к своему «черному барину», и среди них мы замечаем молоденькую, лет двадцати, девушку Арину Родионову, или Родионовну... Правда, буйный третий сын Осип Абрамович прогнан недавно с глаз долой, но зато пятилетняя внучка Надежда Осиповна Ганнибал — часто перед глазами дедушки...

В последние месяцы генерал-аншеф охотно вспоминает прошедшее — Африку, Стамбул, Петра Великого, Францию, Сибирь, страх перед Бироном и Анной, милости Елизаветы, вспоминает войны, книги, крепости, интриги, опалы, семейные бури... И уж младший из зятьев, Адам Карлович Роткирх, запоминает или делает наброски на немецком языке для биографии славного Арапа... Чтобы 40 лет спустя последний из здравствующих его сыновей, отставной генерал Петр Ганнибал, вручил ту тетрадь курчавому внучатому племяннику и потребовал «выкуп».

«Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа».

Вот в какие рассуждения о наших героях мы углубились, в то время как «Полярная звезда» с четырьмя принцами рассекает воды Белого моря...

Осталось докончить и эту печальную историю.

В Петербурге сильно волновались, долго не получая известий насчет прибытия «Полярной звезды» на место,

воображали захват судна восставшими против Англии североамериканскими штатами. Оказалось, что противные ветры замедлили путь...

Наконец приходит долгожданное известие из Копенгагена.

Петр, Алексей, Екатерина, Елисавета поселяются в Горсенсе, окруженные заранее назначенным штатом. Получают от императрицы по 8 тысяч рублей в год и богатые подарки. Тетка, датская королева, решила, однако, не встречаться с племянниками, боясь огорчить «петербургскую сестру». За принцами и принцессами все время следят: русских путешественников к ним не допускают, датский городок глухой, четверо прибывших не знают языка. Вскоре русский посол в Копенгагене доложил своей императрице, что все та же неугомонная Елисавета жалуется (в письме к тетке), что «не пользуется свободой, потому что не может выходить со двора, сколько того желает, не делает то, что хочет». Королева Юлия-Мария отвечала, что «свобода не состоит в этом, и что она сама часто находится в подобном же положении».

23 ноября 1780 года королева-тетушка извещает Екатерину II, что принцы «пожалели о своих холмогорских лошадках и лугах и нашли, что они менее свободны и более стеснены в нынешнем положении».

«Вот как сильны привычки на этом свете, — отвечала Екатерина II на письмо датской королевы, — сожалеют иной раз даже и о Холмогорах».

20 октября 1782 года новый приступ душевной болезни уносит 39-летнюю Елисавету, самую живую из четырех, героиню бибиковского отчета, скорее всего ту, в которую генерал влюбился без памяти...

Траура не было. Через пять лет скончался «младший принц» Алексей Антонович. О двух оставшихся почти позабыли в грохоте войн и революций.

Принц Петр Антонович умер в 1798 году, за год до рождения Пушкина. Осталась одна принцесса Екатерина, больная, глухая... Уж нет на свете Екатерины II, убили Павла I; и тут, в 1802 году, 63-летняя Екатерина Антоновна пишет страшное, не очень грамотное письмо своему духовнику — трагический аккорд, завершающий всю эпопею: «Преподобнейший духовный отец Феофан! Што мне было в тысячу раз лючше было

жить в Холмогорах, нежели в Горсенсе. Што меня придворные датские не любят и часто оттого плакала... и я теперь горькие слезы проливаю, проклиная себя, что я давно не умерла».

Так жили они на родине — в тюрьме; а потом, на свободе, плакали по той тюрьме. Екатерина Антоновна умерла в апреле 1807 года; незадолго до смерти она на память нарисовала свое холмогорское жилище и сохранила до конца неведомо как доставшийся и спрятанный сувенир в виде серебряного рубля с изображением «императора Иоанна» — ее убитого брата.

* * *

Мы привели, пользуясь трудом В. В. Стасова, страшные подробности о Брауншвейгских принцах, — о чем мечтал Пушкин, но, конечно, так и не узнал во всем объеме. Снова и снова повторим, что, «если за Пушкиным пойти» — то есть последовать за его мыслью, поиском, намеком, — тогда обязательно открываются новые факты, материалы, образы.

Поэт как бы приоткрыл двери страшной секретнейшей сорокалетней тюрьмы, где томились дети — возможные соперники — и чьи же? Не кровавого, своевольного деспота, но просвещенной императрицы в просвещенное время...

Перед Пушкиным постоянно разворачивалась неумолимая логика государственной необходимости и вечное противоборство с нею личного, нравственного, художественного начала, того, о чем другой замечательный писатель напишет сто лет спустя: «Вот ты декламируешь передо мною о страданиях детей и ловишь меня на зевке. Но ведь речь твоя не ведет ни к чему. Ты говоришь — «при таком-то наводнении утонуло десять детей», — но я ничего не смыслю в арифметике и не запл*а*чу в два раза горше, если число пострадавших окажется в два раза больше. И, к тому же, с тех пор, как существует царство, умирали сотни тысяч детей, и это не мешало тебе быть счастливым и наслаждаться жизнью. Но я могу плакать над одним ребенком, если ты сможешь провести меня к нему по единственной настоящей тропе, и как через один цветок мне откроются цветы, так и через этого

ребенка я найду путь ко всем детям и запл*а*чу не только над страданиями всех детей, но и над муками всех людей» (Сент-Экзюпери).

Так завершается один обыкновенный исторический эпизод из российского осьмнадцатого столетия.





В этот день ничего особенного в российской земле не происходило: иное дело Франция, где совсем незадолго перед тем, 14 июля, взяли Бастилию, начали Великую революцию; во Франции каждый день что-то происходит... В России же 9 августа 1789 года один человек записал: «Я гибну от желания что-либо совершить!»

И поскольку этот человек довольно много «насовершал» и до, и после записи, то, как и в прежних главах, начнем издалека, по порядку.

Главная улица крупнейшего южного города и порта Одессы — Дерибасовская. Это знаменитая улица — такая же, как Невский проспект в Ленинграде, улица Горького (Тверская) в Москве, Крещатик в Киеве. Главные улицы главных городов страны.

Дерибасовскую улицу несколько раз переименовывали, но потом старое название возвращалось. И сегодня именно так называется главная, популярнейшая улица в Одессе, которая упоминается в сотнях романов, стихов, озорных песен, поговорок...

Меж тем, чтобы понять это название, надо рассказать об удивительных причудах географии и истории, которые бе-

рут начало еще в первой половине XVIII века. В то время, когда никакой Одессы еще не существовало, Российская империя не имела никакого выхода к Черному морю, а почтенный каталонский дворянин дон Мигуэль де Рибас и в самых фантастических снах вообразить не мог, что в честь его сына будет названа главная улица будущего города в дальней земле, на берегу дальнего моря!

Для того чтобы эти чудеса совершились, дону Мигуэлю пришлось сначала с Пиренейского полуострова перебраться на Апеннинский, вступить в неаполитанскую королевскую службу и достигнуть высокого звания директора в Министерстве морских и военных сил. Именно в Неаполе директор де Рибас встречает прекрасную шотландку, представительницу древнейшей фамилии Маргариту Плюнкет. Каталонско-неаполитанско-шотландская смесь, легко догадаться, будет весьма перспективной: 6 июня 1749 года в Неаполе появляется на свет новорожденный Иосиф де Рибас'и'Байон; затем — другие юные де Рибасы, Эммануил, Андрей и Феликс: всем им судьба стать знаменитыми гражданами той Одессы, которая, повторим, еще только через полвека появится на географической карте.

Точно не знаем, но догадываемся, что 20-летнему подпоручику неаполитанской гвардии Иосифу де Рибасу было скучно жить: воображение, размах, романтика требовали приключений, опасностей, авантюр. Появление в Средиземном море русской эскадры во главе с Алексеем Орловым произвело сильное впечатление на Иосифа, и не на него одного.

Главнокомандующий, тот самый, чей пьяный почерк мы разбирали в знаменитой записочке от 6 июля 1762 года — «Государыня, свершилась беда, мы были и он тоже...», — Алексей Орлов выполняет теперь другое ответственнейшее политическое поручение. По пути в турецкие воды его эскадра задерживается в итальянских портах. Граф встречает и посылает своих тайных агентов, широко сорит деньгами, вообще привлекает любопытство всего полуострова необыкновенной карьерой и наружностью (между прочим, на щеке его был огромный шрам, память об одной из потасовок в молодые годы).

Много лет спустя какой-то русский губернатор жаловался Орлову, что его обвиняют во взятках. «Вот-вот, —

воскликнул Орлов, — то же самое было со мною: в Италии распустили слух, будто я за бесценок скупаю и похищаю старинные памятники. И заметьте, мой друг, как только я перестал это делать, слухи сразу прекратились...» Но было в Италии и еще одно, может быть, самое важное дело. И кажется, именно в связи с ним произошла встреча всесильного русского деятеля с юным неаполитанским подпоручиком де Рибасом. В Италии в эту пору активно действовала некая юная красавица, бегло говорившая на нескольких языках и окруженная все возрастающей партией сторонников и поклонников. Она называла себя княжной Таракановой, дочерью покойной русской императрицы Елизаветы Петровны и внучкой великого императора Петра I. Точное ее происхождение не выяснено до сих пор, но почти нет сомнения, что она была самозванкой... Впрочем, ее права на русский престол выглядели почти столь же весомыми, как и царствующей императрицы Екатерины II, мелкой немецкой принцессы, взошедшей на трон через труп собственного мужа. Неслучайно в далеком Петербурге были напуганы появлением «дочери императрицы Елизаветы», и Орлов получил приказ во что бы то ни стало ее захватить.

Дальнейшие события хорошо известны по исследованиям русских историков и книгам нескольких беллетристов. Орлов познакомился с Таракановой и настолько успешно притворился влюбленным в нее, что вскоре была сыграна фиктивная свадьба с помощью некоего лица, переодетого в священника. Молодая «супруга» графа Орлова взошла на борт его корабля, уверенная, что теперь на ее стороне находится могучая военная и политическая сила в борьбе за русский престол. Однако же, как только эскадра вышла в море, несчастную Тараканову взяли под стражу и вскоре доставили в Петербург. Заключенная в крепость, она умерла вместе с появившимся на свет ребенком...

Именно в эту пору Иосиф де Рибас получил разрешение неаполитанского короля на переход в российскую морскую службу. Впрочем, некоторые специалисты оспаривают его участие в похищении Таракановой и утверждают, будто он сблизился с семьей Орловых по другой причине: успешно наблюдал за воспитанием, заграничным лечением, а затем возвращением в Петербург юного графа

Бобринского — сына императрицы и ее тайного мужа графа Григория Орлова...

Между интригами, секретными поручениями молодой Рибас действительно успел повоевать с турками на русских судах, зарекомендовал себя храбрым, распорядительным офицером — и в середине 1770-х годов мы видим его уже в Петербурге, в капитанском чине. Успех одного из Рибасов, как видно, вдохновляет его родственников и друзей, — вскоре в России оказываются три младших брата де Рибаса и еще некоторые неаполитанцы... Карьера старшего улучшается еще удачной женитьбой.

Одним из любимых министров, доверенных лиц императрицы Екатерины II, был Иван Иванович Бецкий. Происхождение этой фамилии было таково: знатный вельможа князь Трубецкой усыновил одного из своих незаконных детей, наградив его усеченной фамилией: не Трубецкой, а Бецкий (позже это вошло в обычай: побочный сын графа Репнина — Пнин и т. п.). В свою очередь Бецкий имел побочную дочь Настасью Ивановну (которая, впрочем, получила вымышленную, очевидно, фамилию Соколова): министр очень любил девочку, она была принята фрейлиной ко двору, но все же ей нелегко было рассчитывать на сколько-нибудь знатную партию. Женившись на ней, Рибас сразу приобрел новых мощных покровителей, получил вход во дворец — и весьма вовремя: звезда его прежних покровителей Орловых закатилась, на политической сцене появился новый фаворит — князь Потемкин. Рибас, однако, удержался... Он искал разные пути для выхода своему неаполитано-шотландскому темпераменту: для начала спроектировал грандиозный мост через Неву, однако в Академии наук нашли, что проект все же недостаточно разработан. Куда успешнее он действует на поприще военно-политическом, где его главнейшее оружие, его основная репутация — это хитрость. Для начала де Рибас, который теперь по-русски зовется Осипом Михайловичем, дает петербургским дипломатам ценные консультации насчет своего прежнего отечества (впрочем, неаполитанское подданство он сохранит до самой смерти)...

Граф Разумовский и другие

Весною 1787 года по степям близ северного берега Черного моря двигалась кавалькада итальянских офицеров, чиновников, дипломатов. Проводником был русский консул в Вене, тоже итальянец, Винченцо Музенга; главным человеком в той кавалькаде был представитель неаполитанского королевского двора маркиз Галло. После многих дней пути эта миссия достигает только что построенного русского порта Херсона в нижнем течении Днепра (как не упомянуть здесь, что одним из главных строителей города был Иван Абрамович Ганнибал, старший сын Абрама Петровича. Пушкин запишет о двоюродном дедушке: «Его постановления доныне уважаются в полуденном краю России, где в 1821 году видел я стариков, живо еще хранивших его память»).

Итак — Херсон... Город торжественно украшен, наполнен русскими офицерами, аристократами, дипломатами: царица Екатерина II, уже 25 лет занимающая русский трон, вместе со своим другом и союзником австрийским императором Иосифом II прибыла в только что присоединенные, отбитые у турок южные степи. Неаполитанские представители тотчас приглашены к царскому столу, гремит потемкинский оркестр под управлением знаменитого музыканта Сарти. Господин Галло награждается тремя тысячами золотых рублей и «бесценным кольцом с бриллиантом».

Впрочем, маркиз не очень понравился русским аристократам и западным дипломатам. Позже он станет первым министром своего короля, но все же именно Россия станет роковым рубежом его карьеры. 12 лет спустя он прибудет с чрезвычайной миссией к царю Павлу и опять не вызовет доверия у русских дипломатов: «Судите сами, — писал русский министр, — о глупости этого человека, который думает, что он живет во времена царей и считает себя, вероятно, своего рода Адамом Олеариусом или Тавернье: он сопроводил свой мемуар плохой картой Италии, говоря, что он делает это из опасения, что у нас ее нет».

Названы имена давних путешественников, с европейским гонором наблюдавших древнее русское царство (даже еще не империю: ведь первый император Петр Ве-

ликий). Времена же изменились — и ошибка неаполитанца стоила ему политической карьеры: его отзовут и сочтут несправившимся с делом. Но это будет потом... В 1787-м же году в Херсоне среди тех, кто принимает итальянских гостей (разумеется, на втором плане, за Екатериной и фаворитом), находится их старинный знакомец, в эту пору уже полковник Осип Михайлович де Рибас. О переговорах и разговорах он сообщает тут же в дружеском письме графу Андрею Кирилловичу Разумовскому за границу. За этой ситуацией прячется сложная и любопытная история, которую мы не в силах миновать, а для того временно вернемся из 1787 года на 11 лет в прошлое...

Как мы уже рассказывали в одной из прошлых глав, кружок наследника Павла вынашивал заговор, чтобы отстранить Екатерину II и возвести на престол «законного императора»; жена наследника, великая княгиня Наталья, умерла вследствие неудачных родов; Екатерина II вручила сыну копии любовных писем его лучшего друга к только что умершей принцессе. Лучшим другом был Андрей Разумовский...

Наследник действительно быстро пришел в себя вследствие нового шока, и его вскоре женят во второй раз — на Вюртембергской принцессе. Разумовский же был выслан из столицы, а затем получил довольно нелегкую должность — русского посла в Неаполе.

Неаполь первым из итальянских государств установил прямые отношения с Россией. Первый же посол, герцог Сан-Николо, очень понравился Екатерине II, во-первых, за то, что «говорил по-русски, как русский», и удачно переводил на итальянский язык русские стихи и прозу; и во-вторых (это главное!), неаполитанец сделался ближайшим другом генерала Ланского — очередного фаворита Екатерины II. Императрица писала, что Ланской, «уходя, запирает герцога Сан-Николо на ключ у себя в библиотеке с тем, чтобы по возвращении с ним видеться... Мне бы хотелось, чтобы неаполитанский двор не отзывал его отсюда».

Однако симпатизировавший России герцог очень плохо переносит суровый петербургский климат и все же добивается отставки. Важный посредник между двумя королевствами выбывает из дипломатической игры. Кто его

заменит? Как раз в эту пору опальный Андрей Разумовский прибывает в Италию...

Многие, и в первую очередь царица Екатерина, уверены, что в Неаполе молодой человек непременно «провалится». Ведь, по ироническому выражению Екатерины II, «король неаполитанский бурбонского дома и по французской бурбонской дудке со своими министрами пляшет, а сия дудка с российским голосом не ладит». Если вспомнить, что и в Испании правили Бурбоны, то шансов преодолеть антирусские настроения этой династии у молодого посла было как будто немного. Впрочем, в Петербурге его инструктировал хитрейший знаток неаполитанских и многих других дел господин де Рибас...

Разумовского встретили очень холодно в Неаполе, но вскоре он сумел всех очаровать: сделался закадычным другом и глуповатого короля Фердинанда, и (что было куда важнее) другом всемогущей королевы Каролины: дочь австрийской императрицы, сестра французской королевы Марии-Антуанетты, правительница Неаполя помыкала своим безвольным супругом, легко смещала и назначала министров, и вскоре выяснилось, что на этот раз новая недозволенная связь неотразимого графа с особой царствующего дома оказалась весьма выгодной для российских интересов. Расчет Екатерины II, что Разумовский не справится со своей задачей, оказался неверным. Царица была, в общем, довольна: Неаполь явно удалялся от Франции, был готов к сближению с Россией...

Меж тем в Петербурге появляется другой неаполитанский посол: умный, тонкий Антонио Мареско герцог Серра Каприола.

В ту пору медленных, нелегких путей послы и посланники менялись реже, чем теперь: герцог Серра Каприола с небольшими перерывами пробыл на своей должности около сорока лет. Он был другом России, нравился своим неизменным добродушием и веселостью, позже женился на русской аристократке княжне Вяземской. В справочных книжках тех лет частенько указывалось, что австрийский и другие знатные послы и дипломаты «имеют жительство в доме герцога Серра Каприола на Фонтанке». Об одном этом человеке можно было, вероятно, написать целую книгу. Позже в России ходили легенды, будто он увез с собою в Италию неопублико-

ванные стихи Пушкина, и этой подробностью интересовался в нашем веке Максим Горький...

Однако вернемся на время в Неаполь.

Успех Разумовского, конечно, не нравится испанским и французским Бурбонам. Они предпринимают контригру — и снова дипломата-любовника чуть не губят письма: испанский агент кардинал Лас-Казас получает копии с нескольких писем королевы к своему возлюбленному и передает их обманутому королю. Однако противники недооценили королеву Каролину: она так успешно перешла от обороны к наступлению, что король Фердинанд покарал «обидчиков» и осыпал Разумовского новыми милостями...

Вскоре еще один скандальный эпизод: наследник Павел, путешествуя по Европе, прибывает в Неаполь, где его, естественно, встречает русский посол — столь же ненавистный, сколь некогда любимый. Улучив момент, когда они остались наедине, Павел выхватывает шпагу и предлагает Разумовскому защищаться. Подоспели приближенные, схватка предотвращена. Но и это не побуждает Екатерину, не любившую своего сына, к каким-либо действиям против бравого посла.

Наконец, знатные, влиятельные особы «бурбонского мира» начинают умолять уже саму Екатерину II, чтобы Разумовский был переведен во избежание неслыханных скандалов и разоблачений. Сначала царица написала своему министру иностранных дел: «Передайте неаполитанскому королю, что граф Разумовский проказник, которого не нужно баловать, и что это я ему говорю, и вы увидите, что он будет доволен!»

Как видим, тон царицы вполне дружеский, даже поощряющий. Однако затем Екатерина II все же приказывает перевести графа в Данию, Швецию, а затем — на более высокую должность, послом в Вену!

Каролина Неаполитанская вне себя, она умоляет императрицу не отзывать посла, но — без удачи. Екатерина осторожна. К тому же отношения с Неаполем уже сложились: именно вследствие дипломатии Разумовского в 1787 году заключается русско-неаполитанский торговый договор и отправляется в путь миссия маркиза Галло, которую Екатерина II принимает в Херсоне; а любезный соотечественник де Рибас показывает итальянцам новые порты и укрепления на Черном море — места будущих


Александр
Васильевич
Суворов
О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев
и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу
похищали
КИНБУРНЪ
1 ОКТЯБРЯ
1787.

пристаней для торговых кораблей... В Россию плывут лимоны (использовавшиеся, впрочем, главным образом для дубления кожи), а также орехи, изюм, оливковое масло, кораллы, вино. Из России в Неаполь — древесина, железо, зерно, кожа, воск, икра.

Разумовский же и по пути в Вену, и в самой Вене привлекает внимание света новыми любовными приключениями, богатейшими домами, каретами и неслыханными долгами, которые многие годы платили за него русские императоры. Добавим, что он покровительствовал Бетховену, и композитор посвятил ему три квартета (использовав русскую тему, сообщенную графом); добавим, что родная сестра Разумовского, Наталья Кирилловна (по мужу Загряжская), была в близком родстве с женою Пушкина, который записал удивительные рассказы 90-летней старухи («Разговоры Загряжской»). Добавим, что и сам Андрей Разумовский дожил почти до 90 лет и скончался в 1836 году в Вене. Следуя за господином де Рибасом, мы отвлеклись. Меж тем сейчас пора снова отправиться на северный берег Черного моря...

Рождение Одессы

9 августа 1789 года: «Я гибну от желания что-либо совершить». И это после того, как Рибас очень удачно участвовал в переговорах с крымским ханом, которые завершились присоединением Крыма к России. Несколько лет Потемкин держал Рибаса в бездействии, подозревая — (и, кажется, не без основания) — в некоторых противозаконных авантюрно-плутовских действиях.

Но пройдет несколько месяцев — и Рибасу будет не до скуки. Осень 1789 года будет одной из удачнейших в его жизни. Сначала Рибас догадался поднять затопленные у Очакова легкие турецкие суда и тем очень усилил русский Черноморский флот. За это его назначили командиром авангарда в корпусе генерала Гудовича. Де Рибас тут же выбрал труднейший объект для атаки, причем столько же думал, как обмануть турок, сколько и о том, чтобы вся слава досталась ему — а для того надо было обойтись без помощи командира корпуса.

Укрепленный замок Хаджибей был почти недоступен с

суши (соединен с ней очень узким перешейком), а с моря прикрыт сильной турецкой эскадрой, готовой расстрелять любого противника, показавшегося на берегу. С небольшими силами и несколькими пушками Рибас ночью перебрался через перешеек и быстро кинулся на крепость, приставив к стене заранее приготовленные лестницы. Гарнизон и турецкий флот тотчас открыли огонь по лестницам, ослабив внимание к другому участку стены; между тем именно там неожиданно появились казаки, те самые. Недавно вместе с Рибасом они ловко завоевали укрепленный остров. В четверть часа крепость была захвачена, главнокомандующий Ахмет-паша взят в плен. Докладывая начальству об успехе, Рибас между прочим писал об одном из своих офицеров, капитане Трубникове: «Он был так непочтителен, что оставил меня внизу лестницы, чтобы показать мне, как он умеет лезть на штурм». Великий полководец Суворов был очень доволен операцией и говорил, что, если хитрому де Рибасу дать хороший полк, тот легко захватит и Константинополь. Вскоре вслед за тем Суворов осаждает неприступную, как считалось, крепость Измаил в устье Дуная. Меж тем де Рибас, вспомнив свое морское прошлое, организует целую гребную флотилию из захваченных или поднятых со дна турецких кораблей. Этот маленький флот вошел в Дунай и блокировал Измаил со стороны реки. Узнав про столь славные военные дела близ Черного моря, многие офицеры других стран записываются волонтерами в русскую армию, и особенно охотно — к Суворову и Рибасу. Между прочим, среди тех, кто несколько позже чуть не записался в русскую службу, был молодой офицер-корсиканец Наполеон Бонапарт!

Кто знает, как пошла бы мировая история, если бы этот человек стал полковником, генералом русской службы. Однако Наполеон отказался от своего намерения, узнав, что иностранцев берут в русскую армию чином ниже, чем на родине. Других же это не остановило. На одном корабле с неаполитанцем Рибасом оказался опытный голландец де Волан, французский генерал, участник войны за освобождение Америки Ланжерон, а также молодой герцог Ришелье, покинувший революционный Париж. Любопытно, что все четыре названных имени сыграют очень скоро важную роль в создании и укреплении новой «столицы русского Юга» — Одессы.

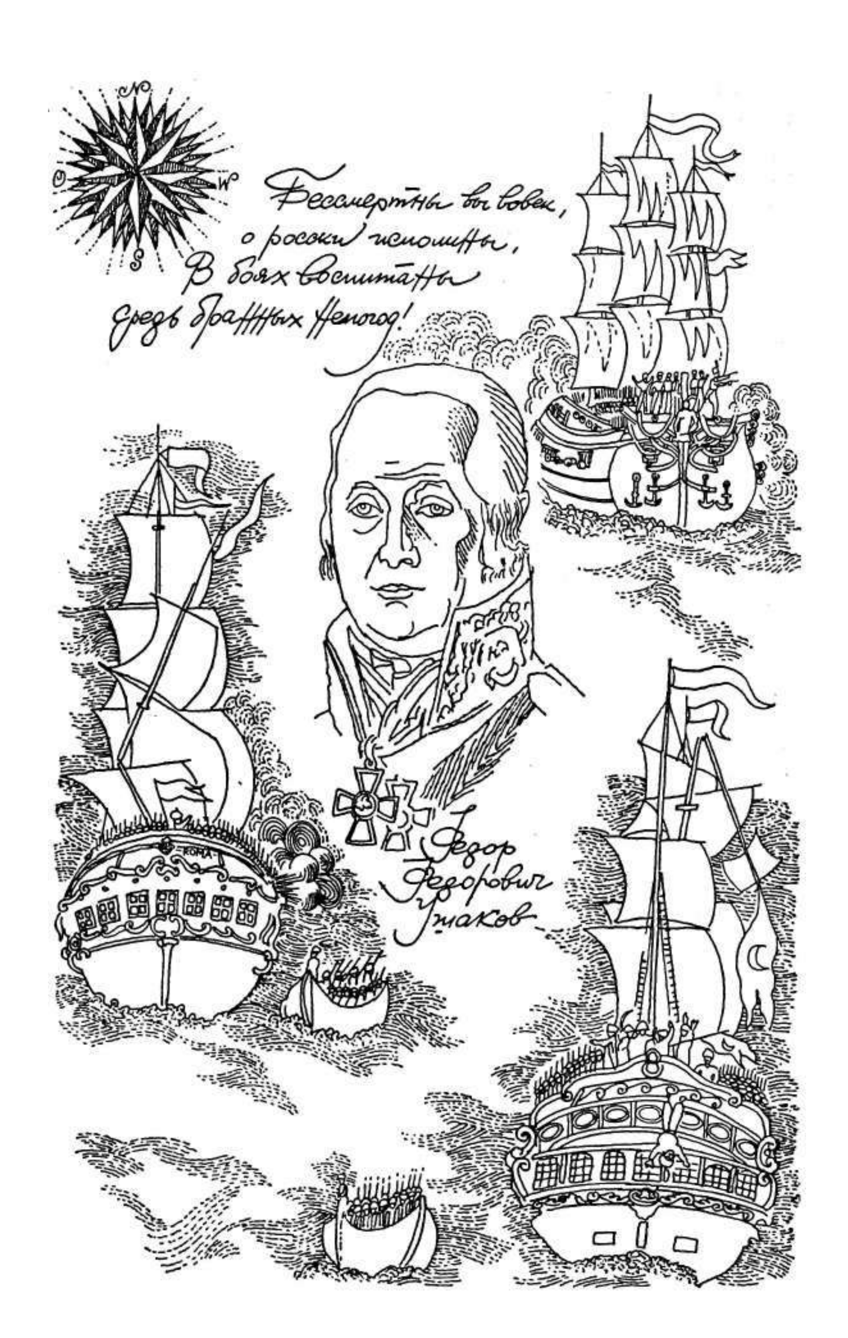
Пока же они блистательно отличаются при Измаиле, и Суворов специально просит о награждении Рибаса «как принявшего в штурме самое большое участие, который, присутствуя везде, где более надобности требовалось, и ободряя мужеством подчиненных, взял великое число в плен и представил отнятые у неприятеля 130 знамен».

Штурм Измаила, как известно, описал Байрон в своем «Дон Жуане»; Рибас же получил адмиральский чин, высокий орден и... 800 крепостных рабов: таков был обычный способ Екатерины II расплачиваться с отличившимися. Кстати, Эммануил де Рибас не уступал в храбрости брату Иосифу. Под Очаковом ему оторвало руку — сделали искусственную; и вот невероятное совпадение, столь же трагическое, сколь смешное: во время штурма Измаила турецкое ядро попадает в эту искусственную руку и отрывает ее!

Мир с турками, по которому весь северный берег Черного моря и Крым присоединялись к России, подписали несколько человек, и в том числе де Рибас.

Однако мало было завоевать, надо было закрепить этот край, создать новые города и порты. Было три проекта, где строить главный черноморский торговый порт, и наиболее разумным был признан план де Рибаса: построить новый город именно на месте недавно взятого им Хаджибейского замка! Судьба, удача неаполитанца как будто сосредоточились в одной точке пустынного в ту пору северного берега Черного моря. В начале 1792 года Екатерина написала соответствующий указ, а уже летом 1794 года архиепископ освятил город и порт Хаджибей, который, впрочем, тут же был переименован в честь древнегреческой колонии, находившейся в этом краю, в Одессу!

Главным начальником всего строительства был Суворов, но непосредственно новым городом занимался Рибас, который старался перенять все лучшее, что помнил в гаванях Неаполя, Ливорно и Генуи. И вот уже построена верфь, две пристани, две церкви, госпиталь... И вот уже пришли турецкие, греческие корабли с вином и фруктами, а первый корабль ушел в Неаполь... А здания для военного и гражданского начальства сооружаются как раз в том месте, где некогда ставили лестницу и брали в плен хаджибейского пашу и откуда начнется позже Дерибасовская улица.


Бессмертны вы вовек,
о росски исполины,
В боях воспитаны
средь бранных непогод!
Федор
Федорович
Ушаков

Обо всем этом и многом другом де Рибас извещает старинного приятеля, тоже «неаполитанца», Андрея Кирилловича Разумовского. Тот делится своими новостями: быть дипломатом в центре Европы очень не просто. Поручения и дела самые невероятные...

«Потемкину доложили однажды, что некто граф Морелли, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Потемкину захотелось его послушать: он приказал его выписать. Один из адъютантов отправился курьером в Италию, явился к графу Морелли, объявил ему приказ светлейшего и предложил тотчас садиться в его тележку и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился и послал к черту и Потемкина и курьера с его тележкою. Делать было нечего. Но как явиться к князю, не исполнив его приказания! Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедняка не без таланта, и легко уговорил его назваться графом Морелли и ехать в Россию. Его привезли и представили Потемкину, который остался доволен его игрою. Он принят был потом в службу под именем графа Морелли и дослужился до полковничьего чина».

Запись эта сделана Александром Пушкиным со слов престарелой родственницы, уже упоминавшейся Натальи Загряжской, урожденной Разумовской. Возможно, она в свою очередь услышала это от своего брата Андрея Разумовского, который и в качестве посла в Неаполе и в Вене выполнял подобные поручения. Между прочим, точно известно, что в 1791 году Потемкин попросил его позаботиться о приглашении на житье в Россию самого Моцарта. Смерть Потемкина и великого композитора в одном и том же году остановила дело...

Царствование Екатерины шло к концу. Еще «два дня», две главы из ее эпохи; с де Рибасом — еще встретимся.





Незадолго до кончины князь Михаил Михайлович Щербатов набросал «Письмо вельможам и правителям».

«Достигши до старости моих дней, и видя приближающуюся смерть, ни сила ваша, ни мнения не страшны мне становятся, ибо что вы можете у меня отнять? Остаток малого числа дней, из коих каждый обозначен новыми болезненными припадками, да хотя бы и сего не было, из юности своей привыкши рассуждать о состоянии смертных тварей по неизбежности от всяких несчастий, я и тогда уже душу мою удержал против ударов счастия».

Удары счастия — подобный образ, кажется, нелегко найти в русской литературе... Того счастия, что запечатлено на памятнике, воздвигнутом в церковной ограде села Михайловского близ Ярославля: «Здесь погребено тело князя Михайлы Михайловича Щербатова, сочинителя древней российской истории, сенатора, действительного тайного советника, действительного камергера и ордена святыя Анны кавалера. Родился 1733 года июля 22 дня, преставился в Москве 1790 года декабря 12 дня пополуночи в 3 часа, имея от рождения 57 лет 5 месяцев и 20 дней».

Кроме необычной точности в указании часа смерти и числа лет, месяцев и дней жизни (фамильная щербатовская черта), — кроме этого, все, как положено для людей этого круга; и все признаки того, что считалось у них высшим, редко достижимым благом: такие чины, должности, орден. Прибавим еще полторы тысячи душ, несколько десятков тысяч денежного капитала, полотняную фабрику и дом в Москве, напомним о древней знатности, не забудем о колоссальной библиотеке, состоявшей из 15 000 томов (не считая множества рукописей, «изобильного кабинета натуральных вещей»).

Кажется, хватит для нескольких счастливых биографий... Но из Петербурга при получении известий о кончине Щербатова уж несется предписание царицы московскому главнокомандующему Прозоровскому — «постараться купить библиотеку и собрание рукописей покойного». Наследники не смеют перечить, но притом хорошо знают, что многое показывать нельзя, а кое-чему князь-историк заранее «определил скрыться в моей фамилии». В конце концов значительная часть книжных богатств Щербатова была приобретена для Эрмитажной библиотеки; туда же было отправлено более половины рукописей из собрания историка (236 единиц из 450).

Итак, печально-презрительные строки «Вельможам и правителям» — и необходимость многое от этих самых правителей скрыть. Что за парадокс, если сам Щербатов, несомненно, один из них, вельможа и правитель? За внешним блеском биографии сокрыта тайна.

Приближенный византийского императора Юстиниана Прокопий Кесарийский написал в VI веке два исторических труда: официальную, льстивую историю своего повелителя и тайную, нелицеприятную, откровенную.

К потомкам дошли оба труда, и они не очень-то восхитились двоедушием историка, но все-таки отдали должное правдивой части его натуры (некоторые специалисты, впрочем, полагают, что «явная история» была искусной, замаскированной насмешкой над властителем).

Щербатову было что прятать, было кого опасаться... За полгода до его кончины на столе Екатерины II лежал экземпляр книги, только что вышедшей без имени автора. Название с виду обыкновенное: «Путешествие из Петер-

бурга в Москву». Многие в ту пору старались описать дорогу между двумя главными городами России. Сегодня от Ленинграда до Москвы поезд идет всего несколько часов, пассажиры едва успевают выспаться. В прежние же времена, до того, как проложили железную дорогу, из Петербурга в Москву добирались за трое суток, а если не торопились, то много дольше. Через каждые 25—30 верст на дороге стояла станция — маленький домик, где путешественник мог передохнуть, сменить лошадей.

От Петербурга до Москвы 650 верст, 25 станций.

В книге, которую открыла царица, было 25 глав: путешественник рассказывал, что он видел, кого встречал на каждой станции.

Проехала Екатерина Вторая по книжке несколько станций, то есть прочитала несколько глав, и насторожилась. Затем приказала обязательно узнать, кто эту книгу написал. И продолжила чтение.

Что встревожило царицу?

Время было жаркое. Посмотрел путешественник на часы: полдень только что миновал. День отдыха, воскресенье, но около дороги пашет крестьянин, хорошо пашет, старается, сразу видно: на себя работает, а не на барина.

— Бог в помощь, — сказал путешественник (то есть сам автор книги).

— Спасибо, барин, — ответил пахарь.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать? что ты и воскресенье не пропускаешь, да еще в самую жару?

— В неделе-то шесть дней, а мы шесть раз в неделю по приказу своего барина трудимся на господском поле. Да еще по вечерам возим из лесу сено на господский двор.

— Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки.

— Как же ты их кормишь, если только один день имеешь свободным?

— Не один день — еще ночь наша. Иначе с голоду умрем.

— Так ли хорошо ты работаешь на господина, как на своем поле?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать.

У него сто рук для одного рта, а у меня две руки — для семи ртов.

И тут царица наткнулась на строчки, которые позже, много лет спустя, станут очень знамениты:

«Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение».

Полиция по всему Петербургу ищет, кто посмел написать такую книгу.

Скоро узнали и во дворец донесли: автор — господин Радищев. Екатерина тут же вспомнила старого знакомого, который молодым пажом встречал ее и провожал, подавал еду, книги.

25 глав, 25 историй. В одной описывалось, как продавали крестьян, и «ужасный молот испускал тупой свой звук»: в большом зале для торговли специальный служитель должен громко стукнуть молотком в тот миг, когда совершается покупка... В другой главе — барин, кормящий мужиков, будто свиней, из корыта, и только один раз в день.

В третьей — плачут родители, жена, дети крестьянина, отданного в солдаты: служба его в армии продлится 25 лет... Только один крестьянин радуется, что будет солдатом: хозяин так над ним издевался, что четверть века маршировать, ружье носить — ему куда приятнее!

И вот еще одна станция, еще рассказ, может быть, самый страшный. Молодой крестьянин любил девушку, собирался жениться, но перед самой свадьбой сыновья помещика попытались отнять невесту. Парень не стерпел и крепко избил обидчиков. Явился барин, по его приказу начали молодого крестьянина немилосердно сечь — он все стерпел, ни разу не застонал, не вскрикнул. Тогда на его глазах принялись бить старого отца и снова попытались похитить невесту. Крестьянин стал вырываться. Тут собралась вся деревня. Мужики просили барина и его сыновей угомониться. В ответ помещик еще сильнее стал браниться и бил тростью кого попало. Наконец, крестьяне не вытерпели: схватили и убили своих мучителей.

Что же дальше?

Как ни просил некий добрый, благородный судья оправдать этих мужиков, все напрасно! И жениха, и невесту, и родню их, и почти всю деревню ожидали кнут и каторга.


ПУТЕШЕСТВІЕ
изъ
ПЕТЕРБУРГА ВЪ МОСКВУ.
„Чудище обло, озорно, огромно, стозѣвно, и лаяй„
Александр Николаевич Радищев
...что вслед Радищеву восславил я Свободу
и милосердие воспел

Ни царица, ни губернатор не пожелали простить «невинных убийц».

Екатерину II заинтересовало, в чем причина такого отношения помещика Радищева к другим помещикам?

Царица не могла найти удовлетворительного ответа и высказала предположение, что Радищев просто хочет прославиться, стать знаменитым писателем!

Она не могла понять, как это вдруг богатый, образованный человек, отец четверых детей пишет опасные, запретные вещи, да еще угрожает, называет «жестокосердными» самых важных людей страны?

Познакомившись с мыслью Радищева о желательном освобождении крестьян, Екатерина снова отвечает ему на полях: «Никто не послушает!»

Она перелистывает еще несколько страниц и уж приходит в страшную ярость.

«Уже время...»

Путешественник спит, и ему снится справедливый царь, который стремится к добру, не дает в обиду бедняков.

Проснулся автор и смеется над своим глупым сном. Разве бывал на свете хоть один царь, который бы добровольно уступил что-нибудь из своей власти, который заступился бы за крестьян перед вельможами и помещиками?

«Колокол ударяет. И се пагубы зверство разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие... Гибель возносится гор*е* постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время вознесши кому, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества возникши на побуждение нескольких ускорит его мах. Блюдитеся».

Таких строк царица Екатерина никогда не читала, она даже вообразить не могла, чтобы ее подданный осмелился такое написать! Разве только Емельян Пугачев?

Пугачев, однако, был мужик, неграмотный, а Ради-

щев — дворянин, грамотный. И царица гневно записывает: «Бунтовщик хуже Пугачева!»

У императрицы еще несколько версий, объясняющих поступок Радищева.

Во-первых, что он сумасшедший; во-вторых, было предположено, будто писатель сердится оттого, что прежде, когда был пажом, жил во дворце, а теперь его туда не пускают.

Издан приказ об аресте книги и аресте автора.

Пришли полицейские, велят Александру Николаевичу идти с ними. Дети остались совсем одни: мать незадолго перед тем потеряли.

Радищева посадили в крепость и вскоре объявили приговор: **смертная казнь!**

Каждое утро Радищев просыпался, думал, что начался последний день его жизни: вот-вот откроется дверь и прикажут идти к виселице или под топор. Однако царица все же не решилась казнить своего врага. Возможно, боялась сделать из него мученика и тем упрочить славу и память...

И вот осенним днем, в цепях, вывели узника из крепости, посадили в тюремную карету и объявили, что его отправляют в Сибирь сроком на десять лет. Ехать же до места ссылки 7000 верст.

«Путешествие из Петербурга в Москву» Екатерина II приказала отнимать, у кого бы оно ни нашлось, и тут же сжигать.

Зато отныне платили большие деньги, чтобы хоть полистать страшную книгу, которая так разгневала императрицу, и снять с нее копию. Сорок лет спустя Пушкин добыл себе экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» и отдал за него 200 рублей. Сейчас, 200 лет спустя, науке известно более сотни рукописных копий «Путешествия» и десятка полтора книжек...

Но это было после. А сейчас Радищева везут в Сибирь. По дороге с ним выехали проститься старенькие родители. Всего же добирался он от Петербурга до места своей ссылки больше года...

Щербатов умирает в Москве в то самое время, когда Радищева везут на восток... Судьба первого русского революционера страшна и печальна. Щербатов — совсем не революционер, сторонник старины, крепостного пра-

ва... Но зато он занимал такие высокие должности, так много знает, так презрительно относится к развращенным, бесчестным «верхам», что говорит вещи опасные, о которых если б царица знала, то уж приняла бы свои меры, как с Радищевым...

Еще на службе, а потом в отставке князь, кроме явных, регулярно выходящих томов древнерусской истории, готовил полускрытые от публики труды и материалы о Петре Великом, а вдобавок — историю *своего времени!*

Среди сохранившихся бумаг Щербатова, даже в тех манускриптах, что перешли потом в Эрмитажную библиотеку, попадаются любопытнейшие записи, фрагменты, анекдоты — живые бытовые черточки, детали, через которые неожиданно проступает потаенная, запретная «большая история».

Так, 27 августа 1769 года князь записывает по-французски: «Находясь в Царском селе, Ее Величество рассказала мне, что супруга царя Ивана Алеексеевича была столь недовольна своими дочерьми, принцессами Екатериной и Анной, что перед смертью прокляла их вместе со всем потомством до четвертого колена; <императрица Екатерина II> прибавила, что давно знала этот анекдот, но что о том же ей рассказала и графиня Анна Карловна Воронцова, что находилась тогда в Царском селе». На другой день, 29 августа 1769 года, Щербатов, продолжая свои записи, воспроизводит застольный рассказ графини Румянцевой о смерти своего деда Артамона Сергеевича Матвеева. «Петр Великий внезапно велел позвать ее посреди церемонии коронования императрицы Екатерины <I> — она приблизилась, император же стоял на четвертой ступеньке лестницы, именуемой Красной. Он сказал: «Именно здесь твой дед был схвачен стрельцами и сброшен вниз».

Эти мелкие с виду подробности и анекдоты довольно многозначительны; и сильнейшее детское воспоминание царя Петра, видевшего, как был кинут 15 мая 1682 года на стрелецкие копья боярин Матвеев; сообщение, записанное со слов М. А. Румянцевой (жены известного сподвижника Петра I Александра Румянцева и матери знаменитого фельдмаршала); и «тонко организованные» разговоры Екатерины II — о проклятии, будто бы наложенном на своих потомков женой Ивана V, старшего

брата Петра I: если четыре колена ее потомков тем самым приговорены к несчастьям, то это как бы снимает часть ответственности с Екатерины за злоключения Брауншвейгского семейства (внучки и правнуки Ивана V!).

Разумеется, самые острые сюжеты, особенно относящиеся к царствованию Екатерины II, не попали в «Эрмитажное собрание» и, подобно небольшим «спутникам», группируются, дополняют наиболее крупный, законченный, откровенный исторический труд, написанный за 3—4 года до смерти, в 1786—1787 годах.

«О повреждении нравов в России»

«Взирая на нынешнее состояние отечества моего, — начинает Щербатов, — с таковым оком, каковое может иметь человек, воспитанный по строгим древним правилам, у коего страсти уже летами в ослабление пришли, а довольное испытание подало потребное просвещение, дабы судить о вещах, не могу я не удивляться, в коль краткое время повредилися повсюдно нравы в России. В истину могу я сказать, что если, вступая позже других народов в путь просвещения, нам ничего не оставалось более, как благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов, — мы подлинно в людкости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей. Но тогда же гораздо с вящей скоростью бежали к повреждению наших нравов...»

«Отрицательные герои», «повреждатели» Щербатову видны ясно: из всего XVIII столетия с большим знанием он беспощадно и откровенно вытаскивает фигуру за фигурой, рисует портрет за портретом: честолюбец-грабитель Александр Меншиков, за ним другой временщик — Иван Долгорукий. Затем Бирон и его люди; при Елизавете Петровне князь Алексей Михайлович Черкасский — «человек весьма посредственной разумом своим, ленив, незнающ в делах и, одним словом, таскающий, а не носящий свое имя и гордящийся единым своим богатством, в угодность монархине со всем возможным великолепием жил; одежды его наносили ему тягость от злата и сребра

и блистанием ослепляли очи; екипажи его, к чему он и охоты не имел, окроме что лучшего вкусу, были выписаны из Франции, были наидрагоценнейшие; стол его великолепен, услуга многочисленна и житье его, одним словом, было таково, что не одиножды случалось, что нечаянно приехавшую к нему императрицу с немалым числом придворных он в вечернем кушанье, якобы изготовляясь, мог угощать».

Несколько страниц посвящено подробному разбору интриг, «честолюбивых затей», вреда, причиненного «сим чудовищем», одним из любимцев Елизаветы, графом Петром Ивановичем Шуваловым.

Затем подробно перечислены деяния всех фаворитов Екатерины II.

Сверх того сохранились никогда не публиковавшиеся щербатовские записки-характеристики нескольких видных деятелей екатерининской администрации — восьми членов Военного совета (сделанные, очевидно, между 1775 и 1777 годами). Непросто оценить, где историк объективен, а где пристрастен; однако обо всех названных лицах он судит, конечно, с немалым знанием — находясь в одной с ними службе и примерно в одних рангах.

«Граф Кирилла Григорьевич Разумовский. Рожденный украинским казаком и случаем брата своего, графа Алексея Григорьевича Разумовского, возведен на вышнюю ступень достоинства и богатства. Он был гетманом и яко обладателем той страны, где прежде пас скотину. Но некоторые обстоятельства принудили правительство склонить его сложить с себя чин гетманский с такими выгодами, что он кроме власти своей в Малороссии ничего не потерял. Невзирая на подлость его рождения, сей муж имеет довольно разума и просвещения, но разум его так леностью и беспечностью его затушен, что хотя по причине той, что он, быв сильным счастием нигде не служа возведен, — и неможно требовать от него, яко от упражняющегося в делах человека, какова тонкого знания в делах, то он и здравый рассудок и то малое сведение о делах, которое он имеет, ленится к существенной пользе употребить.

Генерал-аншеф князь Александр Михайлович Голицын. Тихой и скромной его обычай делает почитать в нем более достоинства, нежели в нем


О ПОВРЕЖДЕНІИ НРАВОВЪ
ВЪ
РОССІИ
КНЯЗЯ М. ЩЕРБАТОВА
Михаил Михайлович Щербатов
И устарела старина,
И старым бредит новизна

действительно есть, а приветливость его делает любимым, хотя ни великого генерала, ни проницательного министра, ни доброго друга в нем сыскать не можно. Впрочем, он всегда предан сильной стороне двора, и от искания своего тщится счастие и спокойствие свое получить.

Граф Никита Иванович Панин. Человек тихой <зачеркнуто: благонадежной>, щедрой и человеколюбивой, хотя блистательного и быстрого разума не имеет, однако не лишен здравого рассудку; медленность его в делах делает многие затруднения, а неумеренная привязанность его к тем, кого он любит, часто затмевает в нем самую любовь к отечеству. Впрочем, он в мыслях своих довольно тверд, и, хотя тихими и медлительными стопами, но часто до предмета своего достигает. Неприятель графов Орловых, которые тогда были временщиками у двора, и, упираясь на мочь, которую ему давало пребывание его гофмейстером при великом князе <Павле>, злобу неприятелей он своих презирал.

Граф Захар Григорьевич Чернышев. Сей муж еще жил сперва при дворе и по обращениям двора был выпущен в полковники; он вступил в новое течение службы, показал большое прилежание и искусство, что уже тогда полк его Санктпетербургский лучшим почитался, по сем, быв уже в чине генеральском в Прусской войне, везде его проворство и проницание оказывались. Подлинного про сего мужа можно сказать, что он исполнен проворства, пронырливости, ума и честолюбия. Толико трудолюбив и скор ко всякому исполнению в своем кабинете, коль приятен и весел в обществе; честолюбие его, и самое деспотическое правление, под которым он живет, принуждают его стараться быть всегда нужным и поэтому разные проекты вымышлять, которые по малому знанию его внутри России и по поспешности мыслей, по большей части неосновательны бывают; но и сии ошибки искусен он исправлять. Впрочем, он всегда старается быть друг тем, кто сильнее у двора, с тем, однако, чтоб и самого того низвергнуть, когда случай будет.

Граф Петр Иванович Панин. Человек, имеющий довольную остроту в разуме, но не токмо не просвещенный, а паче невежеством наполненный; он честен и тверд по гордости, велеречив по горячности, а часто

бывает несправедлив по предубеждению, к которому он часто, так же как и брат его Никита Иванович, подвергнут бывает. Он охуляет и без закрышки все поступки двора, за что им и нелюбим, ненавидит временщиков за то, что они выше его, но если честолюбие его требует, то несколько преклоняется. Довольное знание имеет о внутреннем состоянии России, но что касается до военного искусства, то, хотя он и с честию служил в Прусскую войну, однако же, не можно сказать, чтобы до таких познаний оныя и испытания изрядный вождь. Однако со всеми его пороками можно сказать про него, что он имеет доброе сердце и любит свое отечество.

Генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский. ...Быв другом графам Орловым, посажен был в должность генерала-прокурора в Сенат. Быв в сей должности, он за главные себе правила принял следующие: 1) ни в чем не противуречить государю; 2) признаваться, что ничего не знает сам, но все делает просвещением и наставлением государыни; 3) уверять ее ежечасно, что к ней одной, и что любовь его к ее особе есть чрезмерна; 4) искать самых малейших прибылей и о оных изъясняться государю, невзирая, что может статься в других местах самыми сими прибылями великие суммы терялись. Сие учинило, что государыня, почитая его вернейшим своим слугою и яко произведение ее, по самолюбию своему везде стала его подкреплять, а при том и таким человеком, который не токмо может сохранять государственные доходы, но и преумножать их. Впрочем, можно о нем сказать, что он, хотя ничего блистательного в разуме своем не имеет, однако не лишен здравого рассудка, знающий по должности своей о многих частях государства, хотя несправедливые часто воображении о том имеет, и что, наконец, в некоторых случаях заменяет его то трудолюбием своим, что в потребе разума ему недостает».

Так представлены в бумагах Щербатова главные персоны империи. Таковы его симпатии и антипатии...

Обличения, однако, не останавливаются на вельможном уровне — идут выше!

Цари

Щербатов ввел в свое сочинение ряд «крамольных свидетельств», которые (по официальным понятиям) «умаляли память», лично задевали по меньшей мере восемь самодержцев, начиная от Петра I; казнь царевича Алексея, «пышность и сластолюбие» двора Екатерины I и Петра II, государственные перевороты — здесь представлен целый курс тайной политической истории России.

После описания краткого царствования и гибели Петра III следует уничтожающая характеристика екатерининского времени, заставляющая вспомнить пушкинские слова (написанные через 35 лет): «Развратная государыня развратила свое государство».

«Хотя при поздних летах ее возрасту, — пишет о царице Щербатов, — хотя седины уже покрывают ее голову и время нерушимыми чертами означило старость на челе ее, но еще не уменьшается в ней любострастие. Уже чувствует она, что тех приятностей, каковыя младость имеет, любовники ее в ней находить не могут, и что ни награждение, ни сила, ни корысть не может над любовниками произвести. Стараясь закрывать ущерб, летами приключенный, от простоты своего одеяния остыла и, хотя в молодости и не любила златотканых одеяний, хотя осуждала императрицу Елисавету Петровну, что довольно великий оставила гардероб, чтоб целое воинство одеть, сама стала ко изобретений приличных платьев и к богатому их украшению страсть свою оказывать; а сим не токмо женам, но и мужчинам подала случай к таковому же роскошу».

«Совесть моя свидетельствует мне, — восклицает в заключение историк, — что все как ни черны мои повести, но они не пристрастны, и единая истина, и разврат, в которой впали все отечества моего подданные, от коего оно стонет, принудил меня оные на бумагу предложить».

Задаваясь вопросом, какая выгода Екатерине II и другим правителям поощрять дворян к роскоши и «повреждению нравов», Щербатов тут же отвечает: «Случилось, что <Юлию Цезарю> доносили нечто на Антония и на Долабелу, яко бы он их должен опасаться; отвечал, что он сих, в широких и покойных одеждах ходящих людей, любящих свои удовольствия и роскошь, никогда стра-

шиться причины иметь не может. Но сии люди, продолжал он, которые о великолепности, ни о спокойствии одежд не *радят*, — сии, кто роскошь презирают и малое почти за лишнее считают, каковы суть Брутус и Кассий, ему опасны, в рассуждении намерений его лишить вольности римский народ. Не ошибся он в сем; ибо подлинно сии его тридцати тремя ударами <кинжала> издыхающей вольности пожертвовали. И тако самый сей пример и показует нам, что не в роскоши и сластолюбии издыхающая римская вольность обрела себе защищение, но в строгости нравов и в умеренности».

Развратным, поврежденным нравам государей и вельмож противопоставлен ряд «честных мужей».

«Князь Симской-Хабаров, быв принуждаем уступить место Малюте Скуратову, с твердостию отрекся, и когда царем Иоанном Васильевичем осужден был за сие на смерть, последнюю милость себе просил, чтоб прежде его два сына его были умерщвлены, яко, быв люди молодые, ради страха гонения и смерти чего недостойного роду своему не учинили».

Далее Щербатов рассказывает о своем деде, который «не устрашился у разгневанного государя Петра Великого, по царевичу делу, за родственника своего, ведомого на казнь, прощения просить»; престарелый дед требовал, чтобы, если не будет милости, и его казнить вместе с *родичем*, — и Петр смягчился. Наконец, историк утверждал (хотя ему и тогда и после многие не поверили), будто Борис Петрович Шереметев не устрашился «гневу государева» и не подписал смертного приговора царевичу Алексею, говоря, что «он рожден служить своему государю, а не кровь его судить». Князь же Яков Федорович Долгорукий «многия дела, государем подписанные, останавливал, давая ему справедливые советы»; Петр, конечно, сердился, но уважал смелого сановника. «Сии *были*, — восклицает *Щербатов*, — остатки древнего воспитания и древнего правления».

Из современников он выделяет немногих, например «честных мужей» графов Паниных. В своем сочинении князь не открывает всех своих политических и нравственных мечтаний, однако они вычисляются довольно отчетливо.

Щербатов — убежденный крепостник, но решительно

возражающий против разорения крестьян вследствие разгорающихся дворянских аппетитов.

В «Повреждении нравов...» представлен некий вымышленный государь, обладающий разнообразными старинными добродетелями и имеющий «довольно великодушия и любви к отечеству, чтобы составить и предать основательные права государству, и — довольно твердый, чтобы их исполнять». «Основательные права» — это знакомые читателю этой книги слова: ведь именно об этом писали в ту пору Денис Фонвизин и братья Панины, желая ограничить самодержавие в пользу дворянства.

Праправнук историка, известный литературовед Д. И. Шаховской подсчитал разные «неудовольствия» своего прапрадеда: оказалось, что в трудах своих Щербатов три раза высказывает неудовольствие самой системой правления, пять раз — законами, пятьдесят раз — монархом, семь раз — правительством, десять раз — вельможами; всего — «семьдесят пять неудовольствий».

Прежде чем расстаться с этим деятелем, странным даже среди оригиналов XVIII столетия, сделаем еще два наблюдения.

Во-первых, Щербатов постоянно сам себе противоречит; обрушиваясь, например, на Анну Иоанновну и ее двор, он вдруг замечает, что их пороки происходят от малограмотности, «старинного воспитания»: только что историк восхвалял старину, и вот оказывается, что именно в ней еще один источник повреждения нравов!

В другом месте Щербатов бросает многозначительную реплику: «нужная, но, может быть, излишняя перемена Петром Великим».

Он не может быть непросвещенным врагом нового, князь Михайло Михайлович: 15 000 книг, пять иностранных языков... Разоблачив пагубное, по его мнению, петровское развращение, он вдруг вычисляет, что подобные же преобразования, если бы совершались постепенно, заняли бы двести лет, и тут восклицает: «Могу ли я после сего дерзнуть какие хулы на сего монарха изречи? Могу ли данное мне им просвещение, как некоторой изменник похищенное оружие противу давшего мне во вред ему обратить?»

Итак, противоречия, несогласованности... Однако полагаем, что здесь не слабость, а сила мыслителя, не име-

ющего пока законченной системы, но говорящего честно, не «подгоняющего ответ» задачи, а выставляющего живые противоречия живой жизни.

Честный, сомневающийся историк — вот первая черта. А вторая — трагедия этого человека.

В тиши своего кабинета, в потаенных семейных бумагах, он запирает, скрывает (и надолго!) свои резкие слова и странные, «не к веку», мысли...

А между тем статьи, записки, отдельные отрывки о своем времени — это ведь самые лучшие сочинения Щербатова; кстати, по форме и языку — значительно превосходящие его весьма тяжеловесные «легальные труды».

«Утешило меня письмо Ваше, — пишет он однажды приятелю, — ибо всегда приятно есть терпящему человеку видеть соучастников терпения своего».

«Соучастников терпения» почти совсем не было. Презирая развратный двор, не находя общего языка с большинством просвещенных современников, Щербатов смотрит на будущее почти безнадежно, о себе же пишет стихи:

Поверженный в печаль, в слезах тяжко рыдая,
К единым к вам теперь я мысли обращаю,
О книги, вс*е*гдашняя пищ*а* души моей...

Он не замечает прекрасной новой российской молодежи, главного «результата» столетнего просвещения; он не поймет того, что сделал Радищев, не угадает будущих веселых, свободных деятелей 1812 года, декабристской, пушкинской эпохи...

Рукопись «О повреждении нравов...» и ряд подобных были спрятаны от «злого глаза»; Екатерина подозревала своего бывшего историографа, но его потаенные труды, казалось, исчезли вместе с ним.

Времена были то суровее, то мягче; а мятежные рукописи и книги ожидали своего часа...

Новый царь Павел I разрешил Радищеву вернуться, но не в столицу, а в деревню около Москвы. Хотя известие о царской милости пришло зимой, в самую лютую сибирскую стужу, Радищев не стал дожидаться более мягкой погоды: очень уж не терпелось вернуться на свободу.

И вот он помчался на запад, через тайгу, замерзшие реки, скорее, скорее...

Простудилась в дороге и умерла вторая жена Радищева, разделившая с ним сибирское заточение.

Когда же помилованный «государственный преступник» приехал в подмосковную деревню, оказалось, что свободы совсем мало. Выезжать из деревни нельзя, писать новые статьи и книги опасно. На службу не примут.

И тут Радищев впервые почувствовал, что устал и не знает, что делать. Даже читать хотелось уже не так сильно, как прежде.

Однажды к нему в дом вошли двое военных. Радищев решил, что это кто-то из охраны, постоянно за ним следящей. Не успел, однако, разглядеть гостей, как они тихо позвали: «Отец!» Александр Николаевич, оказывается, не узнал старших сыновей. За то время, что они не виделись, мальчики превратились в офицеров.

Прошло еще четыре года, и Радищеву вдруг передали, что он может вернуться в Петербург. На трон вступил новый царь Александр I, внук Екатерины II.

Радищева попросили вернуться на службу, участвовать в подготовляемых реформах.

Александр Николаевич был уже болен, волосы седые, говорить и писать ему нелегко...

К тому же он скоро узнал, что одним из его начальников назначен бывший фаворит Екатерины II граф Завадовский, который в 1790 году участвовал в суде над Радищевым.

Разве сам Радищев не написал когда-то в своей книге, что ни «помещик жестокосердый», ни один царь добровольно не уступит и малой части своей власти?

Помнил все, но не смог удержаться, не смог отказаться — и начал опять давать советы о том, как улучшить жизнь крестьян, обновить государственное управление, — в общем, как «осчастливить Россию».

— Эх, Александр Николаевич, — сказал ему граф Завадовский, — никак не уймешься, опять за свое!

Радищев расстроился. Он решил, что его, возможно, снова посадят в тюрьму за смелые идеи. Но второй раз идти в ссылку у него уже не было сил.

Дома Радищев спросил своих близких:

— Ну, что вы скажете, детушки, если меня опять сошлют в Сибирь?

Потом, говорят, прибавил:

— Потомство за меня отомстит.

Оставшись один, он принял яду.

Дети прибежали, вызвали придворного врача, но было уже поздно. Вскоре Радищева не стало.

Так окончилась жизнь Александра Николаевича Радищева. Врач, который пытался его спасти, печально произнес: «Видно, что этот человек был очень несчастлив».

Меж тем копии с запрещенной книги Радищева продолжали расходиться по стране.

Рукопись же князя Щербатова «О повреждении нравов...» сохранялась у детей, потом у внуков князя-историка.

Жизнь потомков складывалась так, что сочинению, задевавшему восемь царей, лучше было не выходить наружу... Сначала — 1812 год, когда в московском пожаре сгорели тысячи драгоценных книг и манускриптов — в том числе «Слово о полку Игореве»: бумаги Щербатова уцелели чудом, на некоторых все же — следы огня... Затем суровые гонения двух царей: как видим, вольный дух в этом семействе был силен и неистребим... Один внук, умный, веселый Иван Щербатов, арестован и сослан на Кавказ; он был близок к декабристам, пытался заступиться за униженных, несчастных солдат. С Кавказа Щербатов-внук не вернется... Его родная сестра, Наталья Щербатова, выйдет замуж за молодого, пылкого офицера-декабриста Федора Шаховского; несколько лет счастливой жизни, двое детей — а затем арест, ссылка мужа, его душевная болезнь, гибель...

Третий внук, сын одной из дочерей М. М. Щербатова, Михаил Спиридов, тоже декабрист, приговоренный к смерти, помилованный каторгой и умерший в Сибири...

Наконец, четвертый внук (сын другой дочери князя-историка) — знаменитый деятель русской мысли, Петр Яковлевич Чаадаев, которого Николай I велел объявить сумасшедшим за опасный образ мыслей...

Дети Радищева побаивались говорить о запретном сочинении отца, об его ссылке и самоубийстве. Внуки Щербатова молчали об архиве деда.

Только через 60 с лишним лет после смерти Щербатова историк М. П. Заблоцкий-Десятовский обнаруживает в архиве семьи Шаховских (прямых потомков Щербатова) важные неопубликованные бумаги предка.

17 мая 1858 года он писал Наталье Шаховской, вдове декабриста и внучке историка: «Вы приводите слова Гегеля, что мысль не пропадает. Да, как это справедливо, и надо признать, есть что-то таинственное в этой непропаже мысли, высказанной с убеждением, сердцем честным и правдивым ... Отчего, например, не пропали, не сгнили (к чему они были уже так готовы) произведения Вашего деда, и отчего судьба натолкнула именно меня, — человека, так горячо сочувствующего ему в самых лучших, благородных его стремлениях, страждущего тем же, чем страдает он, — горячим сознанием нашего ничтожества, дисгармонии нашего механизма; болезненным раздражением при виде всякого насилия? Неужели все это случай, простой, капризный, слепой случай!»

В результате ряд никогда не публиковавшихся работ Щербатова появляется в российской легальной печати — все больше статьи по экономическим, финансовым делам; разумеется, главный труд — «О повреждении нравов...» — под запретом.

Но вот 15 апреля 1858 года вольная газета Герцена и Огарева «Колокол» извещает из Лондона: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из Екатерининского века) с предисловием Искандера» (то есть Герцена). 15 июля того же года сообщалось о поступлении книги в продажу.

Итак, через 68 лет после ареста, запрета «Путешествия из Петербурга в Москву» книга ожила, вышла на свободу.

Через 68 лет после кончины Щербатова, печалившегося о «повреждении нравов», его потаенная рукопись (кем-то присланная из России) превращалась в книгу...

Идея соединить в одном томе двух столь разных деятелей — горячего революционера Радищева и благородного ценителя старины Щербатова, — идея, конечно, принадлежала самому Герцену. И вот какими словами «Искандер» приветствовал две тени далекого XVIII столетия:

«Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен

Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противуположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смотрит в ту дверь, в которую взошел Петр I, и за нею видит чинную, чванную Русь московскую, скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом.

А. Радищев — смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века... Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Щербатов; разумеется, его идеалы были так же высоко в небе, как идеалы Щербатова — глубоко в могиле; но это наши мечты, мечты декабристов».

В книге о прошлых веках легко переноситься через 20, 50, 68 лет... Но как долго, как бесконечно долго было в жизни. Радостно глядит 1858-й на далекий 1790-й...

В том, 1790-м, медленно везут в Сибирь Радищева; глубоко прячутся тетради Щербатова...





«Тамбовского наместничества в Кирсановской округе в селе Никольском. Его высокородию господину бригадиру милостивому государю моему Сергею Михайловичу Лунину от тайного советника Никиты Артамоновича Муравьева и гвардии капитана Михаила Никитича Муравьева из Петербурга.

Dearest childe! You did afford me the greatest pleasure by addressing me some lines in a language in which you can be by far my master [1].

Я вижу в этом доказательство твоей дружбы ко мне... Благоволящий к тебе дедушка Никита Артамонович заверяет тебя, равно как и твоих брата и сестру, в своих самых теплых чувствах. Мишенька доказывает, что он любит Папиньку и помнит Маминьку, исполняя должность свою и стараясь сделаться добрым и способным человеком. Никитушка со временем будет догонять своего большого братца, а Катинька вырастет велика, чтоб иметь в них двух друзей, нежных и постоянных...»

[1] «Милое дитя! Ты доставил мне величайшее удовольствие, адресовав ко мне несколько строк на том языке, которому ты мог бы меня обучать» (*англ.*).

Автор письма — один из просвещеннейших людей своего времени, писатель, историк Михаил Никитич Муравьев. Из Петербурга его послание будет недели через две доставлено в Тамбовскую глушь, где живут его четыре близких родственника: двое младших (Никитушка, Катинька) за малолетством еще не сумеют прочитать, зато как обрадуются двое старших: тридцатипятилетний отставной бригадир Сергей Лунин и пятилетний Михаил Сергеевич, уже пишущий по-английски, но еще нуждающийся в русском букваре.

Письмо петербургского дядюшки, можно сказать, «переполнено» роднею, да какою! Упоминаются Иван Матвеевич и Захар Матвеевич Муравьевы — друг другу родные братья, автору же письма — двоюродные... Там, в столице, они, оказывается, все съехались на семейное событие, и престарелый Никита Артамонович Муравьев (отец Михайлы Никитича и дедушка пятилетнего «английского дворянина») крестит еще одного Муравьева, пополняющего славный «муравейник», — Матвея Ивановича.

А через пять с небольшим месяцев из столицы в «Тамбовское наместничество» прибудет еще одно похожее известие:

«Дни три назад у Захара Матвеевича родился сын и назван по имени дедушки Артамоном, который дядюшке и братцам и сестрицам рекомендуется. Батюшка изволил крестить...»

Итак, в письмах много — о младенцах.

1. О Матвее Ивановиче Муравьеве (позже он получит фамилию Муравьев-Апостол).

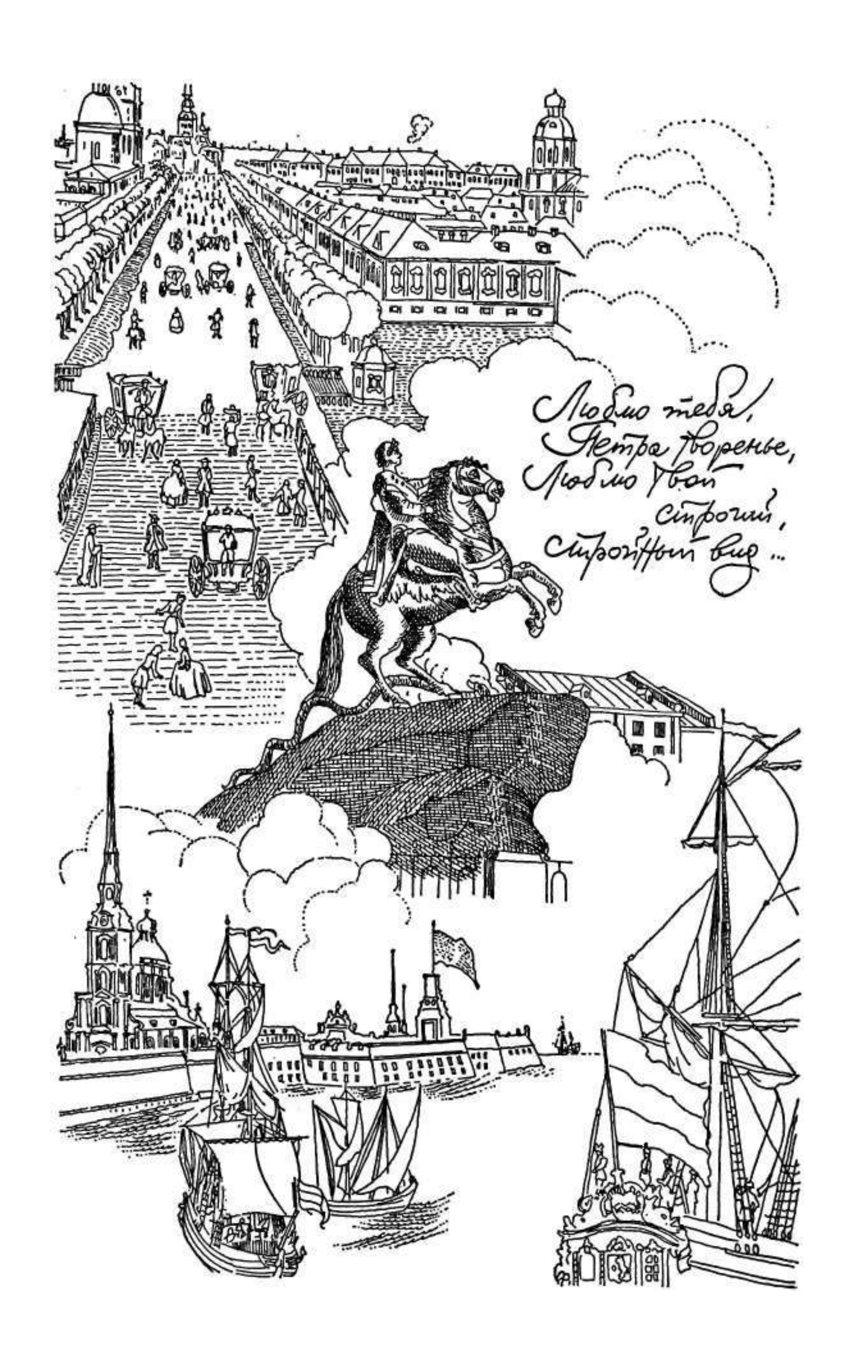
2. Об Артамоне Захаровиче Муравьеве.

3. О Михаиле Сергеевиче Лунине...

Через два года у Ивана Матвеевича родится еще сын Сергей Муравьев-Апостол; три года спустя у Михаила Никитича родился свой сынок — Никита Михайлович Муравьев...

Все — будущие декабристы! Семеро из одного «муравейника»; не считая более отдаленной родни.

Эти замечательные мальчишки появляются на последних листках в огромной пачке писем, исполненных свободным «екатерининским» почерком Михаила Никитича Муравьева и старинной скорописью папаши Никиты


Люблю тебя,
Петра творенье,
Люблю твой
строгий,
стройный вид...

Артамоновича, писем, что хранятся теперь в Отделе письменных источников Исторического музея в Москве.

Однако не будем торопиться... Не станем спешить к границе XIX столетия — того века, где этим мальчикам суждено совершать главные свои подвиги...

По давней уже нашей привычке вернемся к началу той переписки, чтобы не торопясь снова достигнуть нашей даты, апреля 1793 года...

Отступим назад лет на 16—17, когда гвардии капитан Муравьев был еще сержантом; когда еще здравствовали некоторые любезные ему люди, которые до 1793-го не доживут...

«Милостивому государю батюшке, действительному статскому советнику и Тверского наместничества Палаты гражданских дел Председателю Никите Артамоновичу Его превосходительству Муравьеву в Твери от сержанта Михайлы Муравьева из Петербурга.

Милостивый государь батюшка Никита Артамонович! Получил письмо Ваше через Ивана Петровича Чаадаева, к Вам же в Тверь отправляется Николай Михайлович Лунин. Сейчас иду я к нему с письмами, прельщен случаем моего знакомства...

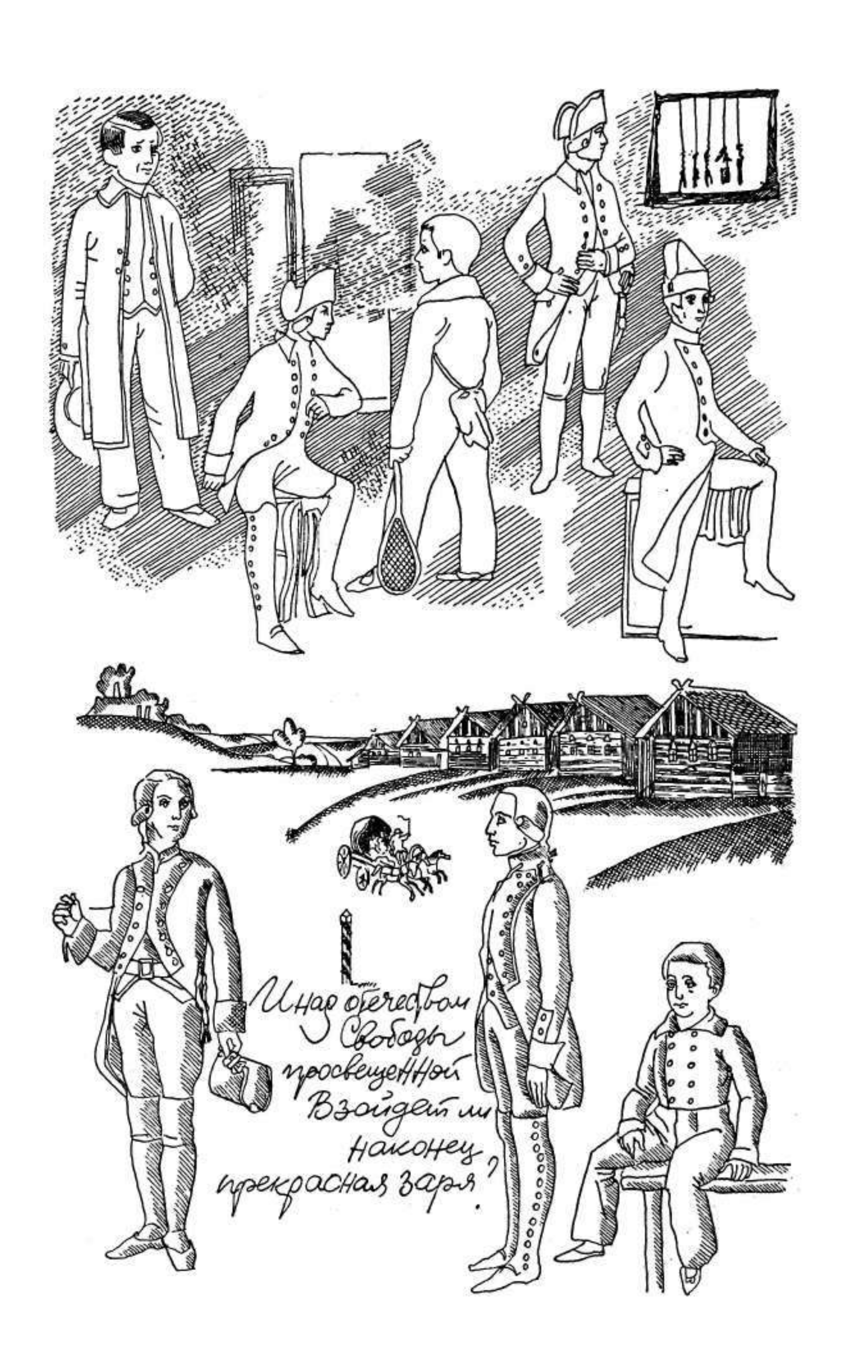
Матушка сестрица Федосья Никитишна! Где ты? Я вить право не знаю — здравствуй же, Фешинька, где ты ни есть — письмо без «здравствуй» все равно, что ученье ружейное без «слушай!». Желаю тебе здоровья, это пуще всего, а после — веселья, что с здоровьем всегда не худо. У нас, сударыня, были веселья, маскерады. Съезжались в театре в харях и сарафанах и представили французские актеры трех султанш... То-то хорошо, сестрица. В городе намедни и великолепные балеты: один предлинный новый дансер господин Лефевр выступает как журавль. В академии прошли диоптрику...

Eh bien. Comment ca va?.. Et mon cher vieillard ce nouveau marquis m-r de Voltaire, s'accoutume-t-il aux façons de Tver? Et son confrère m-r Marmontel aussi? Je leur souhaiterai la barbe... [1]

В Париже ныне мущины убираются в две пукли в ряд

---

[1] Ну ладно. Как поживаете? И мой милый старичок, новый маркиз господин Вольтер, обжился ли в Твери? Так же, как его собрат господин Мармонтель? Желаю им обрасти бородою... (*франц.*).


И над отечеством
Свободы
просвещенной
Взойдет ли
наконец
прекрасная заря?

над ухом, а третья, как женщины носят, висячую за ухом. Это постоянные, а щеголи — по восьми на стороне...

Нынешнее число срок векселя Елизаветы Абрамовны: прежде Ганнибалы хотели к ней писать, а нынче они и все разъехались, большой — к своей команде, а Осип Абрамович — в отставку, теперь поехал в Суйду...

Из Устреки на сих днях приходил Данила Дмитриев и принес оброку 37 рублей 10 копеек. К Яковлеву пригнана целая лодка крестьян на продажу...

А я тебе скажу, что сделалось со мной,
Заехал я в театр с Гараской за спиной,
Я вышел, мальчик мой подъехал близ другова
И стал: вдруг скачет паж: ты чей? Я Муравьева.
Кто барин твой? Сержант. Которого полку?
Измайловской — так, так, я тотчас побегу.
Туда, сюда, назад, я был у господина,
Он был без места там, я ложу дал ему,
Он свесть меня велел к местечку вон тому —
Скок в сани, вожжи взял, и ну! Ступай, скотина...

Я разъезжаю в карете и сыплю деньги полными руками... Голова моя вскружена на том, чтоб быть стихотворцем, но лень. Лень учиться и чувствовать. Должно ли истратить чувствительность, прилепляясь к минутным ощущениям? Из пути нашей жизни выбирать единые терния и проходить розы, не насладясь ими? Добродетели, вера, философия, природа, дружество, науки — сколько утешений!..

Вы изволите мне оказать свое удовольствие, что я по-итальянски морокую, а я того к вам не писал, что я купил Тасса и дал две монеты...

Сказывают, что государыня пожаловала 50 тысяч рублей Григорию Григорьевичу Орлову... Недавно видел я стихи г. Рубана к Семену Гавриловичу Зоричу, за которые получил от государыни золотую табакерку с пятьюстами червонных. Не можно вообразить подлее лести и глупее стихов его. Со всякого стиха надобно разорваться от смеху и негодования...

Вчера был и братец Иван Матвеевич, и дядюшка Матвей Артамонович, и Захар Матвеевич, так Муравьевых был целый муравейник...

Имею честь поздравить с общею радостью нашего отечества, с рождением сына Александра великому князю позавчера 12 декабря в три четверти одиннадцатого поутру.

Уверьтесь, батюшка и сестрица, что я счастлив вашим спокойствием и удовольствием. Я здоров, спокоен и празден...»

Пачки и тетради писем! Веселые годы, счастливые дни, 1776, 1777-й...

Больше 20-ти лет пройдет, прежде чем беззаботный гвардии сержант и сочинитель Михайла Никитич Муравьев станет отцом декабристов Никиты (позже — и Александра), а юной тверской сестрице Федосье Никитичне (Фешиньке) еще 10 лет не быть матерью Михаила Сергеевича Лунина. Совсем еще зеленые кузены Иван Матвеевич и Захар Матвеевич скоро выйдут в офицеры, и не скоро, но в свое время, «для батюшек царей народят богатырей».

Все будет, но ничего этого и никого из этих еще нет. И пока еще Яковлевы, предки Герцена, пригоняют лодку крестьян для продажи, Иван Петрович Чаадаев и Николай Михайлович Лунин не подозревают, сколь примечательные они дяди, а Осип Абрамович Ганнибал отнюдь не ощущает себя знаменитейшим из дедов...

Вольтер и «ступай, скотина», Торквато Тассо и «хари», 37 рублей оброку и «академия с диоптрикой», просвещение и старина соединяются, разъединяются, сталкиваются и отталкиваются, образуя пестрые ситуации, характеры, стиль...

Постепенно, не торопясь сходят со сцены деды Михаила Муравьева, которые про Торквато Тассо еще слабо «морокали» и диоптрику изучали из-под петровской дубинки.

Екатерине служат способнейшие. Ее орлам прощаются все пороки, кроме одного — бездарности. Отсюда победы и блеск... Михаил Никитич Муравьев «разрывается от смеху», читая панегирик Зоричу, очередному фавориту царицы, но сам служит этой царице охотно и хорошо, а через несколько лет займет высокие должности. Когда батюшку Никиту Артамоновича сделают сенатором и тайным советником, сын поздравит: «Будучи сенатором, Вы будете тем наслаждаться, что более получите способов нам

добро делать». Дяди Лунина только что отличились при подавлении Пугачева. Вельможа-поэт Державин восхищен: ему «и знать, и мыслить позволяют!..».

Но когда пройдет век Екатерины и «дней Александровых прекрасное начало», тогда *лучшие люди* и власть разойдутся.

Будущие Михаилы Никитичи со своей просвещенной чувствительностью либо в деревнях отсидятся, либо запротестуют; а в министры и сенаторы пойдет сосед, обладающий всеми достоинствами, кроме таланта.

Разумеется, без Гараски за спиной и оброка из Устреки не смотрел бы гвардии сержант, как выступает журавлем дансер Лефевр. Допетровская «толстобрюхая старина», понятно, обходилась мужикам дешевле, чем «пукли над ухом» и «три султанши», так же как боярин с бородою был понятнее барина в парике.

Но история забавляется противоположностями, и без Муравьевых, которые просвещаются, никогда бы не явились Муравьевы, «которых вешают».

Но продолжаем перелистывать двухсотлетние письма.

«Матушка сестрица! Я было позабыл сказать «здравствуй»: письма без з д р а в с т в у й все равно, что учение ружейное без с л у ш а й!

У нас какой-то Лолли, славный музыкант, изображающий на скрипке всякую всячину. Прощай, Ванька не хочет прежде чаю дать, покуда письма не кончу...

Когда я увижу свою Фешиньку? Увижу большую и дай бог увидеть такую.

Теперь-то грамоту пишу к тебе, как видишь,
О ты, которая писулек ненавидишь...

Нет ничего лучше, как ездить, а особливо в гости, а пуще к кому хочешь...

Я, слава богу, здоров и весел, а особливо потому, что <актер> Дмитревский хвалил мою трагедию...»

В Тверь из столицы отправляются «зеркала, баночка с анчоусами, и посуда, и бочки с сахаром, и железная кровать».

Сержант же Михаил Никитич едет в Москву — послушать лекции в университете; бурно восхищается знаменитыми писателями: Сумароков! Херасков!

Привыкший к прямым петербургским проспектам, он жалуется на улицы и переулки «с кривулинами»; при том — пытается пристроить и перевод, сделанный сестрою: «Будь весела и не столько чувствительна. Или будь. Я не должен тебя учить».

А затем — большой, на несколько лет, перерыв в письмах: брат и сестра оказались в одном городе, Петербурге, ибо папашу, Никиту Артамоновича, перевели в столицу. Они в одном городе — и незачем переписываться.

Постоянная переписка возобновляется только 10 лет спустя.

На этот раз из Петербурга — в Тамбовскую губернию.

«1788 года сентября 25.

Мы нетерпеливо желаем слышать о благополучном приезде вашем во свояси... На вашем месте я бы имел случай наслаждаться спокойствием и сном и возвратился бы в город гораздо толще, чем поехал...

Поцелуем мысленно наших сельских дворянина и дворянку, их Алексашу и Мишу, пожелаем им здоровья, веселья, теплых хором, мягкой постели, добросердечного товарища, наварных щей и полные житницы».

Михаил Никитич за десять лет из сержантов вышел в капитаны, из вольного слушателя и читателя — в одного из воспитателей царицыных внуков, Александра и Константина. Фешинька же стала Федосьей Никитичной Луниной, родила Сашеньку (вскоре умершего) и Мишеньку.

Осенью 1788-го Лунины пустились в двухнедельный путь из столицы к тамбовским имениям. Отец и брат беспокоятся за «помещицу Лунину», она опять на сносях, и 30 марта 1789-го уж поздравляют «с Никитушкой».

Мы возвращаемся к тем временам, с которых началась эта глава.

Михаил Муравьев из Петербурга — Луниным в Никольское.

«Я разделял отсюда ваши сельские забавы, путешествие в Земляное, обед на крыльце у почтенного старосты и радостные труды земледелия, которыми забавлялся помещик... Воображаю — маленькие на подушках или по полу, или по софе. Мишенька что-нибудь лепечет: сладкие слова, папенька и маменька. Никитушка учится ходить,

валяется. У Сережи в голове ищут, Фешинька speaks English[1].

Все мои надежды на мисс Жефрис, и я опасаюсь, чтоб Мишенька не стал говорить прежде матушки и прежде дядюшки, который довольно косноязычен... Читаются ли английские книги, мучат ли вас «th» и стечения согласных, выговаривает ли Мишенька «God bless you»[2]. Английские Книги (Стерн, Филдинг etc.) идут к вам в Тамбов очень долго. Неужто тамбовские клячи не хотят быть обременяемы английскою литературою из национальной гордости?

О вашем Мишеньке я давно просил уже Николая Ивановича <Салтыкова>, и он обещал. Я надеюсь скоро прислать к вам паспорт... <Речь идет о зачислении в гвардейский полк. Однако больше об этом в письмах ничего нет, и заочные чины юному Лунину не пошли.>

Александра Федоровича Муравьева убили крестьяне...

Город теперь занят удивительной переменою, происходящей во Франции. 7 июля там было восстание [3] целого вооруженного мещанства при приближении войск, которыми король или Совет его хотели воспрепятствовать установлению вольности. Бастилия срыта. Король на ратуше должен был все подписать, что требовалось народным собранием...

В Царском селе праздники по случаю побед над шведом. Наши знамена взвиваются на струях дунайских, Василию Яковлевичу Чичагову пожалованы голубая лента [4] и 1400 душ. Теперь владычество морей принадлежит России, как мне владычество сна и чепухи... Мы видим победителей и градобрателей, и они воздыхают по счастливому преимуществу ничего не делать...

Я желаю мира, но это так стыдно, что иной подумает, что я трус...

Третьего дня представляли в Ермитаже «Правление Олега», великолепнейшее позорище [5]: 700 актеров, то есть большая часть солдат Преображенских... На маскараде

---

[1] Говорит по-английски (*англ.*).
[2] Благослови вас господь (*англ.*).
[3] М. Н. Муравьев ошибается: не 7-го, а 14-го июля (3-го по старому стилю).
[4] Самый высокий русский орден Андрея Первозванного.
[5] То есть зрелище.

танцевал я со старшей Голицыной, известной в Париже «Venus en colère»[1]. Вчера — на аглинском балу, позавчера — именины до смерти, сегодня мы обедали в Красном кабачке, и, может быть, письмо сие иметь будет некоторый остаток впечатления, которое обед сей произвел над нами... В театре сегодня надеюсь увидеть трагедию «Pierre le cruel»[2]. Счастливые люди, которых занимают такие бредни, — скажет Сергей Михайлович. — Гаврила Романович Державин кланяется вам. Вы знаете, сколь живое участие он в вас приемлет... Коновницын послан наместником в Архангельск, Лопухин — в Вологду, Каховский — в Пензу, Кутузов — в Казань, Рылеев — в здешние губернаторы. Державин, Храповицкий, Васильев, Вяземский — в сенаторы...

А Мишенька и Никитушка — на палочках верхом...

В Швецию отправляется послом Игельштром, и сказывают, что король пожаловал его графом и кавалером Серафима [3]. Вы видите, что для всякого возраста есть игрушки. Каждый имеет свою палочку, на которой верхом ездит... Будьте очень богаты, чтобы я вам помог проживаться. Я научу играть в карты Михайлу Сергеевича и влюбляться Никитушку...»

«Быть очень богатым и проживаться» отставной бригадир Сергей Михайлович Лунин умел. Покойный отец его Михаил Купреянович (в честь которого назван внук) начал карьеру при Петре I и, ни разу не ошибившись, отслужил восьми царям: был адъютантом Бирона, а потом — у врага Бирона принца Антона Брауншвейгского; Петр III крестил его старшего сына, а Екатерина II утвердила тайным советником, сенатором и президентом Вотчинной коллегии. От такой службы Михаил Купреянович сделался «человеком достаточным» даже по понятиям графа Шереметева, который и обладателей 5000 душ называл мелкопоместными, «удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить». За Сергеем Михайловичем Луниным, младшим из пяти сыновей, осталось более 900 крестьянских душ в тамбовских

---

[1] «Гневная Венера» (*франц.*). Эта Голицына — пушкинская «Пиковая дама».

[2] «Пьер жестокий» (*франц.*).

[3] Шведский орден.

и саратовских имениях да еще 1135 рязанских душ, впоследствии, как видно, «прожитых».

Даже в канцелярских документах главный центр тамбовских вотчин выглядит поэтически: «сельцо Сергиевское (бывшее Никольское), речки Ржавки на правой стороне при большой дороге. Церковь чудотворца Николая, дом деревянный господский с плодовым садом...»

Михаил Никитич Муравьев в принятой сентиментальной манере завидует «прелестям сельским и семейственным», презирая праздную негу горожанина, однако сам не торопится в свои немалые деревни и вовсе не столь празден, как изображает: серьезно занимается словесностью, много делает для просвещения, несколько позже станет умным и полезным попечителем Московского университета, затем — товарищем (то есть заместителем) министра просвещения.

Спокойная уверенность, что в общем все идет на лад, что должно делать свое дело и со временем просвещение и нравственность преодолеют рабство и невежество... «Военный гром» несколько утомляет его, по просвещенным понятиям — мир и благоденствие дороже; но что ж поделаешь: издержки просвещения, детские палочки á 1a Мишенька и Никитушка... Правда, «крестьяне убили Александра Федоровича», но для Муравьева — это горькое, досадное исключение. Ведь просвещенный человек может и должен жить в согласии с крепостными, как это, наверное, у милых Луниных. Даже парижские известия не слишком смущают Михаила Никитича. Он широко смотрит... Впрочем, с не меньшим, кажется, спокойствием воспринято известие об осуждении Радищева; среди людей, приговоривших к смерти за «Путешествие из Петербурга в Москву», — сенатор и тайный советник Никита Артамонович Муравьев...

В Париже 14 июля 1789-го чернь штурмует Бастилию — на берегу Ржавки Миша Лунин гарцует на палочке и учит первые английские слова. Какая связь? Что общего, кроме цепи времен? Ведь «Радищев, 14 июля» для тамбовских кущ — это рано и неразумно: «Разве все то, что предписывает разум, не есть живое повеление вышнего существа и наша должность? Можно делать милости, садить, строить, кушать хорошо и лучше спать».

Счастливое время, которого немного осталось: жить в

согласии с самим собою, с властью и благородными идеалами. Счастливое время, когда выбор так прост: просвещенная добродетель или безнравственное невежество...

И вдруг на исходе столетия просвещение как будто расщепляется: ждать или торопить, способствовать или ломать, «садить и строить, чтоб хорошо кушать и спать», — или мятеж, гильотина, «страшись, помещик жестокосердый!..».

Прежде чем Михаил Никитич понял, что Робеспьер и Радищев тоже начинали с просвещения, но не пожелали ждать, об этом догадалась Екатерина II и вслед Радищеву отправила за решетку просветителя Новикова.

А Мишенька и Никитушка всё скачут на палочках, и «скоро живописная гора в деревне вашей опять покроется ковром зелени».

27 марта 1791 года дядя и дед Муравьевы «усерднейше поздравляют» Луниных с новорожденной Катинькой.

По-прежнему французские бури почти не колышут идиллические листки, которые с еженедельной почтой отправляются из столицы в село Никольское, Сергиевское тож, и обратно.

Михаил Никитич, уж полковник, продолжает уроки с великими князьями и читает Дон Кихота по-гишпански («дурачество без греха»), благодарит за гостинцы из деревни, доволен, что в тамбовской глухомани сумели привить всем детям оспу (сам*о*й царице привили, а Людовик XV не решился и непросвещенно от оспы помер).

И вдруг, преодолев «лень и праздность», столичный Муравьев отправляется через шесть губерний и целых девять дней гостит у сестры и племянников.

Последняя сохранившаяся тетрадь писем Муравьевых к Луниным начинается с впечатлений о встрече, случившейся у нового, 1792 года.

«Вспоминаю счастливое, как сон, путешествие. Сколько бы мне хотелось знать, что вы теперь делаете! Вспоминаете ли меня моею русскою пляскою и подозрительною нечувствительностью к прекрасному полу, которого я весьма пристрастный почитатель?

Сергей Михайлович любил бы меня еще более, ежели бы мои красноречивые предики[1] могли поселить в сердце

---

[1] Предсказания, увещевания.

моей и его Фешиньки постоянное желание быть великодушною, менее чувствительною к необходимым скукам жизни... Я буду воображать ваше катание под гору и посещение оранжереи. Я буду мыкаться, по вашей милости, на сером коне... Менее окружен торжествами деспот Азии, нежели я был угощен в Никольском. Я нашел у вас благополучие, спокойствие, здоровье... Эсквайер Никольский, маленький джентльмен Мишенька, рассказывает так же мастерски «his little tales of wolves»[1]? Никитушка так же пляшет и приговаривает Катиньку, которая должна неотменно бегать?..»

Мальчик, пишущий дяде по-английски, кажется, во всем молодец. Много лет спустя он будет на свой образец наставлять другого мальчика, другого Мишу, Михаила Волконского, сына декабриста: «Нужно, чтобы Миша умел бегать, прыгать через рвы, взбираться на стены и лазать на деревья, обращаться с оружием, ездить верхом и т. д. и т. д. Не тревожьтесь из-за ушибов и ранений, которые он может получать время от времени, — они неизбежны и проходят бесследно. Хорошее время года должно быть почти исключительно посвящено этим упражнениям. Они дают здоровье и телесную силу, без которых человек не более как мокрая курица... Нравственность педагога не должна производить на вас впечатление. У меня был такой преподаватель философии — швед Кирульф, который позже был повешен у себя на родине, — конечно, нравственная сторона есть первенствующее качество, но ее можно приобрести в любое время и без знаний, но для умственного развития и приобретения положительного знания существуют только одни годы. Добродетели у нас есть, но у нас не хватает знания... В мире почти столько же университетов и школ, сколько и постоялых дворов. И тем не менее мир наполнен невеждами и педантами...»

Остров благополучия среди разгулявшейся на закате столетия истории.

Все еще одинокий Михаил Муравьев не может скрыть сильной склонности к «маленькому джентльмену» Михаилу Лунину и просвещенно наставляет сестру, видимо заскучавшую в глуши: «Ежели вы живете в деревне, так

[1] «Его маленькие сказки о волках» (*англ.*).

это с пользою. Вы управляете счастливыми земледельцами, их прилежанием и щедростью земли. Вы распространяете ваши экономические планы, чтоб накопить, с чем послать на службу старшего эсквайера и ко двору младшего, с чем выдать мисс Китти и прочее...»

Затем в тетради длинный — почти на год — перерыв, а 10 декабря 1792 года письмо от петербургских Муравьевых обращено только к Лунину-отцу и детям.

Дед Никита Артамонович приписывает от себя строки утешения почерком все более дрожащим и неразборчивым: его дочь Фешинька, Федосья Никитична Лунина, умерла. Так разрушилась идиллия: трое детей (старший — пятилетний Миша) остаются без матери, отец хворает, письма из Тамбова невеселы.

Из столицы пробуют растормошить, ободрить приунывшего Никольского барина: ищут учителей и «русские литеры» для Миши, щедро угощают светскими, семейными, политическими новостями жаркого 1793 года.

Вот мы и вернулись к 28 апреля 1793 года, с которого начали; вот уж и сошлись вчерашние, сегодняшние, завтрашние поколения. Но долистаем «муравьевские письма», углубимся в утешительные строки 1793 года.

«В столице в честь новых присоединенных от Польши губерний — награды, чины, ордена, жареные быки и фонтаны вина для народа, балы, маскерады, фейерверк...

По случаю бракосочетания великого князя Александра Павловича подряд праздники у больших бар в честь новобрачных: вчера у Безбородки, завтра у Самойлова, потом у Строгановых, Нарышкиных. Я даю уроки русского языка молодой великой княгине Елисавете Алексеевне».

27 октября 1793 года: «Сказывают, что королева французская последовала судьбе супруга своего. Сии мрачные привилегии должны служить утешением тем, которые опечаливаются своей неизвестностью и счастливы без сияния. Менее зависти, более благополучия. Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?.. Веселья придворные прерваны трауром по королеве французской».

На этом кончается пятилетняя переписка петербургских Муравьевых с тамбовскими Луниными. На одном

конце действующие лица не переменились, на другом — две жизни начались и одна угасла. Кажется, зимой с 1793 на 1794 год бригадир Лунин с тремя детьми отправляется в столицу — подлечиться и рассеяться.

Путешествия

Сергей Михайлович Лунин, Михаил Никитич Муравьев, Иван Матвеевич и Захар Матвеевич Муравьевы — сейчас их время; они служат, путешествуют, уже рассчитывая будущие успехи, чины и должности своих малолетних детишек.

Впрочем, грозные армии великой революции иногда приводят и молодых беспечных отцов к мысли — что надо бы готовиться.

Что, если придут якобинцы, уравняют в правах бар и мужиков: как же прокормиться? И тогда будущий знаменитый генерал Раевский берется за переплетное дело; учится ремеслам и завтрашний генерал Ермолов: явится в Россию европейская революция — не пропадут, отыщут средства к существованию.

Но вот чего не могли вообразить ни Раевский, ни все Муравьевы: что не из Парижа, а из их же собственных домов; не от сыновей Франции — а от их собственных детей начнется русская революция...

И ни в каком пророческом сне не дано отцам увидеть, как через 30 лет затянется петля на шее Сергея Муравьева-Апостола, второго сына Ивана Матвеевича Муравьева; как погибнет третий и на 30 лет уйдет в Сибирь старший — Матвей, тот самый, кого крестили апрельским днем 1793 года...

Но Матвей, по крайней мере, вернется из Сибири, доживет до глубочайшей старости, до 1886 года.

Но сложат головы, лягут в сибирскую землю дети генералов, тайных советников, сенаторов: Михаил Лунин, Никита, Артамон Муравьевы...

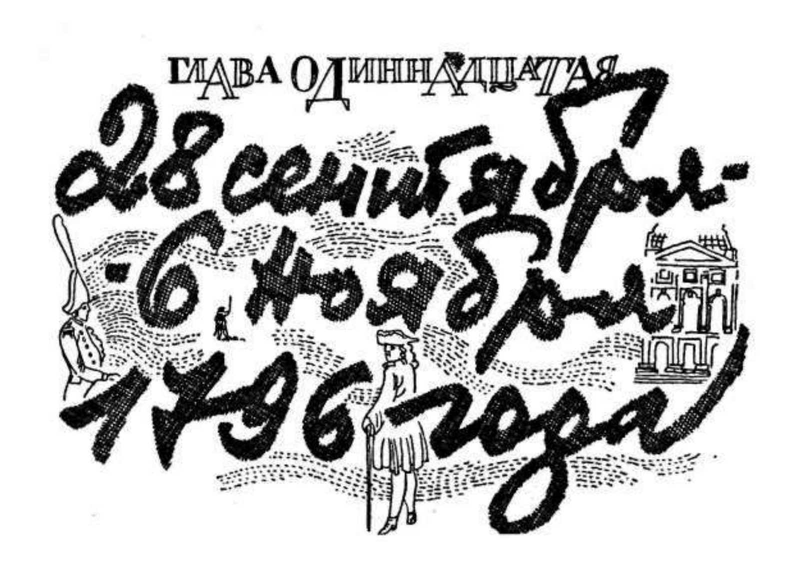
«Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода неприятеля?» — эта надпись украшала двери Якобинского клуба.

Громадные армии французской революции шагают по

дорогам Европы; одинокий помещичий возок ползет между тамбовскою Ржавкою и Невой: трагическое пересечение двух кривых — не скоро, но неизбежно.

Бесполезно тонет в шкатулке для старых писем заклинание дядюшки: «Что спокойнее ваших полей и сельских удовольствий?»





Газета — тетрадка, маленькая, плотная, 11 листов, 22 страницы. Под двуглавым орлом заголовок «Санкт-Петербургские ведомости № 78. Пятница сентября 26 дня 1796 года». Во вторник сентября 30-го дня вышел номер 79-й. Наше, 28 сентября, стало *быть*, — воскресенье: газета не выходила. Но как раз ко вторнику поспели известия, что «28-го утром в столице в полдень было +9, вечером +6, ветер юго-западный, встречный, облачное небо, сильный дождь, гром и молния».

Запомним редчайшую в столь позднее время грозу (по новому стилю ведь 9 октября!), она еще появится в нашем рассказе.

Гроза, непогода «над омраченным Петроградом»... Разумеется, без труда узнаем, что в тот день солнце поднялось в северной столице без пяти минут семь, а зашло в 5 часов 15 минут. И ту же позднюю осень заметим вдруг в объявлении о том, что «на Мойке супротив Новой Голландии, под № 576 дома, продаются поздние и ранние гиаценты» (именно так — гиаценты); а на Выборгской — «прованс-розаны, букет-розаны и в придачу к ним божье дерево».

Но Петербургу некогда заниматься обозрением восходов, «гиацентов» и «букет-розанов». В ту осень несколько сот рабочих роют землю и жгут костры, начиная стройку лет на семь: Военно-медицинскую академию, Публичную библиотеку. Город — молодой, меньше века, жителей в четыре-пять раз меньше, чем в Лондоне, Париже, и они еще не совсем привыкли к памятнику основателя города. Впрочем, майор Массон, француз на русской службе, недоволен утесом-пьедесталом, ибо из-за него «царь, который бы должен созерцать свою империю еще более обширной, чем он замышлял, едва может увидеть первые этажи соседних домов».

Однако Николай Карамзин, готовящий в это время к печати «Письма русского путешественника», думает совсем иначе: «При сем случае скажу, что мысль поставить статую Петра Великого на диком камне, есть для меня прекрасная, несравненная мысль, ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором она была до времени своего преобразования».

Правда, в той же книге с похвалой рассказывается и о совсем другом монументе: «В жестокую зиму 1788 года французский народ, благодарный королю, пожертвовавшему дрова для них, воздвиг против его окон снежный обелиск с надписью:

Мы делаем царю и другу своему
Лишь снежный монумент, милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран за счет убогих привезенный».

Снежный монумент растаял весной 1789 года. Король лишился головы зимою 93-го. В связи с такими обстоятельствами соперничество столиц на Неве и Сене не решается сопоставлением числа монументов...

Население Петербурга имеет некоторую особенность, кажется, отсутствующую в других европейских столицах: в городе всего 32 процента женщин, и мальчик, родившийся 28 сентября, еще увеличивает мужские две трети. Эту диспропорцию плохо объясняет утверждение уже упомянутого майора Массона, будто прекрасный пол в России заменяет и вытесняет представителей сильного, следуя примеру правящей императрицы. Куда лучше

представляют мужские занятия странички «Ведомостей».

Просвещение, наука, промышленность...

— Императорский фарфоровый завод ищет желающих взять на себя поставку дров для обжига глазурованного фарфору...

— Продается 22 000 пудов железа.

— Средство для истребления моли и клопов, коего польза довольно испытана и доказана и которое особливый успех иметь может, когда оное согрето в теплой воде.

— Продается порозжее, сквозное место (т. е. предлагается заплатить деньги за пустоту, которую можно и должно заполнить).

— Желающие купить 17 лет девку, знающую мыть, гладить белье, готовить кушанье и которая в состоянии исправлять всякую черную работу, благоволят для сего пожаловать на Охтинские пороховые заводы к священнику...

Кто не помнит такие объявления из школьных учебников и хрестоматий (раздел. «Кризис феодально-крепостнической системы»). Только в учебниках эти строчки не обыкновенные (людей продают!), а в газете самые обычные, меж другими делами: «купить девку» — вроде бы явная допотопная дикость, но купить предлагают на пороховых заводах (технический прогресс) и справку даст священник (дух милосердия).

Все обыкновенно. Видимо, объявления печатались в порядке поступления, и поэтому разные сюжеты вперемежку:

— Продается дом на Большой Литейной улице.

— На бирже в амбаре под № 225 продается до ста ружейных лож орехового дерева.

— В половине сего месяца <сентября> пропала маленькая гладинькая кофейного цвету собачка сучка, у которой на груди белое пятно. Если кто, ее поймав, принесет на Большую Миллионную фельдшеру Савве Васильеву, тому будет учинена знатная награда...

<Видно, любит фельдшер Васильев «гладинькую собачку», потому что вряд ли располагает знатным капиталом.>

— Продается парикмахер, разумеющий чесать жен-

ские и мужские волосы, 33 лет, с женой и малолетним сыном...

— Грандиссон, 7 томов за 6 рублей; «Хромой бес» и «Пиесы славного лондонца Гуильелма Шакспира» (так!) 2 тома за рубль; в двадцати частях за 20 рублей «Тысяча и одна ночь», в каждой части «50 ночей», «ночь за две копейки» (шутка из одного книжного обозрения). Наконец. «Примеры матерям, или Приключения маркизы де Безир», перевод Анны Семеновны Муравьевой (урожденной Черноевич), жены Ивана Матвеевича и матери нескольких еще совсем маленьких Муравьевых-Апостолов.

— Господин генерал-фельдмаршал и многих орденов кавалер граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, находясь в Тульчине на Украине, лег накануне, как обычно, в 6 часов вечера, встал в два ночи, сел за обед в восемь утра. Когда попытался взять лишний кусок, адъютант помешал.

— По чьему приказанию?

— По приказу его сиятельства господина генерал-фельдмаршала графа Суворова-Рымникского.

— Слушаюсь...

С ночи голова работает лучше, диктуются приказы, письма, и, если даже на бумагу попадают опасные выпады против второго человека в стране графа Платона Александровича, можно вообразить, что произносится вслух! Один из корреспондентов замечает фельдмаршалу, что Зубов все-таки вежлив. Отвечено: «Граф Платон Зубов сам принимает, отправляет моих курьеров, знак его правительства перед всеми, для моей зависимости. А вежлив бывает и палач».

Суворов не зря ворчит. Дело идет о серьезных вещах. О близком столкновении с тем 27-летним французским генералом (двумя годами моложе Зубова), кто пока еще один из многих, но уже «далеко шагает мальчик»; и граф Александр Васильевич беспокоится, а граф Платон Александрович не беспокоится совсем...

Камер-фурьерский журнал, постоянный дневник придворных происшествий, обычно приглажен, отполирован!

«28 сентября, в воскресенье по утру, по отправлению в покоях Ее величества духовником воскресной заутрени и по собрании ко двору знатных обоего пола персон, дворянства, господ чужестранных министров и по при-

бытии в аппартаменты Ее величества их императорских высочеств государей великих князей и их супруг, государынь великих княгинь и государынь великих княжен Александры Павловны, Марии Павловны и Елены Павловны, перед полуднем, в половине двенадцатого часа, Ее императорское величество обще с их императорскими высочествами в провожании знатных придворных обоего пола персон и генералитета через столовую комнату изволили выход иметь в придворную большую церковь, после чего приглашенные персоны принесли поздравления Ее величеству со днем воскресным, за что были пожалованы к руке».

Затем следует описание обеденного стола Ее императорского величества «в столовой комнате на 34 куверта».

Наследника, 42-летнего Павла Петровича, нет, как не было 8 дней назад на торжествах по случаю дня его рождения и как не будет через 16 дней — в день рождения его супруги Марии Федоровны, хотя «с вечера и за полночь обе крепости и весь город освещены были огнем и при питии за здоровье Его (Ее) Высочества с адмиралтейской крепости выпалено из 31 пушки».

Павел давно замкнулся в своей Гатчине.

Вечером того дня, мы помним по газете, была странная для того времени года поздняя гроза.

Гроза

Гроза, можно сказать, историческая. Всего две недели назад скандально сорвалась уже решенная, как казалось, свадьба любимой внучки императрицы Екатерины II со шведским королем Густавом IV. В последнюю минуту король заупрямился, и 16 338 рублей 26 1/4 копейки, ассигнованных на праздник, пропали зря, а Екатерина рассердилась так, как прежде не сердилась, и знаменитая складка у основания носа (которую портретистам предписывалось не замечать) придавала лицу особенно зловещий вид.

Для 67-летней царицы такой гнев — тяжкая болезнь. Следует легкий, быстро миновавший удар — паралич, зловещее предвестие. Екатерина не понимает, насколько з л о в е щ е е, — еще советуется с одним из придворных о гря-

дущих празднествах в честь нового, XIX века. Но все же решает, наконец, распорядиться наследством. Проходит несколько дней, «здешние праздники шумные исчезли, как дым, — жалуется Державин другу — поэту Дмитриеву. — Все громы поэтов погребены под спудом, для того я и мою безделицу не выпускаю» («Победа красоты» — подарок жениху и невесте).

За 12 дней до грозы, 16 сентября, любимый внук Александр Павлович вызван для беседы с бабушкой. По всей вероятности, ему была сообщена окончательная воля — чтобы после Екатерины II воцарился Александр I, минуя Павла.

Что же внук?

Он не хочет, ему противен двор, ему кажутся позорными недавние разделы Польши. И хотя не говорит об этом громко, но от определенного круга людей не таится, близкому другу пишет:

«Придворная жизнь не для меня создана... Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, Зубов, Пассек, Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не стоит даже называть... Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом».

Строки эти писаны 10 мая, но что же он ответит бабушке в сентябре?

Во-первых, ее нельзя теперь волновать; во-вторых, опасно открывать свои мысли; в-третьих, известное впоследствии двоедушие Александра-царя, конечно, свойственно и Александру-принцу.

«Ваше императорское величество! — напишет он 24 сентября. — Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам... Я вполне чувствую все значение оказанной милости... Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне

и которые, если мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы».

Однако бабушка не знает, что ее внук рассказал многое — может быть, и всё — своему отцу, Павлу. Возможно, по желанию Павла в тайну был посвящен и полковник Аракчеев (не отсюда ли будущая дружба с ним Александра I?).

Накануне отправки почтительного послания бабушке Александр пишет Аракчееву, называя Павла «Его величество», хотя последний — только «высочество»; называет не один раз, а дважды; ошибка невозможна, тем более что и Аракчеев в эти дни обратился к своему покровителю точно так же. Вероятно, полагает историк Шильдер, Александр принес отцу присягу на верность, и, если бы даже Екатерина отдала ему престол, он не намерен его брать...

Меж тем многознающий царедворец Федор Ростопчин месяц спустя сообщает Александру Воронцову о состоянии императрицы: «Здоровье плохо. Уже больше не ходят. Не могут оправиться от впечатлений грозы, которая произошла в последних числах сентября. Явление странное и небывалое в наших краях, имевшее место в год смерти императрицы Елизаветы».

Это была гроза 28 сентября 1796 года. Ничего подобного в других сентябрьских и октябрьских газетах не обнаруживается.

Екатерина все не может прийти в себя после потрясения, больше обычного пуглива, как всегда во время болезни, пьет чай вместо любимого мокко и торопится, торопится, видно предчувствуя, что торопиться надо.

Все распоряжения о новом наследнике пока глубочайшая тайна, но скоро должны выйти наружу. Царица намерена дать манифест об Александре вместо Павла — то ли к Екатеринину дню, 24 ноября, то ли к новому году.

6 ноября

Через 40 дней после той грозы, утром 6 ноября, — апоплексический удар у 67-летней императрицы. В эти часы в столице канцлер Безбородко, фаворит Зубов, внуки Александр и Константин; Павел ничего не знает в своей Гатчине.

Что делать? Ни дворянство, ни армия, ни народ не подозревают о тайном завещании царицы... 34 года во всех церквах пели здравие государыне Екатерине Алексеевне и наследнику Павлу Петровичу... К тому же внук Александр желает своего места, а не отцовского.

И уж придворные несутся сломя голову в Гатчину, чтобы первыми сообщить новому царю, что он — новый царь: угрюмому, подозрительному 42-летнему Павлу, тому, кто много лет назад мечтал вместе с друзьями о возвышенной любви, а вместе с учителем Паниным и Денисом Фонвизиным — о даровании свободы собственному народу...

Трон свободен.

А через некоторое время распространится любопытная, неведомо кем, впрочем знающим человеком, сочиненная рукопись — «Разговор в царстве мертвых».

В царстве мертвых Екатерина II распекает канцлера Безбородку: «Тебе поручены были тайны кабинета, тобой по смерти моей должен был привестся важный план нашего Положения, которым определено было: при случае скорой моей кончины возвесть на императорский российский престол внука моего Александра. Сей Акт подписан был мною и участниками нашей тайны. Ты изменник моей доверенности и, не обнародовав его после моей смерти, променял общее и собственное свое благо на пустое титло князя».

Безбородко признает вину: «Павел, находясь в своей Гатчине, еще не прибыл, я собрал Совет. Прочел Акт о возведении на престол внука твоего: те, которые о сем знали, состояли в молчании, а кто впервой о сем услышал, отозвались невозможностью к исполнениям оного; первый подписавшийся за тобой к оному, митрополит Гавриил подал глас в пользу Павла. Прочие ему последовали: народ, любящий всегда перемену, не постигал ее последствий, узнав о кончине вашей, кричал по улицам, провозглашая Павла императором. Войски твердили тож, и я в молчании вышел из Совета, болезнуя сердцем о невозможности помочь оному; До приезда Павла написал уверение к народу... Что мог один я предпринять? Народ в жизнь вашу о сем завещании известен не был.

В один час переменить миллионы умов есть дело, свойственное одним только богам».

Если бы мы не знали точно, что сочинение под названием «Разговор в царстве мертвых» (где причудливо сплелись правда и вымысел) распространилось уже в первые годы XIX века, непременно решили бы, что речь идет и о 1825 годе. В самом деле: тайное завещание, передающее престол младшему вместо старшего (в 1796-м — Александру вместо Павла, в 1825-м — Николаю вместо Константина). В обоих случаях цари, видимо, собирались открыто объявить нового наследника народу, но не успели: секрет известен избранному кругу приближенных и удостоверен митрополитом (в 1796-м — Гавриил, в 1825-м — Филарет); внезапная смерть завещателя, тайный совет (в 1825-м собранный по всем правилам, в 1796-м, очевидно, на скорую руку, может быть, на несколько минут); решение о невозможности переменить наследника, ввиду настроения войск, народа, после чего царем объявляется Павел — в 1796-м — и Константин — в 1825-м.

Разница в том, что в 1825-м престола не пожелал старший, а в 1796-м — младший.

Александр в те дни, наверное, не раз благодарил судьбу за то, что бабушкин манифест не был обнародован: отец был бы унижен, Александру, возможно, пришлось бы публично отрекаться, могли бы произойти смута, мятеж...

Позже Александр, правда, начнет размышлять, что, если бы послушался бабушку, не было бы несуразного павловского царствования. Но какой жребий лучше?

«Ах, монсеньор, какой момент для вас!» — восклицает в ночь с 6 на 7 ноября 1796 года тот самый Федор Ростопчин, который сделал запись о грозе 28 сентября. На это Павел, пожав крепко руку своего сподвижника, отвечал: «Подождите, мой друг, подождите...»

Потаенные бумаги

С 6 ноября 1796 года на престоле правнук Петра I; прозябавший более трети столетия великий князь отныне именуется титулом из 51-го географического названия: «Мы, Павел Первый, Император и Самодержец Всероссийский: Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Си-

бирский, Царь Херсонеса-Таврического, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский и Подольский, Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогицкий, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарских и иных; Государь и Великий Князь Нова-города Низовския земли, Черниговский, Разанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Вишерский, Мстиславский и всея северные страны повелитель и государь, Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей и Кабардинския земли, Черкесских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голштинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский, Государь Еверский и Великий Магистр Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского и прочая, и прочая, и прочая».

Многие свидетели, описывая восшествие Павла на престол, пользуются словами, пригодными к описанию захвата, переворота, революции.

«Дворец взят штурмом иностранным войском», — острит очевидец-француз.

«Тотчас, — вспомнит поэт и министр Державин, — все приняло иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, тесаки и, будто по завоеванию города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».

Вот за что достается ловкому Безбородке в «царстве мертвых».

Вот за что, вероятно, он вскоре получит от Павла титул князя плюс тридцать тысяч десятин земли и 6 тысяч крепостных душ...

Однако нам так интересно, что было в той самой потаенной шкатулке императрицы! И мы сквозь плотный заговор молчания попробуем все же заглянуть «через плечи» тех, кто вечером и ночью 6 ноября, а также в следующие несколько суток нервно просматривают сверхсекретные бумаги Екатерины.

Кто же они, читатели?

Разумеется, Павел, Безбородко; сверх того, точно известно, — новый наследник Александр, которого отец привлекает к деликатному обыску в бабушкином кабинете; наконец, все тот же, уже не раз мелькавший в этой главе,

Ростопчин, которого в будущем ожидают важнейшие чины и должности при Павле, затем опала, деревенские будни и снова взлет в 1812-м, когда имя генерал-губернатора Москвы Ростопчина будет связано со знаменитыми «афишками», обращенными к народу, с пожаром оставленной Москвы, наконец, со зверской расправой над несчастным Верещагиным, описанной на страницах романа «Война и мир».

Перед смертью старый граф-острослов Ростопчин еще оставит потомкам свою последнюю шутку (которую сохранит в стихах Н. А. Некрасов): о том, что во Франции ему, Ростопчину, революция понятна — там сапожники пожелали стать князьями; российское же 14 декабря 1825 года совсем непонятно: как видно, «князья захотели стать сапожниками».

Декабристов никогда не поймет граф Ростопчин, но молодой офицер Ростопчин зато отлично разберется в том, что происходит во дворце первой ночью павловского царствования.

Таковы действующие лица.

Что же в шкатулке?

Где она теперь?

Насчет самого ящичка, тогдашнего «с е й ф а», — ручаться не можем; зато содержимое — либо обращено тогда же в пепел, либо — понятно, где находится: в Государственном архиве Российской империи.

И мы опять — в Центральном государственном архиве древних актов; опять разворачиваем «дело № 25»: секретные бумаги императрицы Екатерины II, о которых уже шла речь в четвертой главе нашей книги («6 июля 1762 года»). Сейчас, однако, мы прежде всего ищем здесь хоть какой-нибудь след г л а в н о г о з а в е щ а н и я, которое Павла лишало престола. Есть сведения, что Александр и Безбородко нашли завещание и тут же сожгли его; впрочем, не эту ли бумагу Павел I велел распечатать и по прочтении сжечь тому, кто будет царствовать ровно через сто лет после его кончины (известно, что Николай II в 1901 году исполнил желание прапрадеда: что-то распечатал и что-то уничтожил).

Итак, завещание погибло либо в 1796-м, либо в 1901-м.

Но, как это ни странно, часть завещания отыскивается!

Маленький полулист, исписанный почерком Екатерины II и впервые напечатанный только в 1907 году!

Подробно расписав, где и как ее хоронить, царица просит «носить траур полгода, а не более, а что меньше того, то луче».

«Вивлиофику мою со всеми манускриптами и что с моих бумаг найдется моею рукою писано, отдаю внуку моему любезному Александру Павловичу, также разные мои камения и благословляю его умом и сердцем.

Копии с сего для лучаго исполнения положатся и положены в таком верном месте, что чрез долго или коротко нанесет стыд и посрамление неисполнителям сей моей воли.

Мое намерение есть возвести Константина на престол Греческой Восточной империи.

Для блага империи Российской и Греческой советую отдалить от дел и советов оных империй принцев Виртенберхских и с ними знаться как возможно менее, равномерно отдалить от советов обоих пола немцев».

Легко заметить, что Павел и его жена в документе даже не упомянуты. Выпады против принцев Вюртембергских и «обоих пола немцев» явно метят во вторую жену Павла Марию Федоровну, которая была родом именно из Вюртемберга.

Особый тон и высочайшее благословение при упоминании Александра и рядом мысль о Константине на греческом престоле — все это еще наводит на мысль, что «странное завещание» несет на себе «тень» главного документа: этот полулист относился, возможно даже составлял часть тайного завещания царицы, где власть передавалась Александру. Что еще в той шкатулке?

Да те самые записочки Петра III, молившего победительницу-жену о пощаде; а также пьяные, «нечистые» записочки рукою Алексея Орлова — о том, что «урод наш очень занемог... как бы сегодня иль ночью не умер».

И тут самое время вернуться к загадке, объявленной, но не разрешенной в четвертой главе этой книги.

Мы ведь там приводили текст той записочки Орлова, которой в «деле № 25» нет, и говорили, что знаем точно, с какого дня ее нет: с 11 ноября 1796 года.

Ростопчин, все тот же наш новый знакомец Ростопчин!..

В его бумагах много-много лет спустя историки отыскали нечто вроде дневника секретных событий, происходивших в ноябрьские дни 1796 года:

«В первый самый день найдено письмо графа Алексея Орлова и принесено к императору Павлу: по прочтении им возвращено графу Безбородке; я имел его с 1/4 часа в руках; почерк известный мне графа Орлова; бумаги лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея и ясно доказывает, что убийцы опасались гнева государыни, и сем изобличает клевету, падшую на жизнь и память сей великой царицы. На другой день граф Безбородко сказал мне, что император Павел потребовал от него вторично письмо графа Орлова и, прочитав, в присутствии его, бросил в камин и сим истребил памятник невинности великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезновал».

Павел так ненавидит покойную мать, что «истребляет» доказательство ее невиновности в убийстве мужа, Петра III... Впрочем, *повторим*, — кто же поручится, что записочка Орлова не создана задним числом? Что на самом деле царица — не намекнула любимцам, как хорошо было бы избавиться от урода? Тайна, кровавая тайна.

И новый царь сжигает документ, истребляет...

Но мы его все-таки цитируем!

«Матушка милосердая Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось... Мы были пьяны и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало... Помилуй меня хоть для брата...»

Разгадка этого *несгораемого* письма, надо полагать, уже ясна нашим читателям: Ростопчин «имел его с 1/4 часа в руках»; имел — и *скопировал*.

Так своевольничали, не желали повиноваться даже гневливому царю секретные исторические рукописи.

Завещание царицы сожжено — но мы кое-что в нем прочитываем.

Из переписки о гибели Петра III изъят главный документ — но мы его хорошо знаем...

Павлу и его помощникам оставалось еще решить судьбу самой обширной из потаенных рукописей: того сочинения, которое во много раз больше, чем все другие предметы особой шкатулки, вместе взятые.

Мемуары Екатерины II

Сегодня, спустя 200 лет, огромная французская рукопись воспоминаний хранится в архиве вместе с конвертом — «Его императорскому высочеству великому князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну».

Павел, надо думать, испытал разнообразные чувства, прочитав «Записки» нелюбезнейшей матушки...

Речь там шла вроде бы о стародавних временах, о Елизавете Петровне: позапозапрошлом царствовании; текст резко обрывается на 1759 годе (когда самому Павлу исполнилось лишь 5 лет). Однако с первых страниц начинается откровенное, живое, довольно талантливое описание двора, дворца, тогдашней борьбы за власть... И каковы притом размышления о судьбе: «Счастье не так слепо, как его себе представляют.

Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения... Вот два разительных примера — Екатерина II и Петр III». До переворота 1762-го и царствования самой Екатерины рассказ не доходит, но он как бы пропитан идеей борьбы за престол, духом самооправдания.

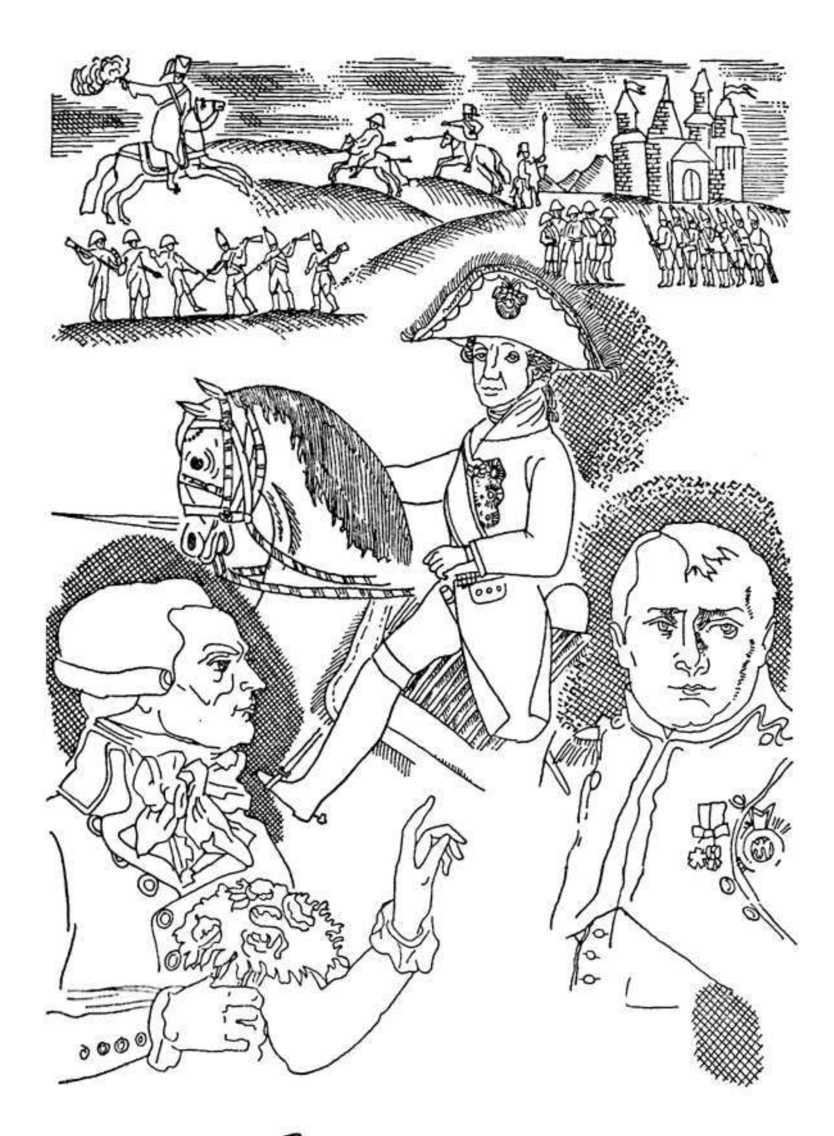
Екатерине было в чем оправдываться, что обосновывать, от чего защищаться. По «Запискам» ясно видно стремление преодолеть двойственность, которая присутствовала почти во всех явлениях ее 34-летнего царствования. Была громадная самодержавная власть — и были значительные уступки дворянству (в том числе — 800 тысяч розданных крепостных).

Было сознание своих прав на престол — и понимание их относительности.

Было всесилие обладательницы громадной империи — и страх перед новыми переворотами (отчего Екатерина не решилась выйти замуж за Григория Орлова и расправиться с Паниными, которые мечтали поскорее увидеть на троне Павла).

Была победа над Пугачевым — и призрак Петра III, воскрешенный самозванцем.

Была ненависть к французской революции 1789 года,



Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари...

свергнувшей «законного монарха», — и была собственная дворцовая революция 1762 года, свергнувшая другого «законного монарха».

На эту сложную, лицемерную двойственность екатерининского царствования и обратит позже внимание Пушкин: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, — а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь...»

Объяснить, оправдать, растворить темную тайную историю в блеске явной, соединить самовластие с просвещением — для всего этого Екатерина делала немало, много говорила, писала и печатала. Для этого создавались и несколько раз переделывались «Записки».

Любопытно, что чем дальше, тем меньше Екатерина II предпочитает вспоминать о своем детстве, т. е. о своем немецком происхождении; и чем дальше от времени, когда произошло событие, тем больше литературных подробностей. Если в раннем наброске Екатерина II пишет, что в три с половиной года, «говорят, я читала по-французски. Я не помню», то позже, уже без всяких оговорок, утверждается, что «могла говорить и читать в три года». Еще в 1791 году Екатерина признавала, что, когда ее супруг дерзко просверлил дырки в двери, ведущей в комнату Елизаветы Петровны, она тоже «один раз посмотрела». В 1794 году, однако, Екатерина вспомнила, что не подглядывала вообще.

Откровенные и притом лицемерные рассказы, рассуждения царицы о тайной политической истории страны — одно это делало ее мемуары в высшей степени секретным документом. Но мало того: Павел I нашел в «Записках» признание, будто его настоящий отец — не Петр III, а один из возлюбленных Екатерины (князь Сергей Салтыков)... Вдобавок сообщалось, что новорожденного немедленно унесли от матери и что Екатерина чуть не погибла, лишенная всякого ухода, — ее совершенно забыли, пока,

наконец, не появилась царствовавшая тогда императрица Елизавета с ребенком в руках (которого, впрочем, матери так и не дали). Тогда же начались разговоры, будто Екатерина вообще родила 20 сентября 1754 года мертвого ребенка, но наследник государству был столь необходим, что в течение нескольких часов нашли и отобрали новорожденного у одной крестьянки, а семью этого крестьянина вместе со всеми соседями сослали в Сибирь...

Если правда, что сын Екатерины родился от Салтыкова либо в крестьянской семье, — значит, Павел не правнук Петра Великого и его права на престол не больше, чем у его матери!

Павел не верил, не хотел этому верить... Виднейший специалист по XVIII веку Я. Л. Барсков (один из редакторов сочинений Екатерины II, вышедших в начале XX века) считал, однако, что Павел все-таки был сыном Петра III (вспомним их внешнее сходство!); Екатерине же, свергнувшей мужа, это обстоятельство так не нравилось, она так хотела уменьшить роль Петра III и роль Павла и истории императорской фамилии, что — могла и нарочно наговорить на себя; могла при помощи одних «безнравственных картин» (роман с Сергеем Салтыковым) затенить другие, куда более жуткие (расправа с Петром III).

Один из историков мрачно заметил, что «династия Романовых — государственная тайна для самой себя».

Вспомним, что по сведениям, собранным Пушкиным, 42-летний преемник Екатерины допускал, будто его отец, Петр III, все-таки жив и в 1796-м!

Пусть и не в «образе Пугачева», но, может быть, где-то скрывается...

1796—1858

Итак, 6—7 ноября 1796 года началась вторая жизнь потаенных «Записок» царицы: их запечатывают особой печатью, подлежащей вскрытию только по прямому распоряжению самого царя... Отныне не увидит их никто и не прочитает. Но — человек слаб, даже если он в короне. Характер Павла отличался резкими, неожиданными колебаниями, приводившими часто к прямо проти-

воположным поступкам: вслед за великим гневом следовала щедрая доброта; предельная подозрительность — и полная доверчивость. 42-летний самодержец изредка уступал тому 19-летнему юноше, который мечтал быть достойным своей юной невесты...

Обижаемый, унижаемый при матушке, Павел сохранил особую память о тех, кто его не оставлял, дружески помогал в ту пору; одним из самых задушевных, неизменных друзей детства был князь Александр Куракин, немало за то претерпевший от покойной царицы. Как же не поделиться с другом столь уникальным, интереснейшим манускриптом, «Записками» Екатерины II, этим «трофеем», попавшим в руки новому хозяину Зимнего дворца? С Куракина берутся страшные клятвы — что он никому на свете не покажет, не расскажет; сотни страниц он должен прочесть за кратчайший срок...

Куракин быстро вернул толщенную тетрадь, благодарил Павла за доверие; «Записки» запечатаны царской печатью... Но вскоре молодой Панин (сын генерала Панина и племянник министра), затем другой аристократ — Воронцов, еще и еще особо важные персоны тихонько признаются друг другу, что познакомились с потаенными мемуарами...

Откуда же?

Все благодарят Куракина.

За те немногие дни, что рукопись гостила у князя, он разделил ее на несколько частей и велел скопировать каждую опытным писарям... Возможно, то были грамотные, даже владевшие французским крепостные. Или вольные, но «маленькие» люди, охотно принявшие княжескую мзду за свой труд и испуганно хранившие о том молчание...

Царь Павел до последней минуты верил, что мемуары Екатерины находятся в вечном заточении, а они меж тем потихоньку гуляли на свободе...

От Куракина и других вельмож копии «Записок» отправляются к таким важнейшим читателям, как Карамзин, Александр Тургенев, Пушкин...

Проходит лет сорок.

Николай I, не любивший свою бабку Екатерину и полагавший, что она «позорит род», стремился конфисковать все списки. Даже наследник Николая смог позна-

комиться с мемуарами прабабки лишь тогда, когда стал императором Александром II: до этого Николай запрещал своим родственникам знакомиться с «позорным документом»; член царской фамилии великая княгиня Елена Павловна могла получить копию только от Пушкина, который 8 января 1835 года записал: «Великая княгиня взяла у меня «Записки» Екатерины II и сходит от них с ума».

Увидев в списке бумаг погибшего Пушкина «мемуары императрицы», Николай I написал против них: «ко мне».

В советское время, когда отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, юбилейная сессия Академии наук обратила внимание будущих исследователей на особую необходимость — найти «тетрадь Милорадовича» (сборник эпиграмм, составленный поэтом в кабинете петербургского генерал-губернатора, а затем бесследно исчезнувший), а также пушкинскую собственноручную (как в ту пору думали) копию «Записок» Екатерины II.

Наконец, в 1949 году, при разборе рукописей, входивших в состав библиотеки Зимнего дворца, была обнаружена копия мемуаров — два переплетенных *тома*, — сделанная на бумаге с водяным знаком «1830». Первые несколько строк были списаны рукой Натальи Николаевны Пушкиной; часть текста была внесена в тетрадь опять же рукою Натальи Николаевны Пушкиной, а также ее брата, очевидно помогавших Александру Сергеевичу. На форзаце обоих томов рукою Пушкина помечено: «А. Пушкин».

Сегодня они хранятся в Пушкинском доме, в Ленинграде...

Меж тем в 1837 году, когда пушкинская копия «Записок» была взята царем, полуофициальным образом было передано настойчивое пожелание Николая I, обращенное к осведомленным придворным *кругам*, — *вернуть*, *сдать* копии «бабушкиных воспоминаний». Большинство выполнили царскую волю — из страху или из понятий дворянской чести... В последние десятилетия николаевского правления русское образованное общество скорее *слыхало* о существовании мемуаров императрицы, чем было знакомо с самим документом. Герцен писал: «(Академик) Константин Арсеньев... говорил мне в 1840 году, что им получено было разрешение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от

смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему разрешили прочесть «Записки» Екатерины II (он преподавал тогда новую историю великому князю, будущему наследнику престола)».

Тем не менее и тогда не все копии были возвращены императорской семье: так, Александр Тургенев один список вернул, а несколько других сохранил при себе...

Минули еще годы, отгремела Крымская война, окончилось царствование Николая, уходили 1850-е...

О «Записках» Екатерины в мире все еще не знают, — но они живут, угрожают...

1858

«Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке Мемуары Екатерины II, написанные ею самой (1744—1758).

Записки эти давно известны в России по слухам и, хранившиеся под спудом, печатаются в первый раз. Мы взяли меры, чтобы они тотчас были переведены на русский язык.

Нужно ли говорить о важности, о необычайном интересе «Записок» той женщины, которая больше тридцати лет держала в своей руке судьбы России и занимала собою весь мир от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов».

Это объявление появилось в Лондоне в сентябре 1858 года на последней странице 23—24 номера русской революционной газеты «Колокол», и тысячи читателей угадали «почерк» Искандера, Александра Ивановича Герцена.

В «Записках» описана молодость ее, первые годы замужества, — тут в зачатках, в распускающихся почках можно изучить ту женщину, о которой Пушкин сказал:

Насильно Зубову мила
Старушка милая жила.
Приятно, по наслышке, блудно,
Вольтеру лучший друг была,
Писала прозу, флоты жгла
И умерла, садясь на судно.

И с той поры в России мгла,
Россия бедная держава —
С Екатериною прошла
Екатерининская слава![1]

Примерно через неделю несколькими потаенными путями этот номер «Колокола» просочится в Россию и вскоре окажется в руках московских и харьковских студентов, петербургских профессоров, чиновников, литераторов, военных, ляжет на стол Александру II и шефу жандармов. Сообщение о мемуарах Екатерины II — точно известно — вызвало шок, испуг и недоверие властей (а вдруг обман!).

Герцен, впрочем, обладал особым умением — нервировать своих противников обещаниями приближающегося удара: сообщение о предстоящем выходе тайных «Записок» прабабушки ныне царствующего императора было повторено в следующих номерах...

Через два месяца, 15 ноября 1858 года, 28-й номер «Колокола» уже извещал о выходе «Записок» на языке подлинника — французском. Затем последовали русское, немецкое, шведское, датское, второе французское, второе немецкое издания.

«Бывают странные сближения», — писал А. С. Пушкин. Странным сближением на этот раз было то обстоятельство, что секретные мемуары императрицы сделались всеобщим достоянием ровно через 100 лет после тех событий, которые в них описываются (1759—1859). И всего за несколько месяцев до того «Колокол» приглашал своих читателей к Щербатову и Радищеву. Откровенные сочинения врагов Екатерины и самой царицы публикуются «по соседству».

Обнародование «Записок» Екатерины II показалось обитателям Зимнего дворца более страшным, нежели вскрытие самых фантастических злоупотреблений чиновников и помещиков: ведь в последних случаях, в конце концов, говорилось о «плохих чиновниках и помещиках», здесь же «заряд» попадал прямо в верховную власть. Прочитав мемуары императрицы, выдающийся французский историк Ж. Мишле писал Герцену: «Это с вашей

[1] Стихотворение А. С. Пушкина «Мне жаль великия жены...». Цитируется в «Колоколе» несколько иначе, чем в сохранившейся рукописи Пушкина.

стороны — настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, чем о какой-либо политической оппозиции». Из Петербурга помчались строжайшие приказы российским послам, консулам — скупать и уничтожать этот «совместный плод» усилий русской царицы и русского революционера... В ответ на растущий «спрос» Герцен и Огарев умножают тираж новой книжки — и царские финансы оплачивают революционную печать! В России, конечно, предпринята поиски виноватого — того, кто добыл из секретнейшего архива и обнародовал столь важный документ. Если бы нашли — загнали бы смельчака туда, куда «Макар телят не гонял...»; однако — не сумели отыскать. Разумеется, и Герцен сохранил тайну приобретения и обнародования «семейного» документа самодержавия, — пройдет много времени, прежде чем удастся узнать некоторые подробности.

Впервые об этой истории кое-что в русской печати появилось 35 лет спустя (1894), в записках вдовы Герцена Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой: «В 1858 году приехал к Александру Ивановичу один русский, NN. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами... После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: «Я очень рад приезду NN, он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев, — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — это «Записки» императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски; вот и тогдашняя орфография — это верная копия». Когда записки императрицы были напечатаны, NN был уже в Германии, и никто не узнал об его поездке в Лондон...

Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести «Записки» эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан...; не помню, кто перевел упомянутые «Записки» на немецкий язык и на английский; только знаю, что «Записки» Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление по всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки


Воспоминанье безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток...
Александр Иванович Герцен

Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую кроме NN, знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае».

«Люди, обучившиеся молчанию», — возможно, Герцен, Огарев и сама Тучкова-Огарева; о личности же NN в конце XIX — начале XX века только начинали догадываться. Публикуя сообщение Н. А. Тучковой-Огаревой о том, что корреспондента Герцена «уже нет на свете», редакторы полного собрания сочинений Екатерины II сделали примечание (в 1907 году): «Автор «Воспоминаний» ошибается».

Дело в том, что специалисты подозревали очень известного историка, издателя журнала «Русский Архив» Петра Ивановича Бартенева (1829—1912).

Действительно, он был маленького роста и прихрамывал; к тому же — всю жизнь занимался историей Екатерины II, его даже называли в шутку «последним фаворитом императрицы». В его печатных сочинениях то и дело проскальзывают ссылки на хорошо известные ему «Записки». В 1868 году, например, Бартенев писал: «Покойный граф Д. Н. Блудов передавал нам, что ему при разборе архивов Зимнего дворца случилось читать неизданную собственноручную тетрадь Екатерины II на французском языке... содержавшую в себе подробные ее рассказы о рождении, детстве и вообще о жизни ее до приезда в Россию». Правда, по своим довольно умеренным монархическим взглядам Бартенев вроде бы не походил на тайного, дерзкого корреспондента Герцена, рискнувшего головой, чтобы добыть и напечатать записки Екатерины. Даже через полвека, когда за «старые грехи» не могли уже серьезно наказывать, историк сердился и решительно оспаривал любой намек, будто именно он доставил рукопись в Лондон...

Только в советское время, в недавние годы, усилиями нескольких ученых «тайна 1858 года» вроде бы раскрыта.

Дело, оказывается, началось с того, что в 1855 году только что вступивший на трон Александр II срочно отправляет в Москву главного архивариуса империи Федора Федоровича Гильфердинга.

Хотя Крымская война к тому времени еще не окончи-

лась и положение в стране было очень критическим, новый царь нашел время поинтересоваться тем самым фамильным документом, который покойный отец, Николай I, не разрешил читать даже своему первенцу и наследнику. Секретные архивы во время войны эвакуированы в Москву — и Гильфердинг должен привезти оттуда рукопись Екатерины.

В Москве главному архивариусу помогали младшие чиновники, служившие в том архиве, где хранились записки: одним из них был 26-летний Петр Бартенев, добрый знакомый Гильфердинга; другим — известный собиратель русских сказок Александр Николаевич Афанасьев. То ли один Бартенев, то ли Бартенев и Афанасьев вместе отыскали среди миллионов листов Государственного архива нужную рукопись: Гильфердинг мчится с нею в Петербург, Александр II с любопытством читает, затем мемуары Екатерины возвращаются в Архив и сно-а — почти на полвека запечатываются большой государственной печатью.

Однако пока вынимали и пока укладывали на место, тут был случай скопировать не хуже, чем у князя Куракина, который в 1796 году обманул Павла I...

И вот — толстая французская рукопись, вернее, копия того подлинника, что за «большой печатью», уж укладывается в чемодан молодого ученого Петра Бартенева, который летом 1858 года отправляется в заграничное путешествие. Историк в эту пору совсем не такой противник власти, как революционный демократ Герцен, но еще и отнюдь не тот консерватор и монархист, каким станет много лет спустя... Бартенев (как и его коллега Афанасьев) уверен, что нельзя утаивать от русских людей их прошлое; что важнейшие политические и литературные документы XVIII и XIX веков должны быть обнародованы; что Герцен делает большое патриотическое дело, выводя из мглы, забвения и тайны труды Радищева, Фонвизина, Щербатова и даже... самой Екатерины II.

Итак, любопытство Александра II к запискам прабабки в конце концов обернулось тем, что эти записки читала с 1859-го вся Европа и, тайком, Россия...

Еще через сорок лет

Приближалось столетие того дня, когда Павел I впервые увидел документ об убийстве своего отца, а также завещание своей матери и ее мемуары. Однако еще и 19 декабря 1891 года Главное управление по делам печати запретило две части серьезной научной книги В. А. Бильбасова «История Екатерины II» — «по оскорбительности для памяти царствующих особ империи последней половины XVIII века». Готовую книгу (3000 экземпляров) задержали в типографии. Тогда-то праправнук Екатерины Александр III пожелал лично ознакомиться с мемуарами Екатерины II, после чего наложил на них «дополнительный запрет».

Лишь революция 1905 года, ослабившая цензурное раздолье, позволила перепечатать в России текст записок Екатерины, изданных Герценом полвека назад. А в 1907 году вышел последний, XII том академического издания сочинений императрицы. Любопытно, что даже в строго научном издании, где текст записок помещался на французском языке, без перевода, все-таки несколько отрывков было выпущено...

Так завершалась сложная, «детективная» история воспоминаний Екатерины II; история длиною в полтора века...

И тут, мы полагаем, наступает время вспомнить о попугае[1].

Попугай

В последние дни 1917 или в начале 1918 года отряд красногвардейцев обыскивал петроградские аристократические дворцы и особняки. В доме светлейших князей Салтыковых их приняла глубокая старуха, неважно говорившая по-русски и как будто несколько выжившая из ума. Командир отряда, происходивший из дворян, но

[1] Эту историю автор книги слышал от профессора С. А. Рейсера и учителя Г. Г. Залесского, которые узнали ее непосредственно от участника описываемого события. Два рассказа расходятся в некоторых деталях, но сводятся в единую версию.

давно порвавший со своим сословием, на хорошем французском языке объяснил княгине:

— Мадам! Именем революции принадлежавшие вам ценности конфискуются и отныне являются народным достоянием.

Старуха не стала возражать и даже с некоторой веселостью покрикивала на красногвардейцев за то, что они пренебрегали кое-какими безделушками и картинами.

После того как было отобрано много драгоценностей и произведений искусства, старуха внезапно потребовала:

— Если вы собираете народное достояние, извольте сохранить для народа также и эту птицу. — Тут появилась клетка с большим, очень старым, облезлым попугаем.

— Мадам, — ответил командир с предельной вежливостью, — народ вряд ли нуждается в этом (эпитета не нашлось) попугае.

— Это не просто попугай, а птица, принадлежавшая Екатерине II.

— ???

— Стара я, батюшка, чтобы врать: птица историческая, и ее нужно сохранить для народа.

Старуха щелкнула пальцами — попугай вдруг хриплым голосом запел: «Славься сим Екатерина...» — Помолчал и завопил: — Платош-ш-ш-а!!»

Командир на старости лет хорошо помнил это удивительнейшее происшествие. 1918 год, революция, красный Петроград — и вдруг попугай из позапрошлого века, переживший Екатерину II, Павла, трех Александров, двух Николаев, Временное правительство. Платоша — это ведь Платон Александрович Зубов, последний, двенадцатый фаворит старой императрицы, который родился на 38-м году ее жизни (в период первого фаворита Григория Орлова), а через 22 года, — с того лета, как началась революция во Франции, Платон Зубов уж во дворце «ходил через верх» (именно так принято было выражаться), светлейший князь Потемкин, услыхав, схватился за щеку: «Чувствую зубную боль, еду в Петербург, чтобы **зуб** тот выдернуть. Однако не выдернул, умер, а Зубов остался, и во дворце шептали, что императрица наконец-то обрела «платоническую любовь».

Бедного и усердного чиновника из украинских казаков Дмитрия Трощинского Екатерина за труды награждает

хутором, а потом прибавляет 300 душ. Испуганный Трощинский вламывается к царице без доклада: «Это чересчур много, что скажет Зубов?»

— Мой друг, его награждает женщина, тебя — императрица...

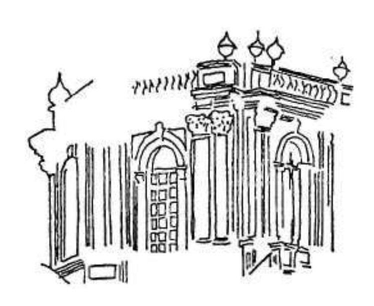
Как бы то ни было, но Платон Александрович в 1790-х годах находился в такой силе, что генерал-губернаторы только после третьего его приказания садились на кончик стула, а сенаторы смеялись, когда с них срывала парик любимая обезьянка фаворита, и он сам смеялся, полуодетый, ковыряющий мизинцем в носу; играя же в фараон, случалось, ставил по 30 тысяч на карту. И мог абсолютно все: однажды небрежно подписал счет на 450 рублей, представленный Императорской академии художеств механиком и титулярным советником Осипом Шишориным:

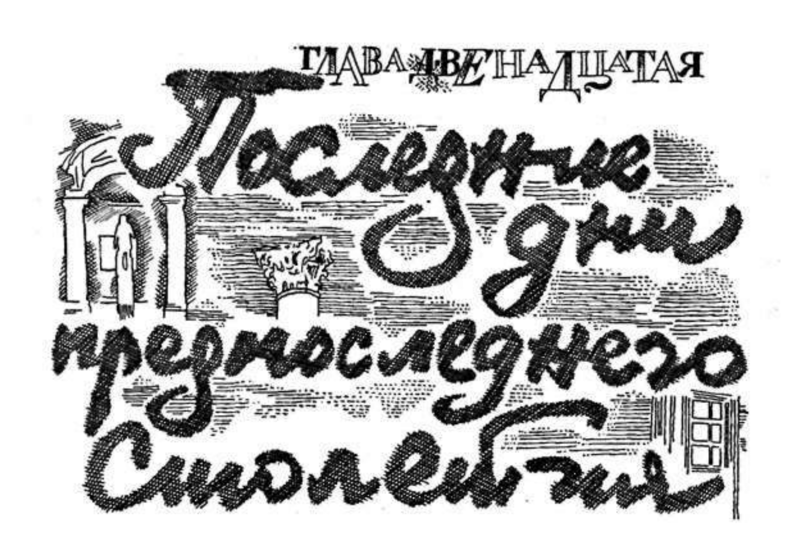
«По приказанию вашей светлости сделан мною находящемуся при свите персидского хана чиновнику искусственный нос из серебра, внутри вызолоченный с пружиною, снаружи под натуру крашенный с принадлежностями...»

«Санкт-Петербургские ведомости» регулярно извещали о продаже у Кистермана в Ново-Исаакиевской улице «портрета его светлости князя Платона Александровича Зубова», но — никаких сообщений о продаже прежнего товара — портретов Потемкина, Орлова...

Отряд сдал попугая вместе с драгоценностями; из музея им вослед неслось: «Платош-ш-ш-а!»; командир ушел на фронт, а когда год спустя оказался в Петрограде, узнал, что попугай погиб от возраста или непривычного питания.

История, как сказали бы в старину, философическая...





1800 году и XVIII веку оставались последние месяцы. Тяжелая, мокрая осень. «И погода какая-то темная, нудная, — пишет один из современников. — По неделям солнца не видно, не хочется из дому выйти, да и небезопасно... Кажется, и бог от нас отступился». Плац-парады, фельдъегери, аресты, разжалования. «На больших столичных улицах установлены рогатки; позже девяти вечера, после пробития зори, имели право ходить по городу только врачи и повивальные бабки. 28 октября издан приказ об аресте 1043 матросов на задержанных в русских портах английских судах. Война с Англией вот-вот начнется. Дворянство не желает этой войны; оно не желает и этого царствования; правда, русские войска во главе с Суворовым совершили замечательный поход в Италию и Швейцарию, но главные события разыгрываются внутри страны. Новый царь стремится совершенно переменить дух российского дворянства, полностью его перевоспитать. Вместо довольно свободной, веселой, роскошной жизни, которую привилегированное сословие вело в течение долгого царствования Екатерины II, наступило время угрюмое, суровое: за малейшую провинность лишали

дворянства, ссылали в Сибирь; аристократов обложили налогами, в то время как крестьяне получили даже некоторые послабления... Когда один дипломат пытался защитить опального русского вельможу и сказал, что это очень важный господин, Павел отвечал: «У меня важен только тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю!» Недовольные дворяне распускали слух, что царь сошел с ума, но это была неправда. Павел просто хотел быстро переменить всю жизнь России. Он не раз восклицал, что у французов, казнивших короля Людовика XVI, у якобинцев есть своя идея — свобода, равенство, братство, а у старого, феодального мира такой идеи нет. Павлу казалось, что он знает такую идею: рыцарство! «Благородное неравенство против злого якобинского равенства». Царь-рыцарь силой хотел превратить все русское дворянство в некий огромный, рыцарский орден. Именно поэтому он обращал большое внимание на форму, на парады, этикет — ведь все это было свойственно средневековым рыцарям. Именно поэтому он предлагает (полушутя, полусерьезно) заменить европейские войны простыми поединками королей и первых министров: чья возьмет, тот и прав... Однажды к царскому дворцу подъехала кавалькада людей, облаченных в форму мальтийского ордена и, как в старинных рыцарских романах, обратилась к Павлу с просьбой быть их верховным повелителем и покровителем. Павел согласился, и на несколько лет в России был введен рыцарский орден святого Иоанна Иерусалимского с характерной эмблемой восьмиконечного мальтийского креста; далекая Мальта была тоже взята под эгиду русской короны, и Англия, захватившая остров, оказалась вследствие того на грани войны с Россией.

Идея рыцарства, этикета связана с повышенным значением красоты, особых форм архитектуры...

Винченцо Бренна, «дикий Бренна», как назовут его современники, получает неслыханный заказ: за кратчайший срок выстроить в центре Петербурга новый царский дворец, — по образцу старинного рыцарского замка, окруженный рвом с водой и т. п. Замок в честь святого Михаила назван Михайловским. Ассигнованы неслыханные прежде суммы; со всех концов Европы, невзирая на революцию и войны, везут ткани, фарфор, бронзу, создают своеобразный «павловский стиль» в искусстве.

«Какого цвета должен быть дворец?» — спрашивает Бренна своего повелителя. Тот протягивает ему красную перчатку своей возлюбленной Анны Гагариной: вот откуда окраска замка, и сегодня поражающего наблюдателя в самом центре старой части Ленинграда...

Народу в общем все равно — ему даже нравится, что новый царь «поприжал» господ; однако дворянство, гвардия мечтают о возвращении к екатерининскому веку. И вот уж зреет заговор, во главе которого опытный конспиратор, санкт-петербургский генерал-губернатор Пален. Это «ферзь» подготавливаемой игры, пожилой (55 лет), крепкий, веселый человек, мастер выходить из самых запутанных, невозможных положений, знаток той единственной для государственного человека науки, которую сам Пален назовет пфификологией (pfifficologie) — от немецкого pfiffig — «пронырливый».

Французский историк полагал, что «Пален принадлежит к тем натурам, которые при регулярном режиме могли бы попасть в число великих граждан, но при режиме деспотическом делаются преступниками».

Довольно рано участники заговора установили тайные контакты с наследником Александром. Наследник колебался, но Панин и Пален воздействовали на него доводами «о страдающем отечестве», о необходимых переменах, о том, что надо торопиться, так как, возможно, уж существует какой-нибудь другой заговор, который непременно уничтожит и самого Павла, и, может быть, всю династию.

Александр, по словам Палена, «знал — и не хотел знать».

Великий князь про себя, по-видимому, мечтал, чтобы конспираторы обошлись без него, выдвинули бы «Брута», цареубийцу, о котором он бы «ничего не знал». «Но такой образ действий, — пишет современник событий, — был почти немыслим и требовал от заговорщиков или беззаветной отваги, или античной доблести, на что едва ли были способны деятели этой эпохи».

Риск был велик, малейшая оплошность многим стоила бы голов; сам Пален рассказывал, что однажды император смутил его, намекнув, что знает о заговоре. Через секунду, однако, губернатор оправился и дерзко ответил: «Да, я знаю о заговоре, ибо сам в нем участвую». — «Как так?» — изумился царь. Пален объяснил, что, только при-

кинувшись заговорщиком, он сможет узнать имена всех врагов своего императора. Павел успокоился, но конспираторы поняли, что нужно спешить.

Среди заговорщиков появляется и наш прежний знакомый Иосиф (Осип) Михайлович де Рибас. Кроме страсти к интриге, авантюре, этим честолюбивым деятелем двигала и обида. Сначала Павел его обласкал, наградил мальтийским крестом, потом, как и многих других, удалил от дел. Даже детище де Рибаса южная Одесса попала в немилость к царю только за то, что город был воздвигнут по приказу ненавистной матушки, покойной императрицы Екатерины II.

Павел переименовал почти все города и крепости, основанные Екатериной: в частности, Феодосию велел звать по-старинному Кафой, однако при следующем царе город снова стал Феодосией.

Одессу от забвения и возможного запустения спасло неожиданное обстоятельство: царь любил апельсины, и Рибас распорядился, чтобы первая же крупная партия, доставленная в южный порт из Греции или Италии, была быстрейшим образом привезена в Петербург.

Три тысячи апельсинов всего за две недели были перевезены почти за две тысячи километров, с Черного на Балтийское море. Павел I смягчился, благодарил и выдал Одессе 250 000 рублей на городские нужды. Положение де Рибаса несколько улучшилось, но он был уже в заговоре...

Мы знаем, что генерал Пален не раз советовался с хитрым неаполитанцем о способах ликвидации царя. Известно, что Рибас рекомендовал старинные итальянские средства — яд, кинжал; позже склонялся к тому, чтобы лодка с арестованным императором «перевернулась» и утонула в Неве.

Меж тем царь Павел, сам того не чувствуя, приближал катастрофу.

Вот — история с Суворовым. Сначала Павел присваивает великому полководцу звание генералиссимуса, затем ревнует к его славе.

Царская немилость, заметная еще за месяц до возвращения войска (после перехода через Альпы), была раскалена одним эпизодом: бывший царский парикмахер, а теперь — всемогущий фаворит граф Кутайсов является

к Суворову. При виде царского посланца полководец будто бы обратился к своему знаменитому денщику: «Ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да, он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином».

В камер-фурьерском журнале 9 мая 1800 года не отмечалось какой-либо почести, отданной царем умершему полководцу. Меж тем похороны генералиссимуса всколыхнули национальные чувства. Очевидец вспоминает, как 14-летним мальчиком поехал с отцом, чтобы проститься с Суворовым. «Мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова... Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте, принадлежащего потом Д. Е. Бенардаки. Перед ним несли двадцать орденов... За гробом шли три жалких гарнизонных батальона. Гвардию не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России».

Другой современник помнил, как многие, опасаясь царской немилости, не осмелились попрощаться с Суворовым, — и тем удивительнее, что «все улицы, по которым его везли, усеяны были людьми. Все балконы и даже крыши домов заполнены печальными и плачущими зрителями».

Державин, вернувшись с похорон, пишет замечательное стихотворение:

СНИГИРЬ

Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;

В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян все побеждать?
Быть везде первым в мужестве строгом,
Шутками зависть, злобу штыком,
Рок низлагать молитвой и богом,
Скиптры давая, зваться рабом,
Доблестей быв страдалец единый,
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна:
Полно петь песню военну, снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна,
Слышен отвсюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

Вольный дух стихов несомненен. Единственность Суворова, невосполнимость потери противопоставлена павловскому пренебрежению...

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?

Не обойдена и обида, бесчестье полководцу, который дает «скиптры» и зовется «рабом»; страдалец, изнуряющий себя «для царей» и не имеющий должной награды...

Современница запомнила, что, «когда отпевание Суворова было окончено, следовало отнести гроб наверх; однако лестница, которая вела туда, оказалась узкой. Старались обойти это неудобство, но гренадеры, служившие под начальством Суворова, взяли гроб, поставили его себе на головы и, воскликнув: «Суворов везде пройдет!» — отнесли его в назначенное место».

Это были первые в новой русской истории похороны, имевшие подобный смысл: отсюда начинается серия особых прощаний русского общества с лучшими своими людьми (Пушкин, Добролюбов, Тургенев, Толстой...), — похороны, превращающиеся в оппозиционные демонстрации, выражение чувств личного, национального, политического достоинства. Павел, казалось бы, столь щепетильный к вопросам чести, национальной славы, совершенно не замечает, не хочет замечать того, что выражают петер-

бургские проводы Суворова: национальной просвещенной зрелости, которой достигло русское общество...

Итак, заговор против Павла крепнет — царь же и его сторонники, многого не замечая, все же не дремлют, стараются угадать, обезвредить врагов.

Кто ловче, кто раньше?

Не все просвещенные люди столицы разделяли взгляды конспираторов. Одним из сомневающихся был молодой, очень образованный 25-летний полковник Николай Саблуков. Он сам не раз страдал от гневных, несправедливых приказов императора; однако при том понимал трагическое благородство его рыцарских целей, да и считал невозможным участвовать в цареубийстве, поскольку присягал Павлу I на верность.

С другой стороны, хорошо видя, что город насыщен заговором, что вот-вот наступит роковой день, полковник не мог и формально придерживаться той же присяги, ибо иначе ему следовало пойти к царю и донести на товарищей. Как быть? С каким мудрецом посоветоваться?

Саблуков отправился к одному итальянскому художнику и философу, несколько лет жившему в Петербурге.

Послушаем рассказ самого Саблукова: «Художник сразу разрешил мое недоумение, сказав следующее: «Будь верен своему государю и действуй твердо и добросовестно; но так как ты, с одной стороны, не в силах изменить странного поведения императора, ни удержать, с другой стороны, намерений народа, каковы бы они ни были, то тебе надлежит держаться в разговорах того строгого и благоразумного тона, в силу которого никто бы не осмелился подойти к тебе с какими бы то ни было секретными предложениями». Я всеми силами старался следовать этому совету и благодаря ему мне удалось остаться в стороне от ужасных событий этой эпохи».

Полковник Николай Саблуков в юности слушал лекции в европейских университетах, получил блестящее образование, интересовался философско-нравственными системами. Позже, когда власть меняется и на троне Александр I, перед 25-летним генерал-майором открывалась широчайшая карьера, но он не может более служить. Потрясенный увиденным, он подал в отставку, поселился в Англии, женился на дочери основателя Британской картинной галереи Юлии Ангерштайн, но в 1812 году,

узнав о нападении Наполеона, срочно возвратился в Россию и прошел всю кампанию (Кутузов 7 декабря 1812 года свидетельствует, что Саблуков «был все время в авангарде»). Защитив отечество, генерал опять его покинул; лишь изредка Саблуков наезжал в Петербург и был явно не чужд вольному духу 1820-х годов...

— Я вас боялся больше, чем целого гарнизона, — признался Пален Саблукову на другое утро после переворота.

— И вы были правы, — ответил офицер.

— Поэтому, — возразил Пален, — я и позаботился вас отослать из дворца.

Саблуков не донес, другие могли донести.

Вот один из эпизодов, когда Павел чуть не взял верх: командующий морскими силами тяжело заболел и вместо него доклады о состоянии флота царь поручил де Рибасу. Дело шло к назначению его на главную адмиральскую должность. Тут-то, как свидетельствуют некоторые документы, лукавый Рибас дрогнул. Неслыханное повышение, перспектива войти в правительство соблазняла. Он решил открыться Павлу и возвыситься за счет выдачи прочих заговорщиков.

Однако в декабре 1800 года Рибас внезапно тяжело заболевает. Версия о том, что генерал Пален нашел способ его отравить, кажется весьма вероятной: «из дружбы» к Рибасу Пален не отходил от его постели, не допускал к ней «посторонних», пугая возможной заразой, и прислушивался к тому, чтобы адмирал не проболтался...

Вскоре на католическом кладбище в Петербурге появилось надгробие с русской надписью: «Иосиф де Рибас, адмирал, российских орденов Александра Невского, Георгия Победоносца, Святого Владимира 2 ступени кавалер и ордена Св. Иоанна Иерусалимского командор, 1750—1800».

Тогда же, в последние недели 1800 года, Пален делает далеко рассчитанный ход. Приближалось 7 ноября 1800 года, четвертая годовщина павловского правления, после которой (согласно предсказаниям гадалок) царю «нечего опасаться». Последовал указ от 1 ноября: «Всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключенным, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, снова вступить в оную, с тем, чтобы таковые явились в

Санкт-Петербурге для личного представления нам». В тот же день милость была распространена и на статских чиновников.

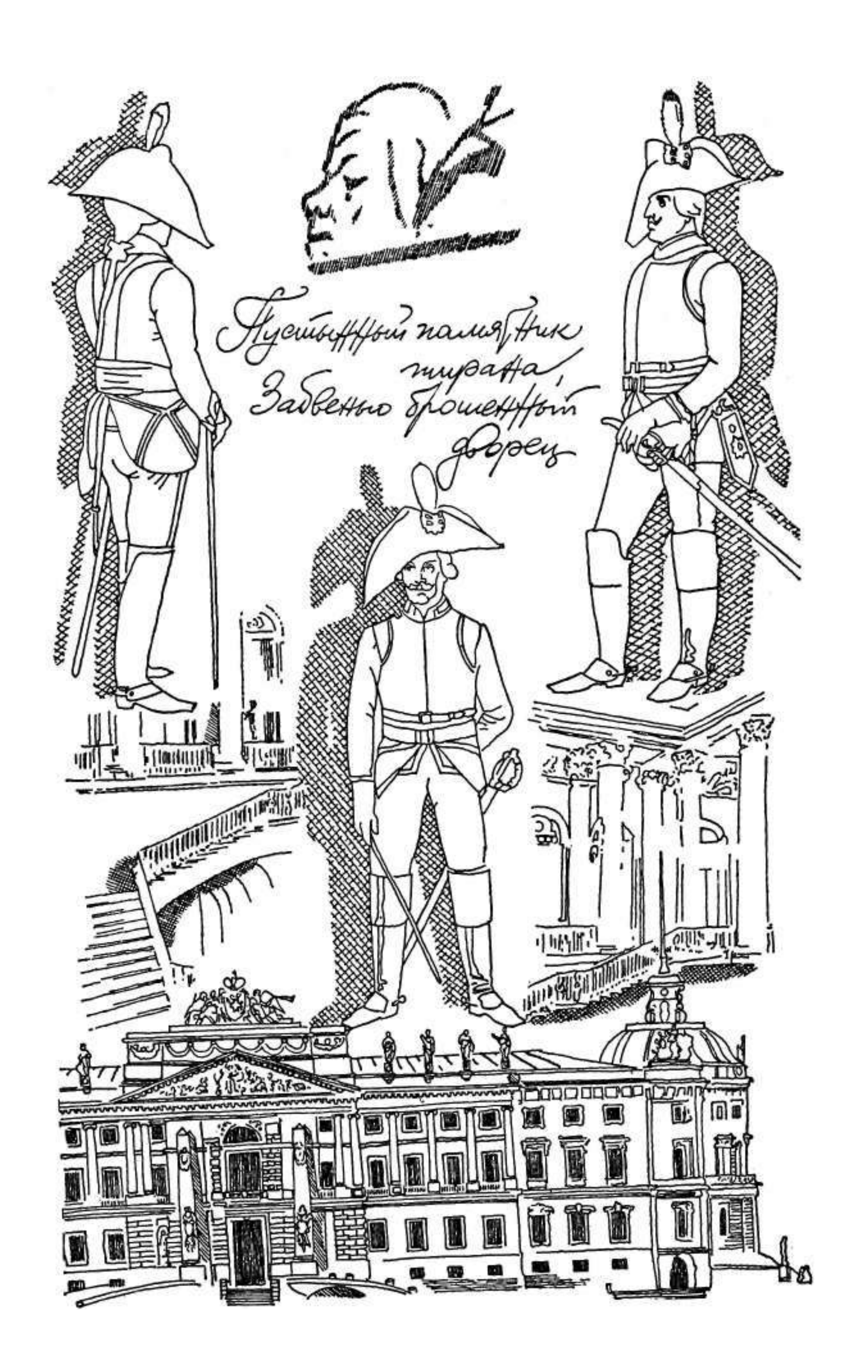
Точно известно, что именно Пален уговаривал царя простить виноватых. Зачем же? На этот вопрос хитроумный генерал ответил одному собеседнику несколько лет спустя:

«Во-первых, он рассчитал, что толпа возвращающихся на службу будет вскоре изгнана обратно, ибо их места заняты»; и действительно, царю «вскоре опротивела эта толпа прибывающих; он перестал принимать их, затем стал просто гнать и тем нажил себе непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать с голоду у ворот Петербурга».

В то же время под предлогом этого указа попросились и вернулись на службу, в столицу, очень нужные для заговора люди: 17 ноября последний любимец Екатерины II Платон Зубов, «Платоша», ссылаясь на указ от 1 ноября, просился «на верноподданническую службу государю, побуждаясь усердием и верностью посвятить ему все дни жизни и до последней капли крови своей». Фразы эти сильно выходят за рамки обычных уничижительных формул. Впрочем, слов не жалели. Подобные же прошения поданы братьями Платона — Николаем и Валерианом Зубовыми.

Милости, выпрашиваемые заговорщиками, даруются: 23 ноября Платон Зубов возвращен и назначен директором Первого кадетского корпуса. 1 декабря Николай Зубов получил высокую должность шефа Сумского гусарского полка. С 6 декабря Валериан Зубов — во главе Второго кадетского корпуса. В те же дни датский посол докладывает своему правительству, что князь Платон «встречен государем хорошо».

Что значат для заговора еще несколько знатных конспираторов? Дело было прежде всего в имени, в клане. Слишком много значил прежде князь Зубов; денежные, дружеские, феодально-патриархальные связи семьи Зубовых дополнялись и самим фактом возможного появления в заговоре братьев Зубовых, важных генералов, известных многим солдатам, к тому же высоких, видных, зычных. Все имело значение в конкретной боевой обстановке!


Пустынный памятник
тирана,
Забвенно брошенный
дворец

Пален впрочем догадывался, что Зубовы в ответственный момент «задрожат», и поэтому с первого дня после амнистии буквально бомбардирует письмами другого намеченного им соратника — Беннигсена.

Вот за этим человеком сейчас и двинется наш рассказ...

Дело в том, что молчание участников заговора позже становится для любопытных потомков чрезвычайно обременительным. Охотников собственноручно описывать «дело» практически не было. В каком-то смысле это была более потаенная история, чем даже 14 декабря 1825 года. Декабристы дожили до начала заграничных и русских публикаций об их восстании; заговорщики 1800—1801-го не дожили. У декабристов было великое желание — описывать свою борьбу, рассказывать о своих идеях; у цареубийц подобные желания проявлялись куда слабее...

За те два без малого века, что отделяют нас от 1801 года, обнаружилось около 40 рассказов о том событии — но все записанные со слов участников или даже третьими лицами. Ни от Палена, ни от Рибаса, ни от Зубовых, ни от других активных заговорщиков не осталось ни строки, писанной их рукой, о столь впечатляющем событии. Обнаружены только два исключения: первое — это записки одного из юных семеновских офицеров Константина Марковича Полторацкого, сыгравшего немалую роль в обеспечении нужного заговорщикам «спокойствия во дворце» в ночь с 11 на 12 марта; второе исключение (а по значению — первое) —

Записки генерала Беннигсена.

В начале 1876 года «Московские ведомости» извещали читателей, что «за границей остались мемуары генерала Беннигсена» и что теперь, через 50 лет после смерти генерала, они, но завещанию, будут напечатаны в Лондоне или Париже.

Эти строки попали на глаза престарелому сановнику А. В. Фрейгангу, который аккуратно их вырезал из газеты и 8 февраля 1876 года отправил главному редактору журнала «Русская старина» Михаилу Ивановичу Семевскому. Фрейганг не верил московской газете и вспоминал

по этому поводу события, случившиеся полвека назад на его глазах: как только пришло известие о смерти (на 82 году) генерала Беннигсена (в его родовом имении Бантельн, в Ганновере), русский посланник в Саксонии сразу же и, очевидно, по приказу свыше, «откомандировал к наследникам Беннигсена старшего секретаря посольства барона Барклая де Толли, чтобы забрать бумаги»; «я был тогда в Лейпциге, — поясняет Фрейганг, — и видел Барклая по возвращении в родительский дом».

Больше никаких подробностей в этом письме не было, но автор намекал, что бумаги Беннигсена скорее не у его домашних, а в секретных архивах Петербурга...

Действительно, миновал 1876 год, затем еще несколько лет, но никаких записок Беннигсена не появилось, и у специалистов возникли подозрения: существуют ли вообще мемуары? И конечно, очень хотелось в это поверить, так как генерал Беннигсен — человек непростой и ему было что рассказать любопытным потомкам.

«Длинный Кассиус»

Это насмешливое прозвище Левина-Августа-Теофила Беннигсена появится в одной примечательной записи очень знаменитого человека. Но о том — чуть позже... Прежде чем заслужить такое внимание, граф прожил несколько нескучных десятилетий. С гравированного портрета работы Больдта глядит лик невозмутимый, лукавый, и если следовать распространенному увлечению того века — физиогномистике, точнее, так называемой «носологии», то по одному этому крупному парусообразному носу можно было бы, пожалуй, кое-что вычислить, конечно, не все, но очень многое...

Первые 28 лет — в Германии. Семилетняя война, замки, охота, а также любовные и питейные проделки, кажется, настолько превысившие среднеевропейскую норму, что каким-то образом вызвали неудовольствие прусского короля Фридриха II... Прямого отношения к карьере молодого офицера это иметь не могло, так как он принадлежал не к прусской, а к ганноверской армии, но Фридрих Великий был достаточно влиятелен, чтобы при

желании испортить и не такую репутацию. В конце концов в 1773 году 28-летний подполковник королевско-ганноверской службы переходит в войско российской императрицы Екатерины II — тем же чином ниже, премьер-майором в Вятский мушкетерский полк. Начинается российская служба Левина-Августа-Теофила, переименованного для благозвучия в Леонтия Леонтьевича; карьера, которой суждено продлиться почти полвека и пройти удивительными путями...

Вопрос о национальности, если бы он был задан, затруднил бы и офицера и его новых начальников: по предкам — немец; но подданство (которое он не сменил) — ганноверское, а так как в Лондоне правит ганноверская династия и королем Ганновера «по совместительству» является король Великобритании, то Беннигсен — англичанин; родной язык военного, на котором писаны почти все его сочинения, — французский; наконец, служба, карьера — российские.

По правде говоря, в ту эпоху не нашли бы здесь ничего особенного. Феодальные понятия о вассале, суверене, службе еще соперничали с национальными.

Тем не менее четыре европейских начала — в одном премьер-майоре; да к тому же столь необычный нос при столь твердом и хитром взоре — все это уж слишком явные черты кондотьера, наемника, профессионала, готового сражаться за каждого и против каждого (даже само слово «кондотьер» идет Беннигсену: сходно с кондором — умной птицей с могучим клювом...).

Трудно отрицать: таков он есть, Леонтий Леонтьевич... Поэтому, угадав кондотьера, попробуем «вычислить» то, что дополняет и, конечно, осложняет простую и ясную кличку.

Кондотьер — но попадает в русскую армию, которая уже оживлена петровской реформой; в армию Суворова и Румянцева, войско национальное, одно из самых передовых по приемам и порядкам.

Кондотьер — но не из случайных полуразбойииков, а из старинного графского рода с большим замком и генеалогическим древом, корни которого в XIII столетии.

По этим или другим причинам, но вновь принятый ганноверский наемник принадлежит к типу людей, делающих свое дело точно, добросовестно, честно. Важное

слово произнесено: мы никогда не узнаем, насколько Беннигсена в самом деле занимали Россия, русские дела... Но он перешел сюда на службу и будет среди других не худшим. Возможно, не столько для чужой земли, сколько для себя, но будет стараться, и не без успеха. Он — хороший профессионал, и в этом его гордость. Надо служить... К тому же Беннигсен ведь недавно овдовел. Двое дочерей остались у матушки в Ганновере, состояние довольно раздроблено между разными ветвями старинной фамилии, а императрица Екатерина ведет войну за войной — в Польше, с Турцией, опять с Турцией, снова в Польше, с Персией, — и везде удачи, и всюду есть где отличиться.

В послужном списке Беннигсена отмечено участие в нескольких знаменитых битвах и походах XVIII века, а также ряд все возрастающих по значению орденов. Правда, чин полковника получен только на сорок третьем году жизни, через 14 лет после начала русской службы. Зато еще через три года — бригадир; в 1794-м — генерал-майор... Как видно, фортуна пошла как раз на закате екатерининского царствования. Нужно думать, были оценены несомненные способности ганноверца — хладнокровие, храбрость; однако наверняка не обошлось без выгодных связей.

Мы больше знаем, правда, о дружеском покровительстве, которое сам Беннигсен оказывал одному из своих подчиненных, выходцу из Голштинии Александру Борисовичу Фоку. Молодой майор, восемнадцатью годами младше своего генерала, очень нравился Беннигсену, возможно, сходством личных судеб или храброй распорядительностью... Мы запомним эту дружбу, во-первых, по ее прямой связи с загадкой Беннигсеновых записок; а во-вторых, по связи двух имен с третьим, одним из самых могущественных: **Зубов.**

Князь Платон Александрович еще тогда, когда был последним фаворитом Екатерины II, заметил двух друзей и отличил, привлек.

В эту пору Беннигсен познакомился с немалым числом людей Зубова. В их числе был и ровесник Беннигсена, генерал из курляндцев, уже не раз упомянутый в этой главе, Петр Алексеевич Пален, — но кто же мог угадать исторические перспективы такого знакомства?

Так или иначе, но улыбка Зубова стоила в те годы немало, и вот уже Александр Фок формирует по поручению временщика первые в русской армии конноартиллерийские роты. Беннигсен же, как стало известно через сто с лишним лет, был вызван на секретное совещание к царице.

Главнокомандующим в Кавказском походе против Персии становится родной брат фаворита Валериан Зубов, в качестве же начальника штаба, то есть опытного помощника, наставника, присмотрели Беннигсена. Екатерина II обласкала генерала и открыла ему тайные мотивы Персидского похода (официальный повод — поддержка претендента на шахский престол): царица желала создания торговой базы в Астрабаде, на южном берегу Каспия, «чтобы повернуть к Петербургу часть индийской торговли, которая притягивается Лондоном».

Поход сулил Беннигсену новые блага, и немалые. За взятие Дербента — получает высокие награды, еще прежде становится владельцем больших имений (свыше тысячи душ) в Литве и Белоруссии, что оказалось весьма спасительным для семейных обстоятельств генерала: как и при вступлении в русскую службу, 23 года назад, он опять был вдовцом, но пережившим уже не одну, а трех жен (от второй оставался сын, от третьей — еще две дочери, а всего уже пять детей, причем старшие начинали одаривать Беннигсена внуками).

Сияющие перспективы рассеялись, однако, более стремительно, чем образовались.

В последних числах 1796 года курьер из столицы догнал углубляющуюся в Закавказье армию с вестью о новом царе Павле I. Первые же распоряжения сына Екатерины сулили начальнику штаба грусть и печаль: поход прекращен, но приказы возвращаться на родину поступают прямо командирам отдельных частей, минуя главное командование, так что Валериан Зубов и Беннигсен с удивлением и ужасом наблюдают, как уходят на север вверенные им полки. В перспективе им двоим оставалось удерживать Дербент и Каспийское побережье...

В 1797 году они возвращаются в столицу, представляются царю. Беннигсен «по старшинству» получает даже чин генерал-лейтенанта, но вскоре отправляется в глухую отставку, в литовские имения, и, конечно, не случайно

вылетает из службы в одно время со всеми Зубовыми: они тоже разогнаны по своим деревням под строгий надзор местной власти (Павел одним росчерком пера, между прочим, лишил князя Платона тридцати шести старых должностей!).

Младший друг Александр Фок продержался чуть дольше, получил генерал-майора, но тоже против воли ушел в отставку 21 января 1800 года, правда, с разрешением, редко дававшимся, — проживать в Петербурге...

Биография Беннигсена казалась законченной. Он на шестом десятке, в приличном чине и вот-вот затеряется среди многих «званых и незваных», чьи имена известны только компетентным военным историкам.

Записки... Вел ли их бывалый участник многих кампаний? Позже он обмолвился, что — записывал с восемнадцатилетнего возраста, то есть еще за десять лет до прибытия в Россию! Может быть... Однако за все годы русской службы вышло лишь одно сочинение Беннигсена — не очень складным немецким языком составленное назидание опытного воина под названием «Необходимые офицеру легкой кавалерии сведения о военной службе и лошадях».

Если б кто-либо представил почтенному Беннигсену (обороняющемуся в своих литовских владениях от нескольких нелегких судебно-финансовых дел) надежный гороскоп, свидетельствующий, что главные события его жизни впереди, даже невозмутимый Беннигсен, вероятно, удивился бы немного, но виду бы не подал — только повел бы славным генеральским носом...

«Беннигсен, — записывает год спустя великий Гете, — длинный Кассиус вышел в отставку генерал-лейтенантом, пытается опять поступить на службу, получает отказ, собирается в понедельник 11 марта уехать, граф Пален удерживает его и отправляет к Зубовым».

«Длинный Кассиус», — заметил С. Н. Дурылин, автор замечательной работы о Гете и России, — это, конечно, не только «прозвище», но и целая характеристика Беннигсена».

Кассий и Брут — убийцы Цезаря.

«Несообразные странности»

11 марта 1801 года, точнее, в ночь на 12-е, генерал внезапно приобретает мировую известность особого рода.

Кроме Гете, его заметит, запомнит Наполеон и даже на острове Святой Елены, рассказывая близкому человеку о делах минувших, определит: «Генерал Беннигсен был тем, кто нанес последний удар; он наступил на труп».

Десятки послов, министров, а также других современников повторяли на разные лады: Беннигсен — один из главных убийц Павла I.

Полвека спустя, Маркс отведет этому факту значительную часть статьи «Беннигсен», составленной им для «Новой американской энциклопедии».

Рассказы перемешиваются с легендами: несколько человек беседуют о происшедшем с самим «Кассиусом» и сразу или чуть-чуть позже записывают то, что слышат от него (знал бы Беннигсен, что пройдут годы, и эти рассказы можно будет положить рядом и сравнить!).

В конце концов образовалась спасительная для генерала неясность. С одной стороны, почти все соглашались, что без Беннигсена дело не было бы доведено до конца; с другой стороны, не понимали, каким образом он, запертый в своем имении, опальный, вдруг столь эффектно прибыл к месту действия.

Столкнулись два противоречащих друг другу образа: хладнокровный организатор убийства и человек, который, по авторитетному свидетельству хорошо нам знакомого декабриста Михаила Фонвизина, «во всю свою службу был известен, как человек самый добродушный и кроткий. Когда он командовал армией, то всякий раз, когда ему подносили подписывать смертный приговор какому-нибудь мародеру, пойманному на грабеже, он исполнял это как тяжкий долг, с горем, с отвращением, и делал себе насилие. Кто изъяснит такие несообразные странности и противоречия человеческого сердца!»

Сам же генерал быстро догадался, что 11 марта — не тот сюжет, которым можно хвалиться в царствование сына Павла, царя, явно причастного к заговору и оттого болезненно относящегося к истории страшной ночи... Беннигсен — среди тех, кто возвел Александра на престол, но

генерал помнит, что «ни одно благодеяние не остается без наказания».

Впрочем, покамест, в 1801 году, Леонтий Леонтьевич извлечен из отставки. Недоброжелатель его, писатель А. Ф. Воейков, вспомнит, как впервые увидел Беннигсена «в кремлевском дворце в день коронования императора Александра и с невольным почтением остановился перед этой величавой фигурой. Он был в общем генеральском мундире с Александровскою лентою и с Георгием на шее. Высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией, он поразил меня своею наружностью, между круглыми, скулистыми и курносыми лицами русских генералов и сановников».

В это время Беннигсен получает следующий чин — полного генерала от кавалерии и отправляется к войскам в литовские губернии. Не в опалу, как другие руководители заговора, но все же — подальше от столицы.

У него опять есть время писать записки, а ведь к старым приключениям прибавилось новое, которое ст*о*ит всех прежних.

Но пишет ли?

Впрочем, биография генерала продолжалась, и ее новые главы будто специально «создавались» для самых отменных мемуаров.

1801—1818

Для начала генерал-граф женится в четвертый раз (на польской аристократке, которая его 30-ю годами моложе) и производит на свет еще сына и дочь, причем седьмой, и последний, ребенок оказался на 47 лет моложе старшей дочери от первого брака. Обратившись к карьере Леонтия Леонтьевича, мы находим тропу, взмывающую к облакам, затем низвергающуюся в пропасть, и — снова вверх, опять вниз... Впрочем, генерал спокоен и все на свете старается делать хорошо.

Итак, 1801—1805. Служба и прозябание в Литве.

1806—1807. Наполеон побеждает под Аустерлицем, Иеной; движется в Польшу. Так как Кутузов в

глубокой опале, царь нехотя приглашает командующим Беннигсена: Александр I мог, по крайней мере, не сомневаться в решительности этого и других заговорщиков 1801 года (кстати, в 1812 году, перед назначением Кутузова, обсуждался вопрос — не поставить ли во главе армии вождя переворота графа Палена?).

Зима 1806—1807. Апофеоз Беннигсена. О нем снова говорят во всем мире: выстоял против Наполеона при Эйлау; непобедимый император не победил.

Александр I, императрица-мать Мария Федоровна в чрезвычайно лестных выражениях благодарят главнокомандующего.

Через полгода под Фридландом Наполеон все же берет верх. Заключается тяжкий для России Тильзитский мир — и в 1807—1812 годах Беннигсен опять не у дел, в имении Закрет близ Вильны. Опять много времени, возраст уже — к семидесяти.

Снова финал?

Июнь 1812. Александр I приезжает в гости, бал для царя в Закрете (который попадает в свое время на страницы романа «Война и мир»). Посреди празднества приходит известие о вторжении Наполеона...

Беннигсен возвращается в строй, ожесточенно спорит с Барклаем, не одобряя отступление; затем уезжает из армии, в Торжке встречает Кутузова, едущего принимать командование. Кутузов зовет с собою, Беннигсен возвращается к войскам, но вскоре начинает возражать и фельдмаршалу, упорствует на совете в Филях; правда, удачно действует при Тарутине, но затем — жалуется на «пассивность» Кутузова царю.

Кутузов, в ответ, жалуется в Петербург на Беннигсена. В результате царь разрешает главнокомандующему избавиться от подчиненного. Кутузов не торопится, но на последнем, победном этапе кампании нападки Беннигсена усиливаются: он доказывает (и с ним согласны некоторые генералы и офицеры), что Наполеона можно и должно отрезать, окружить, что у французов слишком мало сил, чтобы уйти из России. Кутузов, однако, исходил из своей логики, столь высоко оцененной Львом Толстым: он, очевидно, не хотел удесятерять сопротивляемость Наполеона, загоняя его в совершенно безвыходное положение; опасался нарваться на контрудар, полагал, что нужно как

бы «эскортировать» тающую французскую армию до границы: «Сами пришли — сами уйдут».

Сопротивление Беннигсена раздражает Кутузова, и тут он достает ранее полученную царскую бумагу: Леонтия Леонтьевича из армии высылают.

1812—1813. Новая, уже четвертая опала. Сначала в Калуге, потом все в том же, разоренном французами Закрете. Однако Александр I, «властитель слабый и лукавый», не хочет и чрезмерного торжества Кутузова. Милость Беннигсену постепенно возвращается.

1813—1814. Беннигсен снова в действующей армии, войну завершает у Гамбурга.

После 1814. Получает высочайшие ордена, огромную денежную награду; но видны уже и контуры пятой опалы. Леонтий Леонтьевич послан командовать армией на Украину и Бессарабию. Он явно рассчитывал на большее. Устал...

В 1818-м: на 74-м году жизни просится в отставку. Царю пишет: «Прошу разрешить отъезд в мое прежнее отечество», в Ганновер (где только недавно скончалась его 90-летняя мать).

Молодая жена, семеро детей в возрасте от семи до 54 лет, внуки и правнуки, награды и ценности, многолетний архив — все отныне сосредоточивается в отцовском замке Бантельн. И секретные мемуары, если они велись; записки о 1801-м, 1807-м, 1812-м и многих других любопытных датах.

«Бессмертные творения»

Это сочетание слов употребил в письме к Беннигсену его давний приятель, французский эмигрант на русской службе генерал Александр Ланжерон.

«Многоуважаемый генерал!

Взяв в руки Ваши бессмертные творения, нельзя от них оторваться, я читал и перечитывал... Вы слишком добры ко мне, и мы, смею сказать, слишком близки друг другу, чтобы я стал говорить Вам пустые комплименты... Советую Вам сшить по листкам каждое письмо, потому что легко могут затеряться отдельные листки. Бесспорно, мой журнал далеко не имеет того интереса, как Ваш, но я последовал Вашему приказанию и послал его Вам,

чтобы Вы могли позаимствовать некоторые сведения».

«Журнал» — это дневник, уже обработанный и превращающийся в записки.

Ланжерон — сам известный мемуарист — получил для прочтения журнал своего начальника. Из текста видно, что Беннигсен составляет воспоминания в виде серии писем, очевидно обращенных к кому-то. Понятно также, что речь идет о записках, посвященных минувшим войнам. Но может быть — не только войнам?

О том, что Беннигсен пишет мемуары, знал не один Ланжерон: кажется, хитрый ганноверец в определенную пору нарочно распускал слухи. Это бывало в годы опалы, когда требовалось искать путей к сердцу цареву и — к новому возвышению.

В 1810-м — между двумя войнами с Наполеоном — Беннигсен, обращаясь к близкому другу, «льстит себя надеждой, что император прочтет мой труд с интересом». Другом был уже упоминавшийся А. Б. Фок, который в ту пору служил при военном министре Барклае и через его посредство легко мог передать записки Беннигсена в руки государя...

Мог — и, кажется, передал (что и сыграло роль в очередном примирении Александра с Беннигсеном перед 1812 годом).

«Мемуары-письма», о которых толкует Ланжерон, были письмами к Фоку, рассчитанными не только и не столько на Фока.

Записки о двух войнах с Наполеоном должны были выдвинуть Беннигсена-полководца, а также, видимо, погасить упорные слухи, ходившие по Европе, будто генерал описал и самое щекотливое дело в своей жизни.

Имея все это в виду, мы поймем, отчего появление военных записок Беннигсена сопровождается (мы точно знаем по рассказам современников!) разными разговорами генерала о «несчастном дне 11 марта»; и, как можно легко догадаться, «длинный Кассиус» не старался этими разговорами ухудшить свою репутацию.

Так или иначе, но до современников время от времени доходили «мемуарные волны», причудливо отражавшие подъемы и спады Беннигсеновой карьеры.

Только последние восемь лет жизни генерал-фельдмаршал мог, кажется, не беспокоиться...

1818—1826

Внучка генерала, Теодора фон Баркхаузен (которой в начале XX века было около 90 лет), неплохо помнила деда, а еще лучше — фамильные предания о нем. Водворившись на покой в Бантельне, Беннигсен поддерживал форму — прогулками, верховой ездой, работой: «Дед работал каждое утро с моей матерью и теткой над мемуарами». Внучка признается, что содержание работы ее совершенно не интересовало — куда лучше запомнилась внешняя сторона: «Генерал в кресле, рядом тетка София фон Ленте с рукописью в руках. У матери другой экземпляр. Она громко читает текст, другая — корректирует (очевидно, по копии), дед изредка перебивает, исправляет, дополняет».

О том, что записки сразу создавались в нескольких экземплярах, сохранилось не одно свидетельство.

Но о чем же вспоминал на досуге фельдмаршал? О прошлых войнах, кажется, письма уже написаны?

Генералу и будущему известному историку Михайловскому-Данилевскому Беннигсен скажет, уезжая из России, что у него «целых семь томов «Воспоминаний о моем времени», начинающихся с 1763 года». Слухи о них распространяются все шире, вместе с догадками о возможном сенсационном содержании. Этого оказалось достаточным, чтобы французские издатели предложили за текст 60 тысяч талеров...

Дело было в 1826 году. Потомки помнили, как прибывали в Бантельн газеты, сообщавшие о восстании декабристов и суровом приговоре. «Эти новости очень волновали деда, и он о них часто говорил». Мы легко догадываемся, что волновало Беннигсена: прежде всего сходство и в то же время разница между «14 декабря» и «11 марта», тем заговором, где он был среди главных действующих лиц. Вряд ли генерал разобрался в событиях, вряд ли понял, что Рылеев, Пестель и другие (некоторые из них ему наверняка были известны лично) хотели не смены, а коренной перемены правления.

Однако 1825 год бросал обратный исторический отсвет на 1801-й. Даже императрица-мать Мария Федоровна огорошила одного из собеседников своими соображениями, что, поскольку ее сын Александр не мог покарать

цареубийц 11 марта, ее младший сын Николай восстановит упущенное.

Трудно сказать, не российские ли известия повлияли на здоровье Беннигсена. Родственники свидетельствуют, что он как-то разом слег — даже не болел, и 2 октября 1826 года скончался на 82-м году жизни.

Сохранились эмоциональные воспоминания известного немецкого писателя Боденштедта, со слов кузена, пастора, который, в свою очередь, записал рассказ своего предшественника, причащавшего Беннигсена: «Когда пастор произнес слова: «Наш владыка, в ночи, когда был предан...», умирающий со стенаниями и вздохами приподнялся и снова упал, ясно сказав: «Ах, да, господин пастор, в ночи, когда был предан», — и испустил дух. Пастор рассказал своему преемнику, моему кузену, ныне еще здравствующему, что ничто его так не захватывало, как эти переживания у смертного одра старого генерала фон Беннигсена».

Вот тогда-то вдова и получила предложение — продать мемуары за 60 тысяч талеров.

«Ко мне!»

Николай I, как мы знаем, писал эти слова у заглавия тех документов, которые желал совершенно изъять из обращения.

Мы снова находимся у той даты — 1826 года, — с которой начинали и от которой «Московские ведомости» отсчитывали 50 лет, ожидая обнародования секретных записок.

Несколько рассказов о происшедшем сходятся в основе, но расходятся в любопытнейших деталях. Послушаем:

Генерал Михайловский-Данилевский: «Получив предложение 60 тысяч талеров, вдова обратилась за разрешением к посланнику в Гамбурге Струве и получила в ответ письмо Министерства иностранных дел, предлагавшее отправить записки мужа в Петербург. Согласно этой версии, Марии Беннигсен обещали вернуть рукопись после прочтения, но вместо того выслали известную сумму, и дело на том кончилось».

Внучка Беннигсена (несомненно, пользующаяся не только личными воспоминаниями, но и семейными бумагами): «Русский поверенный в делах господин Струве тотчас затребовал у вдовы от имени своего суверена мемуары ее мужа. Она не могла противиться желанию его величества и отослала обширные мемуары со всеми документами, составлявшими приложения к ним».

Вдова получила за это большую пожизненную пенсию, добавляет другой потомок-комментатор: «К счастью, София фон Ленте, одна из дочерей генерала, была настолько предусмотрительна, что сняла копию со всех наиболее интересных частей мемуаров».

В дополнение к этим сходным в основе рассказам следует привести еще один выразительный документ: уже упомянутый Струве 15/27 января 1827 года спрашивает свое правительство, следует ли остановить издание записок Беннигсена, которое, по слухам, готовится во Франции? На документе собственноручная резолюция Николая I: «Это нужно сделать».

Делались попытки выкрасть мемуары...

Причина особых волнений Петербурга абсолютно ясна: Павел I.

И без особой причины власти постарались бы взять под контроль бумаги умершего крупного военачальника: так обычно делалось. Однако документальное разглашение одного из самых зловещих секретов российской истории (убийство царя-отца, в сущности, с ведома наследника-сына) — этого боялся и Александр I, и другой сын убитого — Николай I. Как раз в начале XIX века таинственно исчезают важнейшие бумаги, которые могли бы пролить свет на эту загадочную историю. За два года до своей смерти царь Александр I, по сообщению декабриста С. Г. Волконского, послал трех доверенных лиц изъять бумаги умершего Платона Зубова. Среди сохранившихся документов Зубова в Центральном государственном архиве древних актов — только рукописи екатерининских времен: понятно, что все более позднее изъято и, вероятно, уничтожено после высочайшего просмотра. В 1826 году почти одновременно с Беннигсеном скончался в своем курляндском поместье глава дворцового заговора 1801 года граф Пален, — о местонахождении его архива до сих пор неизвестно, вероятно, власти «постарались»...

Беннигсен был третьим «столпом» того, старого заговора, и Петербург не шутя интересуется его архивом.

Бумаги получены и вывезены из Ганновера в Россию либо для секретного хранения, либо для уничтожения...

Проходят годы, десятилетия. События 1801-го, 1812-го, 1825-го все дальше, но по-прежнему злободневны, Пушкин сказал бы: «животрепещущи, как вчерашняя газета».

Появляются кое-какие документы, рассказы современников о зловещей ночи с 11 на 12 марта 1801 года. Когда же через 50 лет после кончины Беннигсена воскресла надежда прочесть, наконец, те злополучные записки, то возникло, как помним, разномыслие, где они находятся — у потомков в Германии или в России? В семейном архиве в Бантельне или в Государственном архиве в Петербурге?

Однако «длинный Кассиус» обманул — и пожелал явиться потомкам из третьего потаенного места.

Сорок два письма

Открыватель — дотошный чиновник государственной канцелярии Петр Михайлович Майков (родственник знаменитого поэта).

Время действия — 90-е годы прошлого столетия.

Место: семейный архив обширной фамилии Фок; уже одним этим сказано многое. Борис Александрович Фок и его родня — внуки и правнуки того генерал-майора, который почти всю жизнь дружил с Беннигсеном.

Что Леонтий Леонтьевич отправлял письма-мемуары А. Б. Фоку, было смутно известно и прежде. Но что письма сохранялись в семье адресата почти столетие спустя — вот это была неожиданность!

Отчего же семья Фок раньше не обнародовала важных бумаг? Скорее всего потому, что автор их не был в большой чести у российских историков: во-первых, из-за щекотливой, «непечатной» темы о Павле I; во-вторых, из-за устойчивой репутации интригана, мешавшего Кутузову... Еще исторически близко все было, и многие из живых свидетелей могли начать нежелательную для письмовладельцев дискуссию.

К 1890-м годам последних ветеранов Отечественной

войны уж не стало и чуть приутихли старые исторические страсти, уступая место новым. Тем не менее Майкову было непросто опубликовать сочинения столь сомнительной исторической личности, к тому же — самой неясной национальной принадлежности. В течение нескольких последних лет XIX века и в первые годы XX века в журнале «Русская старина» и других изданиях были напечатаны — однако неполно, с немалыми пропусками, — мемуары Беннигсена в виде его писем к Фоку. И тут, после первых публикаций, произошло давно ожидаемое: перед Майковым открылись архивы военного министерства, где лежали бумаги Беннигсена, очевидно, те самые, которые были выкуплены в 1827 году у семьи генерала.

Так Майков вывел наружу два из трех «подземных» хранилищ записок. То, что лежало в военном министерстве, поддается сегодняшней проверке: в Центральном государственном военно-историческом архиве немало Беунигсеновых бумаг. Что же касается документов Фока, то они исчезли после революции, и если бы Майков вовремя ими не воспользовался, важный исторический комплекс был бы, возможно, утрачен...

Но что же извлек Майков из двух архивов? Что было в записках Беннигсена?

Прежде всего — 25 больших писем к А. Б. Фоку: история кампаний 1806—1807 годов, история Эйлау, когда Беннигсен достиг вершины своих военных успехов.

Сотни страниц одного из важных деятелей об очень интересном времени.

В 1906—1907 годах трехтомное издание Беннигсеновых сочинений вышло в Париже.

Майков, однако, догадывался, что были еще мемуары (где же семь томов, о которых говорилось Михайловскому-Данилевскому?).

Майков свидетельствовал, что ни в семье Фоков, ни в военном архиве он не нашел ни слова о Павле I. Большие знатоки российских тайных архивов Н. К. Шильдер и В. А. Бильбасов также нигде не обнаружили «павловских глав» из Беннигсеновых записок. Получалось одно из трех: либо таких мемуаров вообще не было, но этому противоречило несколько туманных и одно вполне ясное иностранное свидетельство; второй вариант — что вдова

Беннигсена отдала их в Россию вместе с другими бумагами, а Николай I, ознакомившись, сжег, так же как бумаги Зубова, Палена... Это возможно; но почему же у Фоков ничего не осталось? Тоже боялись?

Третья версия: наследники фельдмаршала на всякий случай не отдали русскому царю «павловских страниц», которые могли бы вдруг вызвать нежелательный гнев Николая, повредить вдове Беннигсена. Поступив таким образом, потомки должны были затаиться и не дразнить петербургского властителя.

Однако всему — время.

«Вы сами видите, генерал...»

Столетие гибели Павла в 1901 году давало повод снять некоторые запреты. В России даже вышел сборник анекдотов о том царствовании, но подготовленные материалы о самом заговоре все же были запрещены (до 1906—1907 годов).

Появление в России и Франции писем Беннигсена к Фоку, несомненно, произвело впечатление и на тех, кто владел потаенной частью записок.

А ей негде было и быть, кроме родового гнезда в Ганновере.

И вот известного немецкого историка Теодора фон Шиманна, убежденного консерватора, личного друга кайзера Вильгельма II, большого знатока российского прошлого, приглашает внучка Беннигсена, уже упоминавшаяся Теодора фон Баркхаузен, которая и в начале XX столетия помнит своего знаменитого деда... Внучка вручает историку текст весьма любопытного документа.

Вскоре, однако, выяснилось, что и другие представители разросшегося графского древа владеют важными текстами... Особенно разволновался клан Беннигсенов, получив первые два тома записок генерала, опубликованных в Париже; тут уж было «европейское звучание», и семья не осталась равнодушной.

Два внука, Мишель и Леон, специально отправились во Францию, чтобы сообщить ряд новых документов и успеть ввести их в третий том.

В предисловии к последнему тому парижского издания

редактор благодарил Беннигсенов: «Корреспонденция богата, но многое еще не время публиковать...»

Эти строки, конечно, не пройдут мимо нашего внимания и воображения.

Из того же, что можно было опубликовать, появилось еще одно письмо с обращением, вынесенным в начало этой главки: «Вы сами видите, генерал...»

Генерал Фок может «сам увидеть», что «такое положение дел, такое замешательство во всех отраслях правления, такое всеобщее недовольство, охватившее население не только Петербурга, Москвы и других больших городов империи, но и всю нацию, не могло продолжаться и что надо было рано или поздно предвидеть падение империи».

Конец письма:

«Я был уверен, генерал, что вы с нетерпением ждете от меня точного описания великих событий, происшедших в Петербурге 12 (24) числа этого месяца; я не сомневался, кроме того, что вы не без интереса услышали мое имя при рассказе об этих событиях в виду того участия, которое приписывали мне в них по слухам и которое набрасывает на меня тень и противоречит в значительной степени моим принципам и чувствам чести, всегда руководившему мною в моих действиях. Поэтому я представляю вам самые точные данные о происшедшей здесь революции, которая прекратила жизнь императора Павла и возвела на русский трон великого князя Александра к необычайному восторгу населения Петербурга, Москвы и, может быть, всей империи. Восторг этот был безграничен, когда новый государь в своем манифесте дал обещание управлять государством по духу бессмертной Екатерины.

Март, 1801 г. С.-Петербург».

Итак, записки очевидца, законченные в нужное время в нужном месте...

Однако можно ли доверять лукавому Кассиусу? Где доказательство, что это написано не через год или годы — задним числом (как Беннигсен часто делал в военных письмах 1807—1812 годов)?

Присмотримся: письмо несет живой отпечаток события, и в нем имеется фраза о «событиях, происшедших в Петербурге 12 (24) числа этого месяца», т. е. очевидно, что написано действительно в марте 1801 года.

Но дошло ли письмо к Фоку, жившему в 1801 году в Петербурге? Ведь Майков не обнаружил подобного текста у потомков Фока: их дед, умерший весной 1825 года, либо избавился от опасного документа, либо вообще его не получал. Между прочим, никакого обращения в документе не найдем: просто — «генерал»... Потомки Беннигсена (очевидно, с его слов) теперь знали, что адресат — Фок; однако маскировка наводит на разные мысли...

«11-го (23) 1801 года утром я встретил князя Зубова в санях, едущих по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно поговорить со мной...»

Так начинается самая драматическая часть Беннигсенова рассказа. Сразу заметим, пока не вникая в детали, что, выходит, если бы князь Зубов «не встретил» автора именно в последний день жизни Павла, то дальнейших событий вроде бы не было...

Отделение правды от вымысла — задача любопытная и очень непростая.

И вот что мы сейчас сделаем — раскроем письмо Беннигсена об убийстве Павла, а рядом с ним положим шесть записей, сделанных со слов Беннигсена другими лицами: подробную заметку генерала Ланжерона, составленную сразу же после беседы в 1804 году, рассказ Беннигсена генералу Кайсарову, записанный Воейковым (1812), строки других современников — Адама Чарторыйского, Августа Коцебу, лейб-медика Гривса и, наконец, племянника Беннигсена фон Веделя.

Записи, сделанные не в одно время, но — об *одном времени и со слов одного человека*.

Пусть же говорит сам Беннигсен в письме, пролежавшем целое столетие, пусть говорит, но помнит, что он открылся нескольким собеседникам.

Итак, 11 марта он встречает на Невском Зубова, который приглашает в гости. «Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более, что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: «Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе» — и добавил: «Князь Зубов скажет вам остальное». Я заметил, что он все время был смущен и взволнован.

Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивился, что он не сказал мне о том, что должно было случиться...»

Итак, всего за несколько часов до дела генерал «ничего не подозревал». Однако Беннигсену возражает... Беннигсен (в изложении Воейкова): «Имея дело в Сенате, тяжебное дело, я просился в Петербург в отпуск, мне было отказано, вместе с отказом я получил письмо от гр. Палена, в котором он, как С.-Петербургский военный губернатор и сильный человек при императоре, приглашал меня тайно приехать в столицу, на короткий срок, для устройства дел моих.

Вместе с этим письмом прислал он ко мне и паспорт на проезд в С.-Петербург.

Тяжба моя была не шуточная; я поскакал, явился к графу Палену, получил от него билет на проживание под именем поверенного генерала Беннигсена, он взял с меня слово не показываться ни в какие публичные места до разрешения моего дела, которое обещал мне походатайствовать у государя.

Таким образом, жил я, выходя только к сенатскому секретарю и обер-секретарю, производившему мое дело. Это происходило в феврале».

Как видим, контакты «второго рассказчика» с графом Паленом отнюдь не случайны, как выходит из первого рассказа; некий тайный умысел вождя заговора в отношении Беннигсена очевиден. Кто же из двух Беннигсенов прав? Вмешивается третий: Беннигсен — Ланжерон. Он подтверждает, что еще в начале 1801 года был приглашен Паленом, который «энергично выражал свое желание видеть меня в столице и уверял меня, что я буду прекрасно принят императором. Последнее его письмо было так убедительно, что я решился ехать». Далее сообщается, что Беннигсен не прятался вовсе, а явился на аудиенцию к царю, который сначала был добродушен, а затем предельно холоден. «Пален уговорил меня потерпеть еще некоторое время, и я согласился на это с трудом: наконец, накануне дня, назначенного для выполнения его замыслов, он открыл мне их: я согласился на все, что он мне предложил».

Последний рассказ грубее, проще, не основан на «роковых случайностях» и выглядит весьма правдоподобно,

тем более — учитывая известную нам дружескую близость Беннигсена и Ланжерона. Между прочим, в одном из сохранившихся писем к родственникам (напечатанном в 1907 году) генерал прямо свидетельствует, что прибыл в столицу еще 18 января 1801 года и, конечно, имел время присмотреться к событиям, еще более сблизиться с Паленом.

Все это позволяет нам не очень верить Беннигсену-мемуаристу, но прислушаться к Беннигсену-рассказчику...

Пойдем дальше.

Собственною рукою Беннигсен описывает Фоку, как развернулись события вечером 11 марта. «Часов в десять, — приехал к Зубовым, где было еще три лица, посвященных в тайну: князь Зубов сообщил мне условный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору».

Назвали, понятно, наследника, великого князя Александра. «Беннигсен — Воейков» усиливает драматизм: оказывается, что у Зубова находилось «человек 30», что все равно ему, Беннигсену, «не было другого средства выпутаться». О наследнике же этот Беннигсен говорит много осторожнее, — что узнал «о мерах, хотя прискорбных и тяжких, но необходимых, которые будто бы известны Александру Павловичу и его матери Марии Федоровне...».

Мы понимаем, что многое мог смягчить тот, кто записывал, но, даже приняв во внимание этот коэффициент, наблюдаем любопытную разницу двух Беннигсенов: первый пишет в 1801 году, вскоре после убийства, — ему сказали, кто во главе заговора, и в письме нет никаких намеков на обман. Ведь действительно Александр I был «во главе», а если так, то можно ли «сопротивляться»? К тому же и Пален, и Зубовы сразу после переворота, в 1801-м, еще в силе... Однако в 1812 году (время рассказа, записанного Воейковым), когда события удалились и «быльем поросли», царю неприятно вспоминать о собственном согласии, Пален и Зубовы давно в опале, и дело подается так, что вроде бы генерала обманули.

Чем позже рассказ, тем «обман», задним числом, делался все сильнее...

Читаем далее рассказ Беннигсена.

К ночи он вместе с Зубовыми приходит на квартиру генерала Талызина, где собралось множество офицеров, выслушивающих инструкции Палена. В полночь вышли, разделились на две колонны: «Во главе первой — князь Зубов, его два брата, Николай и Валерьян, и я...»

Как видим, Беннигсен (в письме к Фоку) ставит себя на последнее место после более главных. Беннигсен — Ланжерон правдивее: «Все были по меньшей мере разгорячены шампанским, которое Пален велел подать (мне он запретил пить и сам не пил). Нас собралось человек 60; мы разделились на две колонны: Пален с одной из них пришел по главной лестнице... А я с другой колонной направился по лестнице, ведущей к церкви».

Не для того Пален вызывал его из глуши, чтобы увеличивать число участников еще на единицу. Вызвал, чтобы — возглавил (он хорошо знал ганноверца и был знаком с его спокойным стилем)... К тому же в такие минуты немаловажен и внешний вид: высокий рост, обилие орденов... Зубовы — все молодцы как на подбор, но Беннигсен особенно эффектен. Припомним пушкинское:

Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Ленты, ордена; на убийство — как на парад! Это, разумеется, не случайно; этим подчеркивается «высшая законность», государственный характер совершаемого.

Все делается для максимального воздействия на солдат: рослые, мощные, в полном параде генералы, соответствуют солдатскому понятию о «важных лицах»...

Колонна Палена блокирует дворец извне. Беннигсен, Зубовы и несколько офицеров проходят внутрь...

Тут Беннигсен-мемуарист и несколько Беннигсенов-рассказчиков стараются умолчать о важной подробности, но один из них проговаривается точному, умному, памятливому князю Адаму Чарторыйскому: когда во дворце раздались крики, шум, поднятые камер-лакеями Павла,

«шедший во главе отряда Зубов растерялся и уже хотел скрыться, увлекая за собою других; но в это время к нему подошел генерал Беннигсен и, схватив его за руку, сказал: «Как! Вы сами привели нас сюда и теперь хотите отступать? Это невозможно, мы слишком далеко зашли, чтобы слушаться ваших советов, которые нас ведут к гибели. Жребий брошен, надо действовать. Вперед!» — Слова эти я слышал впоследствии от самого Беннигсена».

Один немецкий писатель, находившийся в Петербурге, очевидно, также знал эту историю от самого Беннигсена: «Князь Зубов сильно дрожал. Генерал Беннигсен должен был ему напомнить, что теперь уже не время дрожать...»

Не зря Пален вызвал Леонтия Леонтьевича и не зря опасался, что Зубовы задрожат...

Наконец, два присутствующих офицера запомнят слова Беннигсена, сказанные Зубову, — «полумеры ничего не стоят», — и эта реплика дойдет до Воейкова...

Но вот двери взломаны, заговорщики врываются в царскую опочивальню.

Беннигсен — Фоку: «Я поспешил войти вместе с князем Зубовым в спальню, где мы действительно застали императора уже разбуженным этим криком и стоящим возле кровати, перед ширмами».

Беннигсен — Ланжерону: «Мы входим. Платон Зубов бежит к постели, не находит и восклицает по-французски: «Он убежал!» Я следовал за Зубовым и увидел, где скрывается император».

Затем почти полное совпадение во всех рассказах: что Зубов вышел, часть офицеров отстала, другая, испугавшись отдаленных криков во дворце, выскочила, и какое-то время Беннигсен находился один на один с Павлом.

Самое щекотливое место.

Фоку сообщено кратко: «Я с минуту оставался с глазу на глаз с императором, который только глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу стали входить офицеры из тех, что следовали за нами».

Ланжерону: «Я остался один с императором, но я удержал его, импонируя ему своим видом и своей шпагой». К этому месту Ланжерон много лет спустя сделал примечание: «Если бы Беннигсен не находился в числе заговорщиков, то император, оставшись один и

придя в себя, мог бы бежать... Пален отлично все рассчитал, поручив ему выполнение заговора».

Еще откровеннее генерал со своим племянником фон Веделем: оказывается, Беннигсен и некоторые вернувшиеся в комнату офицеры задержали царя, когда он «сделал движение в сторону соседней комнаты, в которой хранилось оружие арестованных...».

И тем не менее в 1812 году генералу Кайсарову сообщается нечто поразительное:

«Привыкнув всегда быть впереди моего полка, я и тут был впереди маленькой колонны.

Долго не понимал я, как случилось, что я очутился один в спальне императора, глаз на глаз с ним и держа обнаженную шпагу. После я уже узнал, что полупьяная толпа оробела, кинулась вниз по лестнице, а предводители их за ними.

Между тем император стоял в одной рубашке. У нас произошел разговор, не более 10 минут длившийся; мне показались они за вечность.

Павел, дрожа от страха, стоял передо мной, бледный с всклокоченными волосами, до того растрогал меня своим раскаянием, своими слезами и особенно неведением многого деланного его именем, что я готов был защищать его против целого света.

Настало молчание.

Я вообразил, что коварство Палена и Зубовых придумало выбрать меня орудием их замысла; я поставил шпагу на пол и острием к сердцу моему и хотел заколоться.

Вдруг буйная толпа ворвалась с неистовыми криками в спальню, впереди были три брата Зубовы...»

Воейков, записав все это, справедливо заметил на полях — «ложь!», однако не удержался от дополнительного комментария (тем более, что давал свои записи на просмотр знаменитому жандармскому генералу Дубельту): «Беннигсен рассказывал, желая смыть кровь праведника».

Тут даже Дубельт не выдержал и написал Воейкову ответ: «Воля твоя, он не был праведником!..»

Мы разбираем уникальные разноречия в пересказе одного эпизода одним человеком.

Какой диапазон! От грозного вида и шпаги генерала,

«импонирующих» Павлу, до той же шпаги, готовой превратить убийцу в самоубийцу...

Рассказ Фоку о гибели Павла близится к концу.

Подходят еще офицеры, Беннигсен выходит «осмотреть двери», возвращается, видит, что царя уже повалили: «Мне кажется, он хотел освободиться от них и бросился к двери, и я дважды повторил ему: «Оставайтесь спокойным, ваше величество, дело идет о вашей жизни!»

Снова шум в смежной комнате, генерал опять выходит... «Вернувшись, я вижу императора, распростертого на полу. Кто-то из офицеров сказал мне: «С ним покончили!» Мне трудно было этому поверить, так как я не видел никаких следов крови. Но скоро я в том убедился собственными глазами. Итак, несчастный государь был лишен жизни непредвиденным образом и, несомненно, вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции...»

Племянник Ведель записывает почти то же самое, но с одной весьма существенной подробностью: когда раздался новый шум в смежной комнате, окружившие Павла опять перепугались, но Беннигсен опять обнажил шпагу: «Теперь нет больше отступления!»

Затем — почти как в письме Фоку: «Он приказал князю Яшвилю охранять царя и поспешил в переднюю. Через несколько минут, когда все было устроено, он пошел обратно и встретил пьяного офицера, кричавшего: «С ним покончили!» Генерал оттолкнул офицера и закричал: — стойте! стойте! Хотя он видел государя, поверженного на пол, он не хотел верить, что он убит, так как нигде не видно было крови».

Послушаем третьего Беннигсона, того, кто хотел «заколоться шпагой». Этот не пускается в драматические подробности и не хочет вызывать у собеседника лишних подозрений насчет своей причастности. «Я ушел прежде, чтобы не быть свидетелем этого ужасного зрелища».

Другу Ланжерону, с которым вообще был довольно откровенен, он тоже не пожелал рассказать подробности: «Я вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого промежутка времени прекратилось существование Павла». Эта краткость, однако, возбудила любопытство Ланжерона. Он начал расспрашивать других и в результате сопроводил рассказ следующим примечанием:

«Беннигсен не захотел мне больше ничего говорить, однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве»...

Письмо Беннигсена Фоку миновало свою трагическую кульминацию. О том, насколько версия генерала была удачна, свидетельствует резко оборвавшаяся карьера всех главных цареубийц, кроме Беннигсена. Ганноверец продолжал с успехом служить еще много лет, невзирая на чередование взлетов и провалов. «Вы видите, генерал, — заверяет Беннигсен, — что мне нечего краснеть за то участие, какое я принимал в этой катастрофе».

Хорошо зная манеру Леонтия Леонтьевича писать «как бы Фоку», зная его умение представлять царю самые туманные сюжеты в нужном свете, сильно подозреваем, что и этот документ попал на глаза высочайшей особе задолго до смерти Беннигсена...

Повторим высказанное раньше подозрение, что письмо отсутствовало в архиве Фоков, потому что туда не попадало. Если это так, то перед нами военный маневр, не менее искусный, чем в битве при Эйлау.

Многоопытный современник, видя собственными глазами, как императрица-мать, ненавидевшая Беннигсена, тем не менее «опиралась на его руку, когда сходила с лестницы», восклицает: «Этот человек обладает непостижимым искусством представлять почти невинным свое участие в заговоре!»

Разумеется, сам Беннигсен не пропускает в письме к Фоку столь важного и реабилитирующего момента, как шествие под руку с императрицей: через несколько часов после гибели Павла «императрица просила меня подать ей руку, спуститься с лестницы и довести ее до кареты».

Еще одно сведение для полноты картины: известная польская мемуаристка, в беседе с которой Беннигсен не стеснялся, запомнила, что «генерал рассказывал об ужасной сцене, не испытывая ни малейшего смущения... он считал себя совершенным Брутом».

Может быть, лучше других оценила воспоминания мужа его последняя супруга, имевшая, как рассказывали, обыкновение неожиданно вбегать к генералу с криком: «Новости! Новости!»

— Какие?

— Император Павел убит!..

* * *

Записки человека о своем времени. Они могут нравиться, не нравиться; мы можем сделать прошлому выговор, возмутиться им, но никак не можем сделать одного: отменить то, что было...

Можно, конечно, умолчать о неприятных фактах, воспоминаниях; однако умолчание — это мина под тем, что произнесено, мина, грозящая взорвать то, что рассказано.

Надо ли объяснять, что рассказы Беннигсена в своем роде очень типичны; к тому же они позволяют искать и таинственные записки, принадлежавшие другим авторам, и при том уяснить — как мало сообщили потомкам главные деятели 11 марта 1801 года, события, названного Герценом «энергическим протестом... недовольно оцененным».

Наконец, положив рядом очевидные страницы мемуаров-писем Беннигсена, тут же угадываем смутные контуры их невидимых частей.

Где семь томов «журнала», ведущегося с 1763 года?

Где ответы Фока на письма Беннигсена?

Где разные письма Беннигсена к родным, и родных — к нему; письма, особенно интересные в те периоды, когда каждая мелочь может многое объяснить?

Таинственное «где все это?» — относится не только к запискам самого генерала, но и к некоторым другим тайнам, которые Беннигсен будто притягивает: упомянутые записки Ланжерона, очень мало изученные, лежат, частично, в Отделе рукописей Ленинградской публичной библиотеки, но в основном — в Париже... Записки Воейкова: много дали бы историки и литераторы, если бы могли отыскать еще какие-либо фрагменты.

«Многому еще рано появляться в печати», — заметил французский издатель в 1907 году.

«Бантельн. Семейный архив семьи фон Беннигсен», — читаем мы в справке о западногерманских архивах, составленной в наши дни... Дремлют под ганноверскими сводами дневники, листки, письма; некуда торопиться. Потомки генерала вряд ли посочувствуют любопытству современников...

Наш рассказ посвящен «Запискам» Беннигсена. Од-

нако он был полон странных, поучительных, а в сущности обыкновенных противоречий.

Записки Беннигсена существуют, и в то же время их нет.

Мы как будто можем без них обойтись, но так ли это.

Сквозь толщу недомолвок и хитроумностей, сквозь недостающие страницы, главы, целые тома мы настойчиво пробиваемся к цели...

Замечательный французский историк Марк Блок сетовал, что в оценках прошлого мы часто очень скованы; кто знает, может быть, мы судим о нем по совершенно второстепенным, случайно уцелевшим сочинениям, в то время как рядом были другие, более ценные...

Занимаясь поисками мемуаров Беннигсена, как и многих других старинных документов, разыскивая и находя, мы осваиваем малоизученные или совсем неведомые края на «карте прошлого», присоединяем его к своему настоящему и будущему.

Подобные завоевания нам очень нужны.





Наш рассказ, наш XVIII век, пришел к концу. Последняя глава даже перехлестнула в XIX век, официально начавшийся 1 января 1801 года.

Впрочем, русское дворянство, обрадованное свержением Павла, находило, что XVIII столетие окончилось в ночь с 11-го на 12 марта 1801 года.

Радость, «всеобщая радость»... К вечеру 12 марта в петербургских лавках уж не осталось ни одной бутылки шампанского... Раздаются восклицания, что миновали «мрачные ужасы зимы». Весна, настоящая встреча XIX века!

Век новый! Царь младой, прекрасный...

За сутки вернулись запрещенные прежде круглые шляпы. Некий гусарский офицер на коне гарцует прямо по тротуару — «теперь вольность»!

Так обстояло дело, если верить подавляющему числу мемуаристов.

Так было, но было и не так.

Большая часть страны неграмотна, и она-то в лучшем случае равнодушна или — как в рассказе немецкого очевидца: «Народ стал приходить в себя. Он вспомнил быструю и скорую справедливость, которую ему оказывал император Павел; он начал страшиться высокомерия вельмож, которое должно было снова пробудиться...» Для десятков миллионов — никакого нового века: в общем все по-старому...

Мы же изберем для прощания со *столетьем безумным и мудрым,* не переворот, не заговор, не 11 марта, но,

чуть-чуть возвратившись назад, отыщем один день, в котором читатель уже побывал в начале нашего повествования.

Московский весенний день 26 мая 1799 года.

Донесения Суворова из Италии доходят через 18—20 суток; в этот день, 26 мая, «под туринскою цитаделью отворяли траншею... Как особо отличившихся и достойных высших наград генерал-фельдмаршал граф Суворов-Рымникский считает генерал-майора князя Багратиона, генерал-майора Милорадовича».

Совсем недавно русские взяли в Италии очередную крепость, французскому же гарнизону дали «свободный выход», с условием, чтобы 6 месяцев с русскими не воевать.

Известие об эпидемии, пожирающей наполеоновскую армию в Египте и Палестине, заканчивается надеждой: «...и скоро их всех ч... поберет». Черт — слово совершенно нецензурное.

В обычае поздравлять главу враждебного государства, если он спасся от смерти. Так, Георг II Английский в разгар войны с Францией передает Людовику XV сочувственные, дружеские слова по поводу неудавшегося покушения на его жизнь; однако к концу столетия, по мнению русского посла в Англии С. Р. Воронцова, этикет приходит в упадок: Бонапарт и Павел I не посылают поздравлений своему врагу Георгу III Английскому (тоже спасшемуся от убийцы), зато Георг III не поздравляет Павла с рождением внучки Марии Александровны: дочь наследника Александра проживет недолго — около года, но именно в честь ее появления на свет весело звонят в наш день московские колокола, а в Успенском соборе торжественное благодарственное молебствие.

В этот же день книжные объявления предупреждают о недавно вышедшем сочинении славнейшего немецкого писателя Гете, называемом «Герман и Доротея».

А в Лондоне «известный член парламента и славный здешний драматический писатель Черидан (т. е. Шеридан!) обработал для Друриландского театра пиесу сочинения господина Коцебу, называемую «Смерть Ролла», которая представлена была шесть раз при величайшем стечении зрителей.



Первый министр господин Питт, который 13 лет не бывал в театре, на днях посетил Друрилан».

Этим же днем датировано сообщение из Лиона, где будто бы «заставляют писателей, как при римском императоре Калигуле, вылизывать языком те места их сочинений, которые заслуживают осуждения».

Впрочем, обстоятельства российских литераторов, кажется, не намного легче: на престоле грозный Павел...

26 мая он как будто в добром расположении духа: произвел в новые чины 48 человек, объявил свое благоволение генерал-лейтенанту графу Аракчееву, но при том «Московские ведомости» объявляют список «нижеследующих прошений, по Высочайшему повелению возвращенных просителям с наддранием и за пересылку по почте с взысканием с них весовых денег».

Москва с опаскою поглядывает в невскую сторону, но все же веселится и уже готовится к новому веку.

В университетскую же лавку на Тверской только что поступили «Картины просвещения россиян пред началом девятого на десятый века», а также «Самый новейший, отборнейший московский и санкт-петербургский песельник. Собрание лучших песен военных, театральных, простонародных, нежных, любовных, пастушьих, малороссийских, цыганских, хороводных, святошных, свадебных...», с изъявлением при каждой приличия, где и кому петь. Цена в переплете 250 копеек».

Но вот мелькнуло имя «директора университета статского советника и кавалера Ивана Петровича Тургенева» — и мы легко угадываем за печатными строками — «невидимые»: друг Новикова, Карамзина, отец четырех братьев Тургеневых, в числе которых будущий декабрист Николай Иванович («хромой Тургенев») и Александр Иванович, — тот, кому суждено играть существенную роль в биографии одного новорожденного...

Множество других важных для нас имен — Державин, Жуковский, Крылов — тоже в газетных листах присутствуют незримо: высокому просвещению нет нужды себя выставлять без надобности...

Зато бурлит и не скрывается Москва покупающая и продающая, веселая и несчастная, стыдная и повседневная:

«Продается лучшего поведения видный 15-летний лакей, в коем теперь меры 2 аршина и слишком 6 вершков, да кучеров двое и разного звания люди».

«На Ильинке в приходе Николы Большого Креста, против колокольни, в греческом погребе под № 4 и под знаком оленя продаются вновь привезенные разных сортов вина ведрами: французское белое по 7 рублей, португальское белое мушкатель и шпанское красное — по 6 рублей, уксус цареградский, сыр нежинский по 4 рубля бочонок».

В этот день, 26 мая, в Москве, на Немецкой улице, во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова, у жильца его майора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр...

Уходящее столетие прощается с одним из лучших своих творений — тем мальчиком, который через 16 лет на лицейском экзамене вздохнет о веке Державина —

И ты промчался, незабвенный!

Тут настала и наша пора распрощаться с осьмнадцатым столетием.

Оглавление

Предисловие 3
Введение 7
Глава I. 27 января 1723 года . . . 17
Глава II. 4 октября 1737 года . . . 31
Глава III. 25 ноября 1741 года . . 47
Глава IV. 6 июля 1762 года . . . 71
Глава V. 29 сентября 1773 года. Свадьба 97
Глава VI. 29 сентября 1773 года (продолжение). Кровавый пир . . . 117
Глава VII. 30 июня 1780 года . . 149
Глава VIII. 9 августа 1789 года . 163
Глава IX. 12 декабря 1790 года . . 177
Глава X. 1793 года апреля 28 дня . 198
Глава XI. 28 сентября — 6 ноября 1796 года. Гроза 215
Глава XII. Последние дни предпоследнего столетия 243
Эпилог 281

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Натан Яковлевич Эйдельман

ТВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

Ответственный редактор
М. А. ЗАРЕЦКАЯ

Художественный редактор
И. Г. НАЙДЕНОВА

Технические редакторы
Т. Д. ЮРХАНОВА, М. В. ГАГАРИНА

Корректоры
Е. В. КУЛИКОВА, Е. А. СУКЯСЯН

ИБ № 7518

Сдано в набор 13.06.80. Подписано к печати 31.10.86. А10285. Формат 84X108 $^1/_{32}$. Бум. кн-журн. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 15,13. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3699. Цена 65 коп. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

К читателям

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Эйдельман Н. Я.

Э 30 Твой восемнадцатый век: Научно-худ. лит. / Художник Б. Жутовский. — М.: Дет. лит., 1986. — 286 с., ил.

В пер.: 65 к.

Книга научно-художественных рассказов, посвященных ключевым проблемам отечественной культуры и истории XVIII века, научным изысканиям, гипотезам, находкам современных историков, филологов, географов, философов. Автор, много лет изучающий «российский XVIII век», ведет повествование в поисковой форме, постоянно используя результаты собственных исследований.

Э $\frac{4802000000—555}{М101 (03) 86}$ 045—86

ББК 63.3
9(с)1